



ЮНОСТЬ



8
1973



К. ЧЕПРАКОВ (Ташкент).

Все на уборку хлопка.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

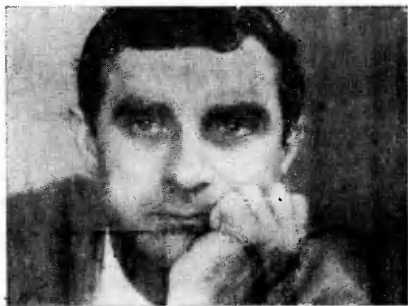
ЮНОСТЬ



8 [219]
АВГУСТ
1973

Журнал
основан
в
1955
году

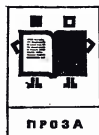
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



**ДМИТРИЙ
ХОЛЕНДРО**

ДВА РАСКАЗА

Рисунок
Марка ЛИСОГОРСКОГО.



ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ

Эта строчка пришла на память Гале, когда утром она выглянула из окна того дома, где ее поселили. Приехала она ночью в кабине колхозного грузовика, и ничего толком не разглядела вокруг. Старая луна, наверно, умерла день-другой назад, а новая еще не народилась, и природа чувствовалась кожей. Подмерзший ветерок касался лица — это были горы. Так растолковал шофер. Стало теплее — это спустились к морю. Но ни гор, ни моря она не увидела и не разобрала, какие они. Кусты, мелькая корнями, уносились куда-то вверх и в стороны из-под фар, какой-то огонек мерцал в далекой черноте.

— Рыбачат, — сказал шофер.

А теперь...

Тихо блистали вершины гор... Они были голые, на них не хватало зелени, и диву Галя давалась, как это они дотянулись до неба, до облаков, до солнца. На рассвете горы стояли выше солнца, которое украшало их размашистой розовой короной. Лучи выстреливали из-за вершин в разные стороны и гасли не спеша, превращаясь в алое, желтое, голубое свечение, а оно становилось все наполненней, напряженней, и вот в воздухе, над горным камнем, возникала нестерпимая вспышка, и вдруг всплывало само солнце, большое, как воздушный шар.

И тогда все вокруг открывалось.

Пятна зелени на склонах превращались в сосны. Кусты орешника, раскидывая длинные ветки, как руки, стремительно сбежали по склонам. В попытке удержать беглецов их охватывала петлей узкая горная дорога, по краям которой там и тут горел своими дикими огоньками шиповник — забрался в горы, под ветры, и цвел все лето среди другой зелени и камней. Особенно много его было у ручья. Там, расталкивая всех, он обосновался, как победитель. Ручей тонким водопадом свисал в его заросли с мокрых камней... Говорили, зимой он так и замерзал на весу...

А повернешь голову в другую сторону — море. В миг солнечного восхода оно не синее, не голубое, а совсем неожиданное — зеленой травы. И от него странное веет прохладной луговой свежестью, будто море — самый огромный луг на всей земле. Солнце возносится выше, и море слепяще отражает его. Смотреть на воду уже невозможно, хоть жмурься накрепко. Но смотреть хочется... По кромке алого песка стреляет волна. Она касается вначале острого выступа, и оттуда вдоль всего берега, как ракета, летит клубок белой пены.

Между морем и горами — виноградники и сады Малореченки, Галиного села и колхоза. Она приехала сюда руководить клубом. Для этого и училась в городе. У нее остался там старый папа, дослужившийся до пенсии, но все еще не оставляющий работы. То его включали в ревизионные комиссии, то он где-то кого-то инструктировал, то занимался инвентаризацией в самых разных учреждениях, словом, из незаметного бухгалтера стал известным на весь город знатоком разных правил и указаний. Никто не



знал, правда, что он сидит над ними ночами. Его все время приглашали туда и сюда, и он не отказывался и часто не требовал вознаграждения, если забывали. Как-то Галя спросила его шутя, можно ли столько времени растрчивать «за так», а он ответил:

— Это я должен благодарить людей, что меня еще зовут...

Словом, пенсионера-домоседа из него не вышло. Перед отъездом Гали он грустно признался ей:

— Если бы и мама жила! Я ходил бы с ней гулять... Или сидел дома... А теперь и ты уезжаешь.

В первом же письме он учил ее: «Везде есть талантливые люди, Галюша. Я в этом никогда не сомневался. Помогите им увидеть самих себя. И твоя жизнь тоже станет куда богаче. Сама участвуй в самодеятельности. Обязательной!»

Отец просто боялся, чтобы она не закручинилась. Горы сияли... Комок белой пены катился вдоль берега с нарастающим урчанием...

Трень-трень... Трень-трень-трень!..

Это дергал струны своей балалайки Колька Шмак.

Он сидел под забором, который был тут чем-то средним между частокосом и плетнем, перевитым веселыми вьюнами с голубыми граммофончиками, которые, как объяснил местный агроном, старик профессорского вида, в очках и с бородкой, назывались научно «ипомея». Над забором курчавилась зелень тополеЙ и вишен, яблоны, груш. Они уже одарили хозяйку своими плодами и теперь густели шумной листвоЙ, словно бы для того лишь, чтобы скрывать Кольку.

Листва в Малореченке стрекотала по утрам, потому что менялся ветер. Ночью он дул с суши, а днем с моря, нес в село его запахи.

Но громче и раньше листвы поднимали свой стрекот малореченские птицы, они насвистывали вразнобой, начиная застенчиво и очень осторожно, пробуя голоса, а потом теряя меру и доходя до крика. Их было тут много, может быть, столько же, сколько листв и цветов, и все хотели, чтобы их голос был услышан отдельно в этом привете новому дню, который им нравился. Птицы сходили с ума от восторга.

А тут Колька каждый день брнчал на балалайке. Трень-трень... Эх! Трень-трень-трень...

Галя не стерпела, накинула халатик и так и вышла со двора с заспанными еще глазами. Рыжеватый верзила сидел на корточках под забором, поджимая его спиной, и серьезно бил по струнам толстыми пальцами.

— Зачем вы это делаете? — спросила Галя, стараясь усмехаться, но у нее не получалось этого. Она уже злилась на Кольку, и зубы стискивались сами собой.

Колька же улыбнулся легко, обнажив крупные зубы, поставленные редковато, ответил коротко:

— Музыкальный момент. Нельзя?

Галя молчала. Желвачки под ее щеками вздулись.

— Учусь, — прибавил Колька. — Нельзя?

— Ступайте под свой забор и там учитесь! — отрезала Галя.

— А клубная работа? — спросил Колька. — Я хочу на балалайке. Нельзя?

Галя следила с собой, тихо объяснила ему:

— Для этого есть свободное время, товарищ Шмак.

Он встал и оказался на две головы выше ее. Господи, за что она осталась такой маленькой? Ведь всю жизнь мечтала вырасти! Всю жизнь мечтала о солидности и внушительности, наверно, потому, что именно их ей не хватало... Она стояла, сжав кулачки и задрвав голову, а Колька сказал:

— Так у меня оно сейчас самое свободное... Я всю ночь на тракторе... это...— Губастый его рот еще больше растягивался. Посмеиваясь, Колька договорил:— Как вы прибыли, я сразу балалайку купил. Нельзя?

Галя повернулась и пошла быстрым шагом, с согнутой головой, а Колька, невольно ударяя по натянутым струнам балалайки, заревел за ее спиной:

— А где найти такую пе-е-сию?!

Вот как началась ее жизнь в Малореченке... О чем угодно думала. О том, как вдохнуть необыкновенную, удивительно интересную жизнь в запылившиеся стены клуба. Какие кружки завести для молодых, и старых, и всех вместе. Как украсить клуб и приблизить наглядную агитацию к задачам дня, а не вообще... О библиотеке, в которой большинство шкафов с книгами почему-то стояло стеклянными дверцами к стене, а в книгах, выхваченных наугад, слипались неразрезанные страницы. И о самостоятельности, конечно, думала. Еще бы не думать, когда папа писал о ней в каждом письме: «И сама обязательно участвуй!» Но только не о Кольке! И откуда он взялся на ее голову? Чего угодно опасалась, не этого...

— И чтоб никто не догадался-а-лесь!..

Колька Шмак был трактористом, день и ночь способным переплывать табачные плантации и виноградные междурядья, и вместе с тем абсолютно неуправляемой личностью. Если в душу его вдруг влазил бес, никто не мог предугадать, чего ждать от Кольки. Спроси о нем на селе, двое могли ответить в одну минуту:

— Колька-то? Надёга!

— Хулиганище клыйтй!

И оба были правы.

Обработав черешню, распевав частушки на деревьях, сняли яблоки и груши в колхозном саду. Оголились, приподнялись облепленные ветки над берегами ручья, скользящего по камням к морю, образовалась у людей заметная передышка до уборки винограда, которому уже вымыли и высушили высокие, большие, как бочки, плетеные корзины, до бессонной ломки и нйзки табачного листа в душистой предутренней полумгле...

Молодые и старые потянули к клубу.

Галя вдруг сделалась такой популярной фигурой в Малореченке, что ей встало стало.

— Чем угостить-то, дочка, если зайдём?

— Кинокомедия.

— Смешная?

— Ой! Очень!

— Ну, это спасибо. Это в охотку.

— А сегодня что у тебя?

— Лекция.

— Да мы ж и так знаем, что пить вредно для здоровья!

— Нет, о международном положении.

— Приски? А после этих... присков?

— Танцы! Будем разувивать летку-енку.

— Варюха-а! Ныне надевая олимпийку. Прыжки на месте.

— У тебе надену — сковороду на голову!

— А с кем прыгать станешь?

— С Колькой!

Колька ежедневно наделав городские галстуки, чтобы Галя обратила на него внимание. Навицал до

пугающего блеска полуботинки. Дымил дорогими сигаретами, атыкая их в янтарный мундштук. Галя же на него вовсе не смотрела... Тогда он начал вваливаться в клуб «под мухой».

Было едва ли не самое интересное событие за все время Галиной жизни в Малореченке. Из областного центра по ее приглашению приехал, страшно даже сказать, писатель. Перед этим Галя провела в бригадах громкую читку его романа «Жаркая осень». Роман слушали на виноградниках и в табачных сараях. Многие сами читали, передавая из рук в руки. Женщинам особенно нравилось, что героиня романа Паша полюбила всем сердцем одиорукго фронтовика Семена и что жизнь у них пошла миром да ладом. Зря Семен боялся, что не пригласится ей, страдал...

Писатель оказался немолодым человеком, домовитым мужиком по виду. Мягким, добрым, круглоголовым, круглолицым. Все время улыбался с большим расположением к своим поклонникам. Долго рассказывал, как ездил по колхозам, изучал типы и и сколько славных людей переводил, пока сложился у него в голове и в душе, конечно, такой вот тип, как Семен.

А потом слово первым взял Колька.

— Слушайте! — громко сказал, да не сказал, а рыкнул он! — Фронтоник!.. Руку потерял!.. А вы его типом! Типом мы, знаете, кого называем?

Писатель стал красным, долго тер носовым платком лысину и еще дольше оправдывался, что это такой литературный термин и на него не стоит обижаться, но Колька не сдавался:

— Ну-ка, назовите вот меня типом! Попробуйте, называете!

Писатель испугался, не назвал. Кто-то из Колькиных дружок хохотнул.

Галя попросила секретаря сельсовета Чумаченко унять безобразников. Но тут выяснилось, что строгий сельский аккуратист совершенно согласен с Колькой: «Какой же он тип, Семен? Вот наш Колька — тот тип!» Поднялся скандал.

А Колька радовался и опять и опять старался отличиться... Перед сеансами не сидел в ряд, опирокдывался на стену, двухметровая глыба, и у всех на виду грыз семечки, распеывая вокруг себя шулуху. За это секретарь сельсовета Чумаченко сделал ему громкое замечание и потребовал, чтобы Колька сейчас же перестал нарушать чистоту и выбросил вон семечки из карманов. Нарушитель вывернул тяжелые карманы, высыпал все семечки на пол и ушелся. Под ногами его захрустело в тишине... Галя взяла веник и совек...

Активисты клуба повскакивали с мест, попытались помочь ей, но она сама до начала фильма подмела пол у стены, где только что стоял Колька.

После следующего киносеанса под скамейками осталось пять-шесть острокровк шулухи. Чумаченко сказал: «Ясно!» Это Колькины дружки мстили Гале.

Она сама встала в дверях, чтобы не пустить ни Кольку, ни его дружок в клуб на «казакскую пленницу», повторяемую по заказу малореченцев. Но зря. Колька, как пушинку, вынул раму и запросто перешагнул у улицы прямо в зал, подсадив сначала друзей.

Чумаченко пообещал завтра же письменно сообщить о Кольке в районную милицию, поскольку это уже был произвол со взломом, то есть причинением вреда общественной собственности. Кольку он публично назвал уже не типом, а бандитом. А отец ее писал: «Галюша! На днях вышло тебе библиотечку одноактных пьес. Я делал ревизию в «Союзпечати» и там наткнулся... Галюша!» Она и сама выбирала подходящую пьесу, списывалась по этому поводу с

областным Домом народного творчества и была уверена, что, когда в саду и на табачных плантациях наступит зима, людские страсти переполнят ее клуб, но вдруг...

Но вдруг ее забеспокоило, что Чумаченко сообщит в милицию, и оттуда пришлют машину, похожую на большую и крепкий ящик с решеткой, и Колку Шмака посадят и увезут... Галя уверяла себя: радоваться надо! Но вовсе не радовалась. Почему? Среди ночи поняла: это ведь из-за нее выпендривался Коля, старался быть познатней, и если он пострадает, у нее останется чувство вины. Вот и все.

Она этого не хотела.

Утром она пошла к Чумаченко и сказала, что придумала, как прибрать Колку к рукам. И пусть Чумаченко не пишет в милицию, никуда и ничего не надо писать, пусть доверяется ей, Гале, оставя товарища Шмака на ее ответственность.

В сельсовете Чумаченко был очень важным. Над его головой, на гвоздике, вбитом в стену, висела шляпа. Он выслушивал посетителей с неподвижным лицом, потом покашливал, качая от плеча к плечу головой, покрытой белым — не седым, а белым — пухом, потом закуривал, туго сворачивая самокрутку из табака собственной нарезки и смеси, а уж потом удивленно говорил:

— Та-ак! Кудряво!

Все произошло, как рассказывала хозяйка, которой Галя, конечно, не призналась, что за дело у нее к Чумаченко: кой-какие вопросы по клубным нуждам. Ни звука о Коле.

— Та-ак! — сказал Чумаченко. — Кудряво!

Галя не заметила, что улыбнулась ему — хорошо, по-доброму, а он насупился.

— Берешь этого гангстера под свою персональную?

Он старательно проговорил «гангстера» через «б», — Не хочи, чтобы кто-то вмешивался, пока сама всего не попробовала, — сказала Галя.

— Даже я.

— Даже вы.

— Я не кто-то, между прочим, — поправил ее Чумаченко, — а советская власть.

— Так вы же прекрасно знаете, что товарищ Шмак не безнадежный экземпляр, а неустойчивый.

— Я-то его знаю! Это вы не знаете. Вот именно — экземпляр! — повысил голос Чумаченко и вскинул над собой мягкие бабьи руки, чтобы показать, какой громадный к тому же этот экземпляр — Коля Шмак.

В конце концов Чумаченко уступил. Осторожненько почесал кончиком пальца белый пух на темени и предупредил:

— Если что, спросим.

В тот же день Галя совершила самый дерзкий, рискованный и, как считала она, человеческий поступок на первом году своей службы: она ввела Колку Шмака в клубный совет, горячо убеждая всех, что если Коле поручить следить за порядком, он и сам исправится. Так доказывала, что щеки запылали. И вечером Галя шагала в клуб своей торопливой походкой (просто у нее были маленькие ножки), прикладывая ладони к щекам. «Горю!» — иронически подумала она о себе, и от этого утихомирившись сумбузные мысли, стало чуточку спокойней и тише внутри, зато слышнее, как стучит сердце. В самых ушах. Вот еще!

На полпути заметила, как какой-то наголо стриженный мальчишка в коротких штанишках, задев ее, равнел в сторону клуба с пригорка.

Малореченка — не привычное село: два порядка домов, посредине дороги. Белые дома ее кинуты взброс, как зерна из пригорщи, по малым и боль-

шим полянам среди садов на пригорках. Если поляна большая, на ней белеют два, а то и три дома под рыжими черепичными крышами — один забрался углом на склон пригорка, второй, подобно драгоценности, врос в зеленую оправу поляны, а третий спустился к ручью, журчащему днем и ночью, падает ли с неба неисчерпаемый солнечный зной или холодный свет луны, удивительно ясной в этих местах.

Клуб построили в самом конце села. И дорога туда, верней, тропа, потому что малореченцы, украшая расстояния, сплели на пригорках паутину троп, аела то вверх, то вниз, как по волнам.

Мальчишка приступил к клубу явно неспроста. Через несколько спусков и подъемов, едва крыша клуба показалась перед глазами посерьезневшей Гали, во все небо ударило из радиодинамиков:

— А где найти такую пе-е-есню!

Галя остановилась, вздрогнув от испуга.

Клубные динамики, вынесенные на улицы и висевшие под карнизом над входом, никогда не включались на такую мощность. Это Коля, новый дежурный, заставил радиста включить на всю катушку... Конечно! Его все было! Он был самым сильным парнем в селе. И этот парень старался ради нее... Он и мальца поставил... Сначала было нахмурились, Галя вдруг улыбнулась. Чуть-чуть. И оглянулась тотчас. Никто не шел за ней. Было еще рано; она же приходила в клуб раньше других. А Коля был уже там...

Ну, хорошо. Никто не заметил ее секундного замешательства. И она ничего не заметит и ничем себя не выдаст. Придет и вида не покажет, что обратила внимание на песню. Только скажет... Что-нибудь скажет... А радио орало так, что и в горах могли услышать:

И чтоб никто не догадался,
Что эта песня о тебе!

— У вас радио чересчур громко, работает, — сказала она Коле.

Он спросил:

— Нельзя?

Коля был в белой рубашке, воротничок ее выпустил поверх пиджака, на рукаве краснела повязка. У входа в клуб, на верхней ступеньке каменного крыльца, стояло ведро, на котором чернела свежая надпись: «Для ваших семечек. Прошу сыпать. Спасибо за внимание».

Галя опут сначала нахмурилась, но тут же улыбнулась. Ну что ж, даже весело!.. Коля сбежал к радисту, песня кончилась, а новая зазвучала тише. И уже потянулись люди.

Малореченцы здоровались с Колей, а он всем желал распрятного вечера. Семечек набралось уже с полведра. Оказывается, многие приносили их с собой. Кое-кому из парней Коля пальцем показывал на ведро, если те норовили прошмыгнуть мимо, и обещающе заверял:

— На обратном пути возьмешь. Не горюй!

Как раз и сегодняшний фильм назывался «Не горюй», и все парни, посмеиваясь и перешучиваясь, выворачивали под взглядом Коли свои карманы. Кроме одного.

— А тебе что, закон не писан? — спросил его Коля.

— Кто это тебе дал право-то законы писать? — поинтересовался тот, толстомордый, лупоглазый, с белым пухом вместо бровей.

Коля потыкал пальцем в свою повязку, а потом согнул этот палец и постучал костяшкой по лбу парня. Тот схватил его за руку и попытался оттолкнуть от себя, завопив:

— А чего руки в ход пускаешь?

И случилось-то это за каких-нибудь пять минут до начала фильма.

Колька замер, как каменный изваяние.

— У меня и семечек нет! — вопил парень.

— Карманы выверну, — сказал Колька скучным голосом.

— Тронь только, тронь! — пригрозил парень и пошел к дверям.

Колька терпеливо остановил его рукой, поймав за плечо. Парень резко повернулся и ударил Кольку. Он ударил его кулаком в лицо. Галя выбежала из клуба на шум, потому что все время были на крыльце смех и шутки, а тут — крики. И она испугалась, и выбежала, и увидела, как парень ударил Кольку. И произошло что-то такое, отчего парень сразу упал с крыльца, опрокинув ведро. Оно загремело по ступенькам, рассыпая семечки.

На пороге, выбравшись из зала, возник Чумаченко со шляпой в руках.

— Сняй! — закричал он и захохотался. — Сынок! — И запрыгал по ступеням вниз, туда, где, крахтя, все еще валялся толстомерный парень. Одолев крыльцо, Чумаченко-старший повернулся к Гале и сказал, угрожающе помахивая смятой шляпой: — Вот он, ваш!.. Рукоприкладство!.. При исполнении!.. Вот она, ваша... любовь! Я вам покажу!

Сын его при этих словах ожил и уже сидел на земле. Глаза его из-под белого выпляющего пуха с любопытством смотрели то на Кольку, то на Галю. Он выдернул платок, чтобы вытереть под носом, из кармана вслед за платком посыпались семечки.

А Колька сдернул с руки повязку, отдал Гале и пошел, исчезая за ближайшим темным пригорком. В клубе хлопали, требуя начала сеанса. Галя с тоской вернулась туда, нажала кнопку звонка к киномеханику и, встав на цыпочки, выключила свет в зале. Фильм начался...

Галя вышла на воздух.

Было темно и холодно, если не слышать звонких трелей цикад. Но они заливались каждую ночь неустанно и неумолчно, и Галя уже привыкла к ним и не слышала. Тишина обступила дома Малореченки. Темнота скрыла горы. Галя пошла, не зная куда. В одном месте позвала:

— Кольа!

Ей никто не ответил. Захотелось крикнуть еще раз, но она не решилась. Брела и брела наугад все дальше, пока не потеряла тропу. В какие-то колючки забралась. Разозлилась на себя, но не знала, куда повернуть, чтобы выпутаться из колючих зарослей, возможно, уже отцветшего шиповника; никак не могла сообразить, где Малореченка. Далеко ушла... Стала прислушиваться и сначала услышала пронзительный звон цикад в ночи, а затем и шум воды и двинулась на этот шум. Ведь ручей-то тек в Малореченку...

Через несколько шагов она продралась сквозь колючки. Зашуршав, под ее уставшими ногами поплыла, поехала земля. Она попала на осыпь. И не успела ни вскрикнуть, ни даже ахнуть, как уже была по горло в воде. Поздней осенью, переходившей в зиму, вода здесь студеная. Горная, быстрая, она и летом несла в себе холод бистающих вершин, а сейчас Гале почувдилось, что ее швырнули в прорубь. Окапало ознобом. Когда она, набравшись, выплзла на берег, грудь и ноги ее застыли, только слезы на глазах были теплые.

Галя по-деловому выжала кофту, платье на коленях, выпрыгнула воду из туфель и зачистила по тропе вдоль ручья своими маленькими ножками. Торопясь, она яростно прокинула себя за то, что побрела куда-то... А зачем? А куда? Вот и возвращалась,

дрожа и чертыхаясь. По ее характеру ей давно бы уже пора прыснуть со смеху, но зуб не попадал на зуб...

Дома она забралась под теплое одеяло, единственную вещь, которую в память о маме взяла с собой, свернулась калачиком и разревелась, как сопливая девочка... Она знала, что легко простуживается, надо было попросить у хозяйки какую-нибудь таблетку, хотя бы аспирина, но никого не хотелось видеть, и Галя потише дышала своим крохотным носом, чтобы не привлечь чужого внимания.

Она не помнила, как уснула, не помнила, как очнулась, это ей потом рассказывали... Помнила она себя с того мига, когда открыла глаза и увидела Кольку. Он сидел на табуретке поодаль от кровати, и рыжая голова его едва не касалась лампочки, свисающей с потолка. Галя вскинула брови, сделала серьезные глаза и разлепила сухие губы:

— Уходи!

— Здравствуй, — ответил Колька и протянул ей ручищу.

Галя дала ему свою ладошку. Он накрыл ее второй рукой и держал.

Потом Гале рассказывали, что Колька ночью мотался на колхозной полторке за районным врачом, принес мед с пасеки, потому что врач велел поить Галю молоком с содой и медом, следил по своим часам, чтобы хозяйка вовремя давала лекарства, пока та не сказала ему: «Хватит пичкать! Сдалась температура», — а он все еще за полночь уходил из дома, а на рассвете уже сидел под забором, правда, без балалайки.

— Зачем же сидел-то? — хмуро спросила Галя.

Колька часто помигал глазами.

— Смотрел, как солнце встает... Нельзя? Очей очарованье...

— Ты знаешь эту строчку? — обрадованно удивилась Галя. — Чья она?

— Евтушенко, — ответил Колька.

— Нет, это Пушкин.

Колька помолчал, улыбаясь. Была у него драгоценная способность: вот так улыбаться, тепло и молча.

— Это про осень, — наконец сказал он. — Была унылая пора, очей очарованье... Но слова годятся для любой погоды... Вообще... Вот, к примеру, смотрю на тебя и...

— Молчи, — попросила Галя.

Все это было потом.

А пока Колька сидел, грел в своих руках ее маленькую ладошку.

На улице затрещал мотоцикл и стих в самом дворе. Похоже, мотоциклист подкатил прямо к крыльцу. Через минуту в дверь постучали. Галя вырвала ладошку из Колькиных рук и не успела ответить, как дверь распахнулась, и в комнату вошел милиционер. Был он совсем молодой, безус и розовощек от молодости и дорожного ветра. Он поглядывал на Галю и на Кольку, поздоровался для вежливости и спросил:

— Шлам Николай вы будете?

— Всегда был, — сказал Колька и встал.

Милиционер поправил ремень.

— Вторично не являйтесь в суд.

Колька опустил свои виноватые и теплые глаза на Галю.

— Понятно, — оброчил милиционер, принимая вид построжки, чтобы спрятать неловкость.

А Колька все еще смотрел на Галю.

— Придется доставить, — сказал милиционер. — Приказано.

И тоже глянул на Галю.

— У нас начальник на это строгий...
Колька повернулся и пошел к дверям. Придерживая одеяло у горла, Галя присела в кровати:

— Колька!
За окном вздрогнул и взорвался рев мотоцикла. И стал затихать, удаляясь.

Галя сидела, держа одеяло на груди, все еще не опомнившись и соображая, вскакивать и бежать к кому-то в поисках защиты или сразу мчаться за Колькой, чтобы самой сказать, как это все было, и чтобы его отпустили. Она начала одеваться...

В дверь опять постучали.
Она подумала, это Колька прыгнул с мотоцикла и вернулся. Нет, это был не он. Разговорчивый почтальон принес посылку от папы с пьесами для художественной самодеятельности...

2

МУЖЧИНЫ

Лежали на траве под солнышком. Было дико, что человек, дитя природы, выполпол ее вокруг себя ради места для многоэтажных каменных коробок, называемых современными домами. От природы, некогда, наверно, здесь обильной, остались среди домов редкие музейные клочки в виде скверов и бульваров, где каждый кустик был под охраной. Теперь-то их берегли так, что там на траву нельзя было и ногой ступить. Да и трава там была, можно сказать, искусственная — ее сваяли, и лужайки называли газонами.

А здесь бухайся навзничь, слушай, как жужжат пчелы, как трещат, сверкая прозрачными крылышками, стрекозы, как пахнет земля, вспоинай все это.

Игорь гладил небритой щекой травинку, и это было чертовски приятно. Не хотелось думать ни о сегодняшнем дне с его неизбежными заботами: пообедать где-то в городской столовке — с ужином проще, — купить два пакета молока, яиц, кусок колбасы, изжарить яичницу отцу и себе, смолотить и сварить кофе и еще до этого успеть заскочить в прачечную за бельем. Мать уехала в Трускавец: замучили боли, печень... Плакала, уезжая... На вокзале снова замолчала: «Я останусь!» Как раз в эту пору у Игоря начинались экзамены в институт. Отец утешал ее: «Ну, брось, брось... Мы тебе будем аккуратно писать». Мама попросила: «Телеграфируй!» И отец сказал: «Правильно!» А когда пассажиров пригласили в вагоны и по ее лицу опять показались невозможно крупные слезы, Игорь упрекнул: «Мама!»

За весь день сказал, наверно, одно это слово. Лицо у нее было бледное, желтое...
А экзамены шли ничего. Возрастала надежда поспугать. Завтра предстоял последний — физика...

Но сейчас и об этом не хотелось думать. Вообще ни о чем. Было в самом деле хорошо. Прикрылись глаза от солнца, травинка все щекается лицом, потому что он крутил головой. Когда она коснулась губ, он откусил травинку. «Какая-то лирика», — усмехнулась Игорь. — Сказывается происхождение предков». И тут же понял, скорее почувствовал, что это была

не лирика, а просто усталость. Самая обыкновенная, элементарная... Полежать так еще секунду, и унесешь. Но раздался визгливый голос Кости, любящего покомандовать:

— Жители, подъем!

Ему хотелось быстрее очутиться в реке. Они и выкатили на велосипедах за город, чтобы искупаться. Июль стоял жаркий, именно стоял, а не двигался, не менялся, стоял, не иссякая. С утра — воздух, обжигающий легкое, и сквозоз его стеклянную неподвижность — запах гари, доползающий из соседних лесов. Утренняя дымка, как потом оказалось, была неподдельным дымом... Даже газеты начали писать о лесных пожарах.

— Шевелись, дедули! — крикнул Костя и первым подхватил с травы свой велосипед.

Остальные поднимались долго, лениво, разморенным сидели, подтянув ноги и додремывая, а додремав, потягивались и виновато улыбались или, наоборот, хмурились на голос Кости, на его способность злоупотреблять правом, не полученным ни от кого, и на то, что до реки оставалось еще километра два спуска — грунтовая дорога вылась по крутому склону, среди редких деревьев, зеленеющих на выгоревшей траве, кое-где свисавших в рошчи. В них дорога исчезала, но тут же опять вырывалась на солнце, от которого некуда было деться, и терпела его свирепость на воле, чтобы осторожно спускаться дальше.

Выстроились с велосипедами на круче. Внизу плоско отсвечивала река каким-то неживым сплюдным блеском. За спиной, неподалеку, урчало шоссе, с которого они свернули сюда. Их прельстила тень под двумя рослыми березами и зеленый лужок в тени. Теперь тень выглядела всю без остатка, и лужок побурел: тень скрывала его истинный вид. С шоссе тянуло смолой...

Ленивый и всегда сиглолосый Родька прохрипел:

— Ежели напрямик? Что думают об этом лучшие умы человечества?

Лучшие умы человечества наморщили лбы.

— А?

Кто-то сказал:

— Б.

Сплетааясь и расходясь, напрямик сбегали к реке две или три тропы. Может быть, их натопали в траве босыми ногами мальчишки, приезжавшие из города на автобусе. Может быть, это был древний след села, которого никто из молодых людей с велосипедами своими глазами не видел. Город, еще не добравшийся сюда, взмывающий дома на горизонте, уже предислал селу освободить кручу, на которой оно держалось века. За эти века тропинки могли возникнуть под натруженными ногами хозяек, носивших к реке белье, как в другой деревне носила его бабушка Игоря.

Еще один ум изрек:

— Попытка — не попытка.

Костя вздернул подбородок и взмахом ладони перевернул опасную и обманчивую нить риска и соблазна.

— Тормоза не выдержат на поллуту! Что тогда? — Ку-ку!

— Умный гору обойдет. За мной, жители!

И Костя уже занес ногу над потертым седлом, но Родька остановил его:

— А чего ты командуешь? Вопрос на голосование. Ты?

— В.

— Ты?

— Г.

Они перебирали буквы алфавита. Все просто тру-

сили. Все явно трусили. Разумно трусили. Это стало вдруг противно Игорю. Стояли молодые ребята, еще не студенты, но уже и не школьники. И тянули kota за хвост. Острили. На него упала буква «Е», и он сказал:

— Еду.

Ни мгновения не дав себе на дальнейшие раздумья, он поставил ногу на педаль и оттолкнулся от земли. Переднее колесо нырнуло вниз и перескочило через кочку, но он уже сидел на седле, крепче обычного сцепившись в руль. Понесло. И голоса отстали сразу, он не разобрал ни одного слова. Так и не понял, вранулась ли за ним вся ватага друзей или хоть кто-нибудь из них. Ветер шумел в ушах. Оглядываться было нельзя: тропа петляла. Ну, ладно! Если будут догонять, если он кому-нибудь помешает — вдруг окажется, что у кого-то тормоза держат слабей, — заорут. В некоторых местах тропа ненадолго расширялась, и тут можно было пропустить вперед. Его тормоза пока держали. И пока еще сзади никто не просил дороги. Только ветер набирал скорость, рождались от быстроты езды, как от помета.

Вот когда он по-настоящему понял отца. Его отец был летчиком-испытателем, фамилия которого стала знаменитой давно и настолько, что Игорь с детских лет стеснялся этого. Когда его спрашивали при знакомстве, а спрашивали почти всегда, он коротко отвечал: «Однофамилец». Это защищало от новых вопросов, выручало от разговоров: Игорь не любил многословия...

Конечно, отец брал его в самолет, еще маленьким поднимал в небо. Но даже тогда, крохоту, Игорь чувствовал себя гостем в самолете.

Все эти воспоминания промелькнули моментально, а полет продолжался. Ветер в ушах начал пощипывать. Ветки какого-то полусухого куста у тропы щелкнули по спицам и сразу отстали. Река приблизилась. На ее плоской поверхности появилась рябь. Тропа выпрямлялась, и скорость возрастала, во втулке заднего колеса возник точильный звук.

Еще одну рожицу пролететь, проскочить... А там прибрежный разлив травы и песка, в котором колеса завязнут сами. Если даже бутылкнуться с разлета в воду, все равно будет победа. Ее предчувствие уже заполнило Игоря ликованием.

Ветки берез в рощице захлестали по глазам. Раздвоенный ствол одной из них наклонился так низко, что, даже проходя под ним по тропе, надо нагибаться, а на велосипеде... Колеса запылали по голым корням, переползавшим через тропу. Ноги соскочили с педалей. Игорь наклонился вбок, велосипед отскочил от него, он ударился о твердую землю...

Когда он очнулся, то увидел чужие лица. Они плавали над ним совсем низко и шевелили губами, что-то говорили, но он не улавливал звуков. Он запомнил первую мысль: сон... Еще через какое-то время все обрело земные черты — две девушки в купальниках пытались помочь ему. Еще миг спустя он догадался, что они приближались от реки раньше ребят, которые... А еще через миг понял, что никто за ним так и не тронул с места...

— Мы гладили на тебя снизу, — сказала одна девушка. — Тут же дорога есть!

— Сумасшедший! — сказала вторая и, присев на корточки, подsunула ему руку под плечо. — Пижон!

— Не трогайте меня! — огрызнулся он, отменяя про себя, что все воображает, что голова цела, а остальные — детали.

Та, что сидела на корточках и держала руку под его плечом, спросила:

— Что у тебя болит?

Он мысленно осмотрел себя с головы до пят, как учат йоги. Покачал головой... Согнул и опустил руки... Попробовал двинуть одной ногой, другой... И тут, хотя считал себя терпеливым мужиком, против его воли сквозь зубы прорвалось:

— А-а!

— Ой! — сказала одна.

— Ного? — спросила вторая.

Игорь подтвердил.

— Встать можешь?

— Не знаю.

Донесся хриплый зов:

— Иго-оры!

К ним, перепрыгивая через корни, подбежал Родька. Белые кудри прилипли ко лбу Родьки.

— Ну что? — спросил он, задыхаясь. — Это я виноват, но я же пошутил... Как дела?

— Все путем! — отозвался Игорь.

— Помоги нам поднять его, — велела Родьке та, что держала руку под плечом Игоря. — И не паялься на меня, пожалуйста!

Она вспомнила, что в купальнике, поправила сабодной рукой тонкие зеленые лямки. Родька выпучил на нее глаза вовсе не для того, чтобы рассмотреть, а просто так, даже из благодарности, что девушки оказались около Игоря раньше него, бросивших свой велосипед на круче, и раньше ребят, путившихся наперегонки в объезд, по дороге. Он вздохнул, потому что сердце его еще заходилось от бега, и сказал:

— Тоже мне гёрла!

— Мерси вам! — ответила девушка.

Они обхватили Игоря, оттащили в тень и посадили, прислонив спиной к той самой березе, которая росла не так и не на том месте. Родька скинул ее, прищурившись:

— Да-а...

Подкатали ребята, начали спать с велосипедов.

— Живой?

— Спасибо, девочки, — сказал Игорь.

— Его надо в больницу. У него нога сломана, — сказала одна.

— Могло голову снести, — сказала вторая.

Игорь вдруг улыбнулся.

— Голову нельзя. Завтра экзамен.

— Какой экзамен? — спросила первая.

— Последний.

— Позово тебе! — посочувствовала вторая, в зеленом купальнике, подтягивая лямки ближе к шее.

— Гипс и лежать, — объявила, как приговор, ее подружка. — Месяца полтора... Я знаю... У меня был перелом ноги. Мальчишки на катке сбили.

— Такие же смелые, — прибавила зелененькая.

Они пошли, стараясь быстрее спрятаться за кустами, оглянувшись один раз на Родьку и прибавив шаг. Ребята тоже провожали их взглядами. Потом, спохватившись, начали обсуждать, что же делать, поругались немного, навалились на Родьку, в голову которого родилось это: «Напрямик!». Родька объяснил, что уже попросил прощения, а Костя перебил:

— Не об этом, жители! Как лучше: завернем сюда машину или вынесем Игоря на шоссе?

Опять пошумели, удастся ли скоро завернуть машину, и опять Костя перебил:

— Один — на шоссе за машиной, остальные по очереди несут Игоря навстречу и катят велики, Родька бежал на шоссе.

Отец облысел незаметно, остались седые волосы на висках да косматый венчик саади. Игорь не заметил, когда это случилось. Как-то для него это не имело значения.

Сегодня, лежа на диване и спрятав ногу под пледом, он впервые увидел, что отец у него старый, то есть совсем не такой, каким был даже года два назад. И он забыл про непрерывную боль в ноге, под гипсом: стало жалко отца. Сейчас узнает про поездку к реке, про эту историю накануне последнего экзамена, заговорит... Отец стал вдвое больше прежнего говорить...

Как всегда, он зацепил кепочку — довольно модную, под замшу, с резинкой саади — за крючок вешалки и заглянул в комнату Игоря. Тогда-то Игорь и увидел его лысину и подумал, что отец не зря закрывается кепочкой: хочет быть помоложе. И ему стало еще жалче отца.

Улыбка погасла у того на лице, когда он увидел Игоря под пледом, в глазах сразу отразились огорчение и беспокорство. Уж Игорь умел читать это лицо! Отец не любил, когда дома кто-то болел, что-то случалось. Дома, на земле, все должно быть в порядке.

— Почему лежим?

— Нога.

— Именно? — спросил отец.

— Так... Легкий ушиб...

Отец растерянно потоптался и вышел из комнаты. С детства выработалась у Игоря привычка не врать отцу.

Слишком громко сказано даже — не было такой необходимости. Еще до школы он попытался что-то просто скрыть от отца, и тот сказал: «Все равно — обман. Ты роняешь себя в моих глазах. Недостойно мужчины».

С тех пор ничего подобного не повторялось, но сейчас...

На вступительных экзаменах не признавали бюллетеней. Да еще по такому поводу — перелом ноги во время забавы!

Сдавать, сдавать завтра! А отец мог не пустить... Над бескомпромиссными словами оправданного отцовского гнева могла возобладать родительская забота, боязнь ответа перед мамой, и тогда... «Лежи!»

Лучше было не признаваться... Позже скажет...

Отец погремел в кухне посудой и вернулся в комнату с яичницей на тарелке.

Едва они проводили маму и остались вдвоем, он стал являться домой минута в минуту, как видно, стараясь примером дисциплинировать Игоря в пору экзаменов.

Игорю это тоже было удобно: даже яичница не остыла.

Отец скреб вилкой по тарелке и ел стоя. И опять Игорю стало жалко его.

Конечно, он видел на кухонном балконе искореженный велосипед, догадался о причине ушиба: была какая-то бессмысленная прогулка... и теперь нервничал, пытаясь взять себя в руки и ждал рассказа от Игоря.

— Мы ездили купаться, — сказал Игорь.

— Сильный ушиб? — спросил отец, увидел тарелку в своих руках и поставил ее на угол Игорева, еще школьного стола со стеклом, заклеенным экзотическими марками разных стран.

— Пустяк, — ответил Игорь. — Завтра встану.

Он, и правда, уговорился с Костей и Родькой, что они помогут ему перебраться до института и обратно. Они поступали в разные институты, и дни экзаменов, к счастью, не совпадали.

Отец развернул от письменного стола промятый стул, присел.

— А кто это — мы?

— Родька... Костя... И другие из нашего класса... Бывшего...

— Но больше, надеюсь, никто не ушиб ногу, не расквасил нос, не рассадил себе лба? И не валяется в постели накануне последнего экзамена, может быть, решающего?

— Нет.

— Молодцы! — воскликнул отец и помолчал, шумно дыша ноздрями и, пытаясь остановиться, но уже не смог... Неужели нельзя было поехать на реку после завтра? Я понимаю — искупаться в такую жару, это заманчиво, я не против, но неужели нельзя было потерпеть, и после экзамена... Впрочем, уже ничего не поправишь. Надо было шевельнуть мозгами раньше, мой сын... Да... Судя по тому, как выглядит твой велосипед, ты ударился ничем себе! Как же это произошло?

— Какая разница?

— Красивый ответ! Теперь прибавь: «Хиляя отселя крупным хилем!» Или что-нибудь еще на вашем жаргоне. Давай!

— При чем тут жаргон? — спросил Игорь безучастным голосом. — У вас в юности тоже были какие-то слова для развлечения... В авиации вы и сейчас говорите: «Скозлил на посадке» вместо «Неудачно приземлился»...

Отец взорвался:

— Черт возьми! Ты же еще меня воспитывал!

Лучше бы читал учебник!

Игорь приподнял книгу с груди и показал отцу, но это вовсе не утешило его.

— Черт возьми! — повторил он. — Все бывает! Ну, «скозлили»... Оттого, что недоделка в машине. Зато помог ее найти... Или открыл свою недостаточную готовность к испытаниям новых машин. Случай, скажем прямо, редкий, почти невозможный... А тут? Легкомыслие и еще раз легкомыслие!

Игорь молчал.

Отец устал ждать.

— А если ты завтра провалишься, просто не сможешь встать, что мы скажем маме?

Отец болясь ее?

Нет, он знал, как огорчится мать, к тому же провал Игоря, когда ее нет дома, сведет на нет все лечение, и отец берег ее. Надо было подумать обо всем там, на круче, надо...

Отец притих, вздохнул.

— Вот... люди тушат пожары в лесах! Рискуют!.. Жертвуют собой. Да! А ты? Мало сказать — бестолковость. Ведь так просто не сверзиться на ровном месте. Пиконил! Хотя кто-нибудь назвал тебя там пиконном?

Игорь вспомнил девочку в зеленом купальнике и сказал:

— Назвали.

— Слава богу.

Как будто в этом было все дело.

— Ты что же хочешь? — спросил Игорь. — Чтобы я до мелочи рассчитывал каждый свой шаг, каждый жест и никогда не предпринимал ничего угрожающего?

— Перестань меня воспитывать, пожалуйста! — крикнул отец. — Перестань!

И астал, потому что в прихожей зазвонил телефон.

Дверь осталась приоткрытой, и слышался его еще нервный голос:

— Да... Нормально... Вот как? Угу... Ну, лады...

Он вошел, чуть-чуть успокоенный, судя по лицу,

но Игорь это заранее почуял, когда зазвучали привычные отцовские «лады» и «угу»... Отец глянул на него зоркими глазами из-под заросших бровей, сказал:

- Занимайся. Я закрою дверь, чтобы не мешать.
- У меня еще деловой звонок.
- А как у тебя дела? — спросил Игорь.
- Все путем, — ответил отец и вышел.

У них была старенькая «Победа». Отец жаловался, что так привыкает к машинам и так быстро расстается с ними в небе, что не хочет этого делать хотя бы на земле.

Утром он сказал Игорю:

— Я сам отвезу тебя с твоим ушибом в институт. У меня есть немного времени.

Уже сварив яйца, он молот кофе — Игорь слышал это с дивана, пока с трудом надевал на себя брюки. Отец вошел и подставил шею:

— Хватайся!

Игорь обнял его за плечи и допрыгал до кухни. На столе лежал надвое разрезанный огурец, крупный и желтый, подпаленный солнцем, как все этим летом.

— Витамины, — сказал отец.

Из горла кофейника капало на край плиты.

Отец усадил Игоря и второпях стал неловко хвататься за разные ручкоточки на плите, пока не выключил газ под кофейником.

— Удивляюсь, — сказал он, — как у мамы все получается?

Потом точно так же он довел Игоря до лифта.

Точно так же он поддерживал сына в аудитории, когда Игорь отвечал по билету и на дополнительные вопросы физички с кудряшками возле ушей. Поначалу она спросила Игоря:

- Что с вами?
- Отец ответил за Игоря:
- Ушиб.
- А вы кто? — спросила она отца.
- Родственник.

Трудно было узнать прославленного летчика в «старикане», как называл себя иной раз сам отец, да и очень уж молодой была физичка, чтобы помнить фотографии отца в давних газетах, а быть может, и фамилию.

Среди летчиков, как и среди физиков, появилось много молодое поколение.

Она долго убеждалась в том, что Игорь представляет себе, что такое корпускулярное излучение молекул из космоса, не понаслышке знает о нем. Игорь напрягался, говорил. Отец молчал.

Она спросила:

- А что вам особенно интересно? Чем вы интересуетесь?
- Ну, как... — Игорь посмотрел на отца. — Авиацией.

— А читали вы о таком явлении, как флаттер?

Игорь стал вспоминать...

Отец разглядывал какие-то разноцветные плакаты на стене...

В конце концов физичка потребовала экзаменационный лист.

— Я ставлю вам четыре. За неуверенность кое-где... Физика — точная наука и не терпит неуверенных знаний.

Когда шли по коридору, из-за угла лестничной площадки выглянули лохмы Кости и курчава, есенинская шевелюра Родьки, высунулись их встревоженные рожи.

Игорь на пальцах показал «четыре», а они ему — что будут звонить, и скрылись, не желая попадаться на глаза его отцу.

В машине отец сказал:

— Хорошо, что не вцепилась тройку... Что же ты плавал, друг?

— Где?

— Флаттер — это же просто... Это быстро нарастающая вибрация оперения и всех плоскостей, от которой машина может рассыпаться в воздухе... Сейчас, правда, уже не может... С этим справились... Но раньше! Привел бы пример.

— Какой? Ты мне никогда не рассказывал, отчего разваливаются в воздухе самолеты. К тому же это не по программе...

Ехали по людной улице, отец внимательно смотрел вперед.

— А она фик-фок, эта физичка! Как кинозвезда! Колечки возле ушей. Это модно?

— Моднo, — ответил Игорь и добавил, когда постоял у светофора и снова двинулись, — у меня сломана нога.

— Знаю, — сказал отец. — Вчера по телефону узнал. Кто-то из твоих дружок позвонил, чтобы справиться о самочувствии, и в ответ на мое «нормально» сказал, что у тебя же сломана нога!

Только теперь Игорь обратил внимание на то, как бережно ехал отец, и вспомнил, что вслед за чьим-то — чьим? — звонком отец объявил, что у него «еще деловой звонок», и, прикрыв дверь, договаривался, значит, может ли он прийти сегодня на службу позднее.

Молчали довольно долго.

Потом отец спросил:

— Ты уверен, что четверки хватит для проходного балла?

— С запасом, — ответил Игорь.

Отец остановил свою «Победу» у почтового отделения, подтянул ручной тормоз. Все в машине поскрипывало — и тормоз и сиденья, но как-то удивительно по-родному.

— Дадим матери телеграмму? — спросил отец. — У нас все в порядке. Поступили. Поздравляем... Годится?

Игорь кивнул в ответ и посмотрел, как, хлопнув автомобильной дверцей, отец идет к почте сбивающейся походкой.

Он всегда чуть подпрыгивал на ходу, когда волновался.

Николай Старшинов



У костра

Лес еловый.
Дым лиловый
Над пригаснувшим костром...
Сядь со мною — и ни слова,
Я прошу тебя добром.

Видишь, искры рассыпая,
Догорают головня!
Их глотает ночь слепая,
Шаг за шагом наступая
На тебя и на меня.

Вот она вокруг излучи
Сжала черное кольцо...
У тебя худые руки
И усталое лицо.

Но в глазах твоих, живые,
Даже в нынешние дни,
Все не меркнут фронтовые,
Те далекие огни.

Ты пришла из дымных зарев,
Ты по мирным дням прошла,
Ничего не разбазарив
Из того, что жизнь дала.

Прежней дружбы не утратив,
Не забыв до этих пор
Фронтовых своих собратьев,
Боевых своих сестер...

Гаснет пламя на поленьях,
Прогоревших до золы.
Стынут руки на коленях,
Словно первый снег, белы.

Но постоя-ка, не вчера ли
Эти руки поутру
Землю рыли, и стреляли,
И дрова несли костру!..

Так мгновенье за мгновеньем
Я сижу и жду зарю.
И почти с благоговеньем
На лицо твое смотрю...



А тут — ни бронзы, ни гранита —
Бугор земли
Да крест простой...
Она,
Ничем не знаменита,
Спит под цементною плитой.

А ради нас она,
Бывало,
Вставала поутру
Чуть свет,
Кормила нас и одевала,
Свой хлеб последний отдавала
В години горестей и бед.

В делах — с субботы до субботы...
А дочери и сыновья
Дарили ей одни заботы,
И больше всех, конечно, я.

Да, ей была со мной мороза,
Была и летом и зимой.
И ни намека,
Ни упрёка,
Ни боже мой...
Ах, боже мой!..

И если стынет,
Обитая
Под сенью ветхого креста,
Душа, такая золотая,
Какой же быть должна плита!..

А тут — ни бронзы, ни гранита —
Цемент
Невзрачный и немой:
Она ничем не знаменита,
Ни боже мой...
Ах, боже мой!..



Получше присмотришь,
Как небосвод высок,
Там, где течет Неріс
В сверкании осок.

Там быстрая струя
Пропадна и чиста,
Там песня соловья —
Из каждого куста.

Там берега как сад,
Там небо — голубей.
Там никаких досад
И никаких скорбей.

Там сердцу моему,
Ну, как в родном дому...
А спросишь почему!
Отвечу почему...

Получше присмотришь:
У самых светлых вод,
Там, где течет Неріс,
Моя любовь живет.



Только вспомню тебя — затоскую,
Одолеет меня непокой...
Где найти мне другую такую!
Да нигде не найти мне такой!

Нету глаз твоих светлых бездонней,
В них лучится сиреневый свет.
И прохладных и добрых ладоней,
Как твоих, не бывало и нет.

Облечу океаны и сушу,
Побываю в раю и в аду,
Но такую высокую душу
Никогда и нигде не найду!

Девочка и чайки

Волны накатываются,
Гальку моя,
Волны дробят голубую гальку.
Девочка вышла на берег моря
С чайками утренними поиграть.

Чайки кричат о недавнем шторме —
Был он безудержным и крутым.
Девочка их, белокрылых, кормит:
Черные корки бросает им.

Зорко за нею следит вся стая —
Чайки взлетают
И на лету,
Словно жонглеры, куски хватая,
Благодарят ее за доброту.

Кружатся рядом, полны доверья,
Над головой поднимают гам.
И оставляют на память перья —
Перья роняют к ее ногам...

Море Балтийское,
Как ты мило!
Девочка русая так мила!
Только ты, море добра и мира,
Не обернулось бы,
Морем зла.

Лишь бы...
А дети — повсюду дети.
Тучи надвинулись — не беда.
Ыли бы желтые дюны,
Ветер,
Чайки белые
И вода...



Медлительно идут за днями дни,
И месяцы, и годы — все в разлуке...
Любимая, прошу тебя: верни,
Верни мне губы, голос свой и руки.

Зачем ты их другому отдала,
Свои глаза, улыбку, даже имя!
В них было столько света и тепла,—
Они всегда останутся моими!

У моря, где бесчинствует прибой,
За тихой речкой или у вокзала,—

Но все равно мы встретимся с тобой:
Я знаю — нас одна судьба связала.

И наши руки встретятся тогда,
Глаза и губы — позднее свиданье...
И нам за все убитые года
Не будет никакого оправданья.

Олег

Дмитриев



Выпускаю птиц

Отпущен с уроков в десятом часу,—
Каникулы были уже на носу,—
Схвател я, школяр несмышленый,
Подлазя к щеглам!
[Не в зеленом лесу —
В квартире своей двухоконной].

Вид клетки внезапно меня укорил,
И тут я решительно дверцу открыл,
И узенький мир распахнулся!
И первый щегол,
Красногруд, чернокрыл,
В весеннее небо метнулся!

Но страх обескрылил второго щегла.
Я взял осторожно его из угла
В накрапинах белых помета,
Но бедная птица никак не могла
Поверить в возможность полета.

Она не срывалась с раскрытой руки,
Царапала кожу ее коготки,
Я чувствовал дрожь ее тельца!
Она не хотела лететь, вопреки
Открытому сердцу владельца.

Но бросил я легкий комок за окно!
Как взмыло над крышей цветное пятно,
Следил я, вертя головою:
Веселые дарящего волю
Равно
Восторгу обретшего волю!

Но только,
Наверно,
Лет десять спустя
Постиг я то счастье,
Какое дитя
Могло лишь почувствовать смутно;

Чуть птица рванулась,
На солнце блестя,
В бездонное майское утро,
Как, сердце стремя в благодатные дни,
В прозрачные волны, в лесные огни,
Слились доброта и отага.

И, словно толчок,
Свое счастье начини
Простым сотворением блага.

Перевал

Чайка плавала надо мною,
Чуть выплывавая крыло,
Над степью моей земною,
Где встречались добро и зло.
Вот я вышел к волне тяжелой,
Заглушающей птичий крик,
Не печальный и не веселый,
Не мальчишка и не старик.
Возраст зрелости.
С перевала
Оглядевшись, я не спешил
Громко каяться, будто мало
В прежней жизни своей свершил,
Жизнью будущей не прикрылся,
Клятвы пламенной не давал,—
Просто с молодостью простился,
Просто вышел на перевал.
И сегодня под крики птичек
Я сомнений не разрешил,
Жизнь прожитую
Педантично
Я по полкам не разложил.
Не подвел ничему итога,
Но, наверно, совсем не зря
Я глядел далеко и долго
В это море, судьбу не зля:
Мы бываем смешны в отаге—
Все бывшее сводить к нулю!
Но и будущее о благе,
Мне недоданном,
Не молю,—
Словно путник перед походом,
Став в привычную колею,
Сопраженное с небосводом
Это море
Глазами пью.

При свече

А я всего сильней
Тебя любил,
Когда, венки теней плетя на стенке,
Дрожащий свет
Лицо твоё лепил,
Ища неуловимые оттенки!

Я помню все,
Что говорила ты,
Что сам я говорил — почти дословно!
Сердца открыты.
Помыслы чисты.
Душа спокойна, и дыхание ровно.

Твое лицо менялось каждый миг,
Столь испуганно тот капризный гений —
Трепещущего пламени язык —
Желал каких-то новых светотеней!

Казалось мне, я знал судьбу твою:
Дитя, девочка, женщина, старуха
Сидели рядом.
Желтую струю
Воск извергал, потрескивая сухо.

Наверное, вот так в былых веках,
До взвизгивающей эпохи Эдисона,
Влюбленные на всех материках
Поверх свечи смотрели вдалеку бессонно!

Витой фитиль,
Сгорая на корню,
Нас выделил на час из толпы несметных
И приобщил к высокому огню
Поэтами воспетых
Душ бессмертных!

Ты не забыла, как тогда, в ночи,
Подрагивало пламя, золотая?
Ты помнишь, при мерцании свечи
Черты прекрасней и слова святее...

Акварель

Курортный городок
Пустынен — не сезон.
Он у воды прилеп
И погрузился в сон.

А воздух мутноват,
Как легкое вино,
Что в прошлый листопад
Счастливо рождено.

И грани не прямы,
И краски не ясны,
И темные холмы
В пространстве смещены.

И небосвод от вод
Не отделен чертой,
И косо даль плывет
За дымкой золотой.

Постой, не баламуть
Полдниковое вино,
Потом осядет муть
На уличное дно.

Придет лиловый час
И выцветлит весну,
И краскам блеск придаст,
А граням — прамизну.

Подвинется вперед
Холмистая грядя,
И каждый разберет,
Где небо, где вода.

Так будет, но пока
Иную жизнь творит
Пустого городка
Туманный колорит.

Смушение поборов,
Как пустынный хмель,
Как девять легких строф,
Как эта акварель.



ОЛЕГ
РУДНЕВ

ПЕТЬКИНЫ ИМЕНИНЫ

МАЛЕНЬКАЯ
ПОВЕСТЬ

Рисунки
Александра
ТОКАРЕВА.

1

Мы сидим у подбитого немецкого танка и нетерпеливо поглядываем на тропинку — по ней вот-вот должен прибежать Петька. Мы уже больше часа наливаемся злостью и досадой. Времени слава богу, а «Буржуя» все нет и нет. «Буржуй» — это Петька, фамилия его — Агафонов. Но это по метрике или по тетрадкам. Для нас он «Буржуй». Мы не виделись почти два дня — ездили на огороды.

И вот теперь, когда все собрались вместе и можно начинать дело, Петьку словно собаки съели.

Все — значит, Володька Киянов, Витька Полулященко, Ванька Кондратенко, Гришка Рудяшко и я. Но это тоже если читать по метрикам или по тетрадкам. У нас все куда короче: Володьку — он меньше всех ростом — называли «Шкет», Витьку — он вечно спал — «Совой», Ваньку — никто так не прыгает, как он, — «Козлом»; мы всем гуртом не можем свалить Гришку с ног и звали его «Бугаем», а меня — «Майором Булочкинным». Но это еще ничего. Сначала меня вообще называли «Булочником». За то, что раздавал в школе хлеб. Сами же выбрали, а потом и пошло и пошло. Спасло кино «Небесный тихоход». Крючков там летчика играл, Булочкина. Кое-как удалось потихоньку переключить «Булочника» на «Булочкина».

Но потом наши прозвища менялись, забывались и исчезали совсем.

А Петька, он всю жизнь был «Буржуем» — и при оккупации и после нее. Его за что ни схвати — везде сплошное «буржуество». Даже в годах. Нам по тринадцать, ему послезавтра четырнадцать. На один год всего дела, а ходит на вечерние сеансы. Нас не пускают, хоть убейся, а ему пожалуйста. Уж как мы ни ублажаем тетю Пашу — в дверях всегда стоит она, даже в выходные, — как ни лстим, как ни заискиваем, все бесполезно. Вредная тетка. И ведь главное — не упросишь, не обманешь, знает каждого, как облупленного. Только у Петьки все получается, как он хочет.

Бродим мы, бродим возле «кинухи», зубами от злости щелкаем, всякие планы строим, несчастья на голову контролерши призываем — все без толку. Наговоримся впасть, наругаемся и — куда денешься? —

начинаем собирать гроши на билет Петьке. Уж так хочется посмотреть, уж так хочется, столько разговоров о картине, что мы согласны смотреть даже чужими глазами. Обойдется это нам недешево. Во-первых, Петька требует, чтобы билет ему купили на самый дорогой ряд, во-вторых, никто не знает, когда он вернется. Редко бывает, чтобы сеанс не прерывался из-за отсутствия света. Иногда эти перерывы бывают так часто и тянутся так долго, что зрители просят прийти досмотреть картину на следующий день. Помню, «Золотой ключик» мы всей братвой ходили смотреть три дня.

В общем, собираем мы Петьке гроши, и он идет. Высокий, с черным пушком под носом, в гимнастерке, галифе и здоровых солдатских сапожиках — все, конечно, отцовское. Петька подходит к тете Паше, небрежно протягивает билет и, не удостоив нас даже взглядом, исчезает в дверях фойе.

При фашистах в кинотеатре была конюшня. Теперь лошадей убрали, выбросили стойла, поставили лавки, в центре — несколько рядов деревянных кресел, натянули экран и начали показывать кино. От каменного пола и сырых, облупленных стен тянуло такой промозглой сыростью, что мы потом даже летом, на солнце долго не могли прийти в себя.

А зимой... Зал не отапливался, и когда экран вдруг угасал, в холодной темноте начиналось что-то невообразимое. Свист, крики, топот, словно в очереди у кассы. Появлялась теть Паша с керосиновой лампой. Шум становился тише, но ледяной мрак еще зловеще.

Впрочем, люди мерзли и бранились не столько оттого, что было холодно и неудобно, а потому, что вдруг исчезала жизнь, которая только что глядела на них с экрана.

И стоило ему вновь вспыхнуть, как в зале мгновенно наступала тишина, куда-то уплывал холод, а с ним вместе и все заботы. Плакали, смеялись, хлопали, скрипели зубами и вдруг замирали в таком молчании, что, казалось, было слышно дыхание механика из будки.

Шел второй послеоккупационный год.

Петька исчезает в фойе, а мы бродим и бродим, как неприкаянные.

Квартальчик, в котором расположен кинотеатр, маленький. Мы его, наверное, с сотню раз обойдем, пока не появится Петька. А он придет и начнет выковыриваться. Не спеша скрутит цигарку — из всех нас только он умеет крутить козью ножку, закурит — только он умеет так курить — с прихлебом, с присвистом, кажется, идет идет даже из ушей, а потом посмотрит на нас своими «буржуйскими» глазницами и скажет:

— Это вам, пацаны, знать не полагается. — И томит душу до тех пор, пока кто-нибудь из нас не вывернется:

— Ну и хрен с тобою, подавись ты своим кино!

Тогда только Петька смилостивится и расскажет. Манера говорить у него неторопливая, основательная. На слушателей он почти не смотрит и слова выбирает, как яблоки на рынке. Одно к одному, чтоб выбрать — так выбрать.

Если признаться, так слушать Петьку интереснее, чем смотреть кино. Нам как то довелось увидеть то, что «буржуй» недавно рассказывал. Мы ошарашенно глядели на экран и никак не могли понять, зачем там изуродовали Петькин рассказ. После этого случая, когда мы собирались вместе, кто-нибудь из нас обязательно просил:

— Ну, давай, сбери что-нибудь.

Петька не обижался, рассказывал. Рассказывал так, что уже через несколько минут мы верили каждому его слову.

Витка Полулященко открывает глаза, лениво потягивается и предлагает:

— Может, за ним сбежать надо?

Гришка Рудашко огрызается мгновенно. Он вылезает из-под танка, сердито смотрит в сторону, откуда должен прийти «буржуй», ехидничает:

— Машину послать. — И тут же уточняет: «Студебеккер».

Бежать за Петькой — это два километра жары и неприязнистый туд и два километра обратно. Солнце печет так, словно стоишь над раскаленной печью. В каждом нашем дворе есть такие печи: не топить же в доме — и так дышать нечем. Но главное, конечно, не в этом. Можно спокойно нарваться на мамашу, и тогда пиши пропало. И откуда только берется у них вся эта канитель? Чуть свет — вставай! Наколи дров, затопи печку, полей огород, натаскай в кадуюш воды, отоварь карточкой. Подай, принеси, сбегай! И все быстро, быстро.

Колонка у нас во дворе. Она единственная на всю улицу. Мне полетче — накачал и полил. А пацанам — накачал и тащи черт знает куда. А ведр этих надо... Считать не сосчитать. Земля потрескалась от жары — льешь в нее, как в бездну.

Таскаем, таскаем — уже и в кистях и в плечах ломит. Сядем отдохнуть, так не успеешь и рта толком раскрыть, как чья-нибудь мамаша пожалует:

— И что ж вы, ироды проклятые, делаете? Тут маешься, гнешься, а они ласы точат. Неужели ж у вас совести совсем нету?

Совести, конечно, у нас есть. Мы вскакиваем и начинаем бежать с такой скоростью, что водяной след на нашем пути не успеет просохнуть. Мы понимаем: матерям трудно. До работы надо с хозяйством управиться, после работы тоже дел хватает: и постирать и заштопать... И где только они находят эту работу?

— Ма, можно я к Петьке сбегаю?

— Я те сбегаю, ирод проклятый.

— Та я ж только на полчасика.

— Знаю я твои полчасика.

— Та шоб я попил, шоб...

— А ну, марш к Куприянихе за керосином! Скажи, через неделю отдадим.

Куприяниха, мамина подруга, живет у черта на куличках, и удовольствие с бутылкой керосина обойдется мне не менее чем в полтора часа. Приносишь эту несчастную бутылку, жадно хлебашь у колонки воду и начинаешь по новой:

— Ма, можно я к Петьке сбегаю?

И так до тех пор, пока не услышишь в ответ:

— Да иди ты, горе мое, иди, чтоб глаза мои тебя больше не видели!

Пулей бросаешься со двора, но еще быстрее тебя настигает материнское «Стой!». Ничего не подделав, надо выслушать наставление.

Наши мамы не любят отпускать сыновей со двора не потому, что много работы, и не потому, что хотят, чтоб мы держались за их юбки. Просто мы взрываемся. Начисто, насмерть — почти каждый день. То на минах, то на бомбах, то на снарядах. У каждого из нас свои запасы, свои тайники, и каждый день то тут, то там слышатся глухие раскаты взрывов. Мамы при этом делают более мела, бросают все свои дела и бегут узнавать: чей сегодня? И когда после этого над садами и леватами начинает метаться беззвучное материнское «Ванечка..», «Колечка..», «Шурочка..», Петька зло сплюнет сквозь зубы и осуждающе скажет:



— Не сработала макитра¹.

Это значит, что те, от которых теперь останется в доме только портрет с черной каймою, нарушили элементарные правила саперного искусства. Их у нас много. Мы их сами выработали, сами опробовали — считай, в каждом дворе кого-нибудь не хватает, — сами строго придерживаемся.

Со снарядами проще, на снарядах только дураки рвутся. А чего? Не лупи по капсулю, не трогай головку... То есть трогай, но поосторожнее. Это не бомба. Та посложнее. Да и то, если с умом, так тоже ничего страшного нет. Другое дело — мины, не минометные, конечно. Снаряды мы лущим, как семечки. Для чего? Порох достаем на растопку, да и вообще пригодится. Вот настоящие мины — это да! Если не знаешь, не лезь. Прибереги на всякий случай, но не лезь.

У каждого из нас свои закрома. Есть чем и стрелянуть и рвануть... Уж если играем, так по-всамделишному, не с пукалками. Мы тщательно скрываем свое добро друг от друга, потому что, знаете, наши кодексы чести тоже имеют свои границы. К тому же, как ни верти, лучшее место у танка пока принадлежит Петьке: самые большие закрома у него. У этого «буржуя» есть все. Хочешь ракетницу — пожалуйста, нож — любой, детонаторы — на выбор. А недавно принес шесть новеньких ручных гранат, немецких. Знаете, тех, что с длинной деревянной ручкой. Не гранатки, а загляденье, в масле еще. Мы ими рыбу глушили.

Уж как мы стараемся найти Петькин склад, как стараемся, — ничего не получается. Хитрый до невозможности. Уж, кажется, все вокруг облазили, все изучили. А он прищурит свои «буржуйские» беньки и скажет:

— Хотите, одну штуку покажу? — И прямо на том месте, где мы топчемся каждый день, покажет такую бомбу, что слюнки потекут.

...Нет, не любят наши мамы отпускать сыновей со двора.

— Горе мое, я ж прошу... — Мать догоняет меня у калитки и смотрит такими глазами, словно на войну отправляет.

— Та я, мам...

Мы брешем, обещаем, клянемся и... взрываемся. А матери просят. Что им еще остается делать?

Я уже за калиткой и собираюсь бежать, как вдруг в окне появляется моя бабушка. Ну, теперь все, теперь только держись.

— Вера, ты його не пускай. — В нашем доме говорят по-украински, но в особо торжественных или крайних случаях переходят на русский. Это бабушкино «його» означает «его». Она смотрит на меня обличающим взглядом и продолжает: — Он утром принес мину...

Я не верю своим ушам. Доглядела, старая. Бабушка видит мою растерянность и говорит еще более сурово:

— Он принес и схова в ййё пид викном. — Бабушка делает паузу и торжествующе заканчивает: — А я найшла и выкинула ййё в клозет.

Ждать больше нельзя ни одной секунды. Я срываюсь с места и бегу, что есть мочи. Никакими «стой!» теперь меня не остановишь. Глупая, глупая старуха. Она думает, что обезвредила мину. Будто в клозете не может взорваться.

¹ Макитра — глиняный горшок. Здесь подразумевается глупая голова.

Постому, конечно, за Петьку никто не пойдет. Испытывать судьбу и рисковать свободой... Ко-му это надо! Мы будем ждать его здесь, в ле-вадах, до посинения.

Левады — это наша собственность. Совсем недав-но здесь проходила линия фронта. Окопы, траншеи, ходы, переходы, доты и блиндажи заросли травой, и в этом царстве мы неуловимы. К вечеру, когда ули-цы устало одуваются от жары и пыли, в левадах блаженство. Пахнет разнотравьем, коровьими ле-пешками и болотцем. Здесь наш штаб, здесь мы от-рабатываем все свои планы, отсюда начинаем набе-ги, сюда после них возвращаемся.

Петька появляется внезапно. Мы уже одурели от ожидания и теперь с трудом верим своим глазам. Во-первых, мы все время глядели на тропинку, «Бур-жуй» словно вырос из-под земли. Во-вторых, у Петь-ки в зубах самая настоящая папироска. Не само-крутка, набитая самосадом, от которого мухи дох-нут, а тонкая, с белым длинным мундштуком аромат-ная папироска. Эта папироска бросает последнюю каплю в переполненную чашу терпения, и мы соби-раемся хором высказать «паразитку» свое к нему от-ношение. Но не успеваем даже раскрыть рот, как Петька, словно фокусник, лезет за пазуху и достает оттуда здоровенный кусок макухи¹. Мы зачарованно смотрим на «Буржуйскую» руку и давимся слюной. А Петька продолжает фокусничать. Опускается рядом с нами на землю, снимает с себя рубаху, подстила-ет — не дай бог, пропадет хоть одна крошка, — и на-чинает делить. Нас шесть человек, и каждый должен получить свою долю. Петька раскладывает макуху на кучки, внимательно изучает, перекладывает, отщипы-вает, добавляет. Мешать ему не надо: лучше Петьки никто не разделит. Он откидывается далеко назад, еще раз осматривает каждую кучку и, наконец, раз-решает:

— Навались!

В мгновение ока на рубашке словно ничего и не было, как в цирке. Слышится только хруст да ча-канье. Каждый ест по-своему. Гришка, кажется, и не жует, целиком глотает, Ванька трещит, как круп-оруха, Витка смокчет, словно сосет соску, Володька то и дело испуганно поглядывает на руку, в которой макухи остается все меньше и меньше, я тоже не могу удержаться и ем торпелито. Один Петька не жует, а, как он сам говорит, держит харч во рту. Держит и изредка сглатывает.

Каждое утро мы бегаем в магазин за хлебом. Ра-бочему пятьсот граммов, ребенку четыреста, жиди-венцу двести пятьдесят. Нашей семье положено ты-сяча сто пятьдесят граммов. Это значит: матери — она работает на механическом заводе, мне — учени-ку четвертого класса, при немцах я почти три года не учился, и бабушке — она и не работает и не учил-ся.

В магазин мы бегаем охотно. Вся надежда на счастье. Счастье — это маленькие довески в пятна-дцать, двадцать граммов, не больше и не меньше. Крохотные кусочки нас не устраивают, потому что на них и смотреть нечего, только живот разболится, а больше не тронешь. Хлеб — это все. Без него мы давно отдали бы богу душу. Летом еще полбебды — овощи, трава всякая... Мы из лебеды такой борщ ва-рим, что за уши не оттянешь. А зимой... Зимой туго. Хлеб — наша главная еда. От большого куска не от-щипывай, вроде воровства получается. А малень-кий... Его перекармливать из руки в руку, из карма-

на в карман — того гляди, потеряешь... Перекармлива-ешь, перекармливаешь, а потом от греха подальше и положишь в рот. Не пропадать же добру. Петька при этом еще скажет:

— Шо ты глотаешь, как индюк? Ты его не тронь, он сам у тебя в роте растает.

— Та не могу я, Петя, оно само глотається...

— А ты думаешь, я могу? Я б оту буханку как за себя кинул.

Нет, Петька мог. Он ко всему подходил не так, как хотелось, а как надо было. Мы доедаем макуху и еще долго смотрим друг на друга, словно ожидая чуда. Если не удастся ночью обратиться поляковский сад, на сегодня это станет нашим единственным ужином.

Поляковы не нашеские, они приехали откуда-то сразу после немцев. Купили здоровенный каменный дом — при фрицах в этом доме был какой-то штаб — и жили там, как никто у нас в городке не жил. При доме был большой старый сад с огородами, и Поля-ковы выдавливали из них все, что могли. Сам Поля-ков все время куда-то ездил, его всегда можно бы-ло видеть с одним и тем же чемоданом в правой руке — вместо левой руки был пустой рукав, заправ-ленный за пояс гимнастерки, — вечно толкался на ба-заре, что-то продавал, покупал. Его жена, бойка, языкатая молодуха, тоже без конца куда-то ездила, что-то увозила, привозила. Из открытых окон поля-ковского дома всегда пахло жареным мясом и чесно-ком. Там постоянно собирались какие-то подозри-тельные компании, пили водку и веселились. Муж-ские и женские голоса визгливо кричали:

На позицию девушка провожала бойца...

Нам всегда хотелось запустить в окно кирпичину. Песню в этом доме никогда не пели так, как было на пластинке, а по-своему.

Не успел за туманами промелькнуть огонек.

Как явился у девушки уже другой паренек...

Мужские голоса по-жеребачьи ржали, женские визгивали. Петька в таких случаях это сплевывал и, хмуро поглядывая на поляковские окна, рубил:

— Спекулянты проклятые! — Он брезгливо кривил-ся и добавлял: — Шмары вонючие...

Мы не знали, что такое «шмары», но были с Петь-кой совершенно согласны. Вообще Петька знал все, о чем ни спроси. Еще при немцах был такой случай: недалеко от нашей улицы, возле небольшого двух-этажного дома — до войны там была какая-то кон-тора — остановился автобус. Он привез женщин, де-сятка полтора, накрашенных и разодетых так, что кто-то из нас сразу определил: театр. Мы бы так и разошлись, уверенные, что видели артистов, если бы не Петька. Он глянул на нас, как на остопопов, и хмуро окрысился:

— Не театр, а бордель.

Это было новое для нас слово, но Петька объяс-нил, и все стало ясно. Непонятно было одно: как же они могут? Они же наши, советские!

...В саду у Поляковых есть все, даже бахча. Он-то нас особенно привлекает. Но шутки с хозяином плохи. Однажды мы попытались — до сих пор кое-кто потирает зад от одних только воспоминаний. Соль у однорукого черта крупная, горячая, как огонь. Правда, в следующий раз спекулянт пообещал стрелять дробью, но это вряд ли лучше, чем соль.

Тем не менее мы пойдем на поляковский сад, и скорее всего это будет сегодня. Все зависит от одно-го обстоятельства. Мы должны наконец кое с кем рассчитаться. Это решение зрело давно, и теперь наступил тот момент, когда ждать уже больше нель-зя. Но все по порядку.

¹ Макуха — жмых (укр.).

«С» атану мы увидели сразу после немцев, он вернулся откуда-то из эвакуации. Дело было на реке. Мы только что искупались и грелись на берегу. Появились трое парней. Двоих мы знали — это были «Поп» и «Слепой». «Поп» жил недалеко от железнодорожной станции и при немцах что-то там у них делал. А вообще это был вор. Ему уже стукнуло шестнадцать, и «Попом» его прозвали за длинные, гладкие льняные волосы, что спадали ему прямо на плечи, за елеинный голосок, точно такой, как у батюшки из церкви, за быстрые, как у хорька, глаза и за невероятную жадность и нечистоплотность.

«Поп» был вор-паскудик. Он мог обокрасть самого себя — не признавал никаких понятий чести, в том числе и воровских. «Поп» сам вспоминал такой случай. С одним из своих дружков напился до такого состояния, что свалился в канаву и заснул. Первым проснулся «Поп». В голове трещало, душу мутило, а опохмелиться было нечем и не на что. И тут «Поп» заметил, что у его дружка новые хромовые сапоги. Ни секунды не думая, «Поп» разул дружка, оттащил сапоги по одному знакомому адресочку, получил за них бутылку самогана и тут же опохмелился. Его постоянно лупили свои же приятели, но он как-то умел вновь втереться к ним в доверие и оказаться в компании таких же паскудников, как и сам. Петька объяснял это просто:

— Падаль всегда с падалью снохается.

«Слепой» когда-то учился в нашей школе. Ему тоже было что-то за шестнадцать, и никто никогда не мог подумать, что он свяжется с блатными. Но он снохался с ними, чем дальше, тем больше сам становился «падалью». «Слепым» его прозвали за близорукость. А вообще их имен мы даже и не знали.

Третьего мы видели впервые. Ростом немного выше своих дружков. Сбитый, как каменюка, он широко расставлял ноги в широким, до блеска начищенных ботинках и, заложив руки в карманы, не шел, а раскачивался из стороны в сторону. Волосы были коротко подстрижены, отчего голова казалась серым шаром, густые черные брови нависли над настороженными глазами. Не вынимая из рта папиросы, он что-то рассказывал и, поблескивая огоньком фикса, криво усмехался.

Компания подошла к берегу, незнакомый вынул из рта папиросу, скопмал и, сложив пальцы, словно для шалабана, выстрелил ею в воду. А потом все трое начали раздеваться. «Сатана», мы позже узнали эту кличку, сбросил с себя рубашу и предстал перед нами во всем своем витатированном величии. Синий, на всю грудь, орел, хищно сцепив лапы, крепко держал в них обнаженную женщину; на правом плече под таким же синим жакетом было написано: «Нет в жизни счастья»; на левом плече: «Не забуду мать родную». Змеи, якоря, орлы и женщины теснили друг друга не только на груди, но и на спине, и на ногах, и даже на пальцах.

«Сатана» присел на траву и принялся было расстегивать ботинки. Затем вдруг остановился, поднял голову, как-то криво ухмыльнулся, посмотрел на Петьку — тот лежал к нему ближе всех — и поманил к себе пальцем. Петька нехотя встал, подошел, «Сатана», небрежно вытянув ногу — при этом он улегся на траву, — лениво процедил сквозь зубы:

— Сними корочки, парч!

Мы с ужасом смотрели на Петьку, на лежащего перед ним бандита и не знали, что делать. «Поп» и «Слепой» тоже смотрели на своего товарища и умирали со смеху. Ботинки покачивались перед Петьки-

ным носом, а он все стоял и стоял, словно не понимая, чего от него хотят.

— Ты что, пахло, умер?

Лежащий на земле слегка приподнял голову и с удивлением посмотрел на бестолкового мальчишку. А тот и совсем отмолил такое, что и выдумать трудно, — повернулся и пошел прочь.

К сожалению, далеко уйти Петьке не удалось. Разрисованный синей тушью блатар зверем выпрыгнул вверх, и не успели мы опомниться, как сбитый с ног Петька лежал на земле и изо всех сил старался уклониться от ударов сверкающих ботинок. «Поп» и «Слепой» по-прежнему ржали, а бьющий приходил во все большую ярость. Он буквально сатанел с каждым ударом, его лицо набухло потом и кровью.

Вначале мы испугались и лежали, словно прикованные к земле, затем опомнились, вскочили, бросились на бандита и стали звать на помощь. Нас слишком много били, и мы не могли допустить, чтобы нашего товарища угробила какая-то сволочь, — не для этого он пережил оккупацию. На наши крики прибежали мужики, и нам удалось спасти Петьку.

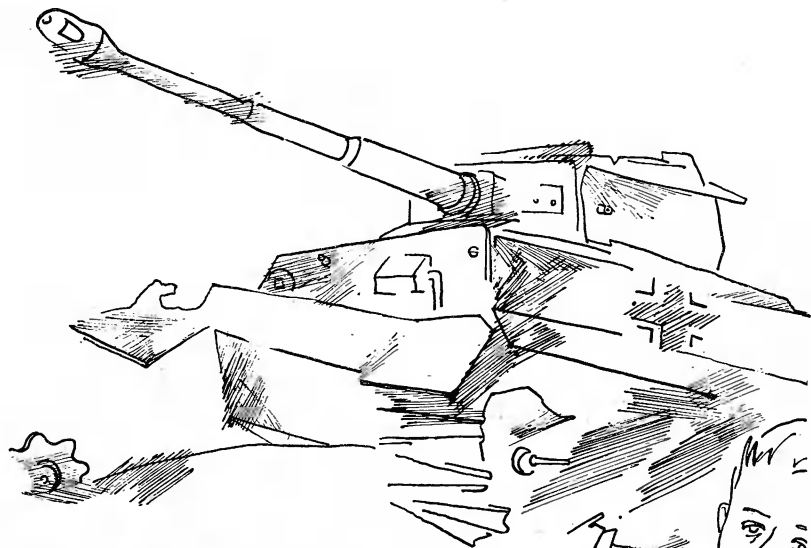
Он силится встать, но это у него не получилось. Все его лицо было залито кровью, расщеплена губа, выбито два зуба. Мы умыли Петьку, утерли и кое-как оттащили домой. Но на этом наши злоключения не кончились, а только начались. Петька упорно не хотел склонять головы, а «Сатана» запомнил нас насмерть. Он каждый раз делал нам какую-нибудь гадость — в отместку за неповиновение. А один раз трахнул Петьку кирпичом по спине так сильно, что чуть не сломал ему позвоночник. Мы теперь гуляли с опаской и, если видели этого зверя, старались быстрее спрятаться. Одно время «Сатана» куда-то исчез, и мы уже думали, что нашим несчастьем пришел конец. А «Сатана» появился, и все повторялось сначала.

Но, как говорят, всему приходит конец. Приходит он даже терпению и страху. Помог нам в этом Петькин брат. Вернее, из-за него мы решили, что терпеть дальше просто невозможно. «Сатана», узнав, что это семилетний мальчишка — младший Атафонов, трахнул пацана ногою так, что у того по спине лопнула кожа. Падаю, Ванюшка в кровь расщепил себе лоб, и его, чуть живого, принесли домой незнакомые женщины. После этого было единогласно решено: с «Сатаной» надо кончать. Кончать — это значит избить так, чтобы мерзавец навек запомнил, что такое драка.

Операция была назначена на сегодня, и мы тщательно к ней готовились. Продумали, где и как караулить врага. Решили, что лучше всего это сделать недалеко от его дома. Там было одно такое темное местечко, удобнее не придумаешь. Запаслись оружием — плеточками из стальных проводов, взяли веревку. Ничего огнестрельного или холодного не брали. От греха подальше. Вообще с оружием была беда: и хранить нельзя, и сдавать жалко, и пользоваться — дудки.

Тактически операция выглядела просто. Окружить, сбить с ног и высечь. Но это на языке, а как оно получится на деле... Мы еще раз обсудили детали, проверили вооружение и выступили в поход. Впереди вышагивал Петька. В отцовской форме, в здоровенных сапожках, которые он даже ночью снимал с неохотой, Петька напоминал заправского солдата.

Помню, как мы впервые увидели его в этом наряде. Он шел навстречу, а мы не верили своим глазам. Петька был единственным из нашей компании, у которого отец вернулся с фронта. «Буржуй», ничего не скажешь. Мы, облепив забор, глядели, как Петька поливает отцу на спину, как подает ему



полотенце, как гордо вышагивает с отцом по двору, и молча давилась завистью. А когда Петя начинал рассказывать, выходило, что войну выиграл его отец. Мы сердились, но опровергнуть ничем не могли: у него был свидетель, а у нас не было.

5

Скоро стемнеет. Но нам нужен не просто вечер, нам надо, чтобы нагулявшийся «Сатана» пошел домой. А это будет не так скоро. Можно еще и испугаться и сделать массу дел. Их у нас тоже всегда хватает.

По дороге встречаем Сережку Белоусова. Он испуганно жмется к забору и смотрит на нас какими-то покрасневшими, кроличьими глазами. Вот дурак — думает, будем бить. Больно надо!

Сережка пришел к нам весной, незадолго до каникул. Была большая перемена, и мы, посиневшие от голода и от холода первой послеоккупационной зимы, сидели около школы и грелись на солнышке. Мы были злые, как собаки. Нам почему-то не дали хлеба, и по всему было видно, уже не дадут. Обычно нам давали сто граммов хлеба, иногда его даже посыпали сахаром. Мы ждали этого часа, заранее глотая слюнки. И вот сегодня... Мы уже несколько раз обсудили, окончится в этом году война или нет, решили, что окончится, перемыли косточки всем учителям и все ждали, не позовут ли кушать. Вместо этого нам явилось такое, что мы забыли и про войну и про голод. Перед нами стоял пацан в новых коричневых сандалиях, серых в клетку брюках и белоснежной рубаше, на которой ярким пламенем полыхал красный галстук.



Если бы вдруг разорвалась земля или кто-нибудь крикнул «Немцы!», мы удивились бы значительно меньше — наш городок переходил из рук в руки четыре раза. Но то, что мы увидели, начисто пероворачивало всякое представление о жизни. Такой мы и не знали и не помнили. Чистенькая и сытая, она удивленно смотрела на нас и как бы допытывалась: «Неужели это тоже школьники?» Пацан явно не знал, что делать, неловко переменился с ноги на ногу и то и дело перекладывал из руки в руку большой, с двумя никелированными застежками коричневый портфель. Затем решился раскрыть рот и спросил:

— Вы, мальчики, пионеры?

Вообще однажды нас уже оскорбили. В первый раз в прошлом году, когда мы только пришли в школу. Совсем недавно бежали фашисты, и мы, давно позабывшие, что такое книжки, с опаской входили в полуразрушенное здание. Стекол в окнах не было, дверей тоже. Стояли разнокалиберные столы и стулья, да висела ободранная доска. Мы затыкали окна всем, чем попало, топили тем, что приносили с собой из дому, писали на старых книжках и газетах чернилами, сделанными из бузины. Впрочем, зимой не писали. В чернильницах был лед. Но не об этом речь.

В первый же день, только мы расселись за письменными, обеденными и кухонными столами и с опаской стали ждать, что с нами будет, в класс быстро походкой вошла молодая, розовощекая женщина. В белой кофточке, новой черной юбке, она подошла к доске и, как-то очень красиво поставив ноги в туфлях на высоких каблуках, широко улыбнулась и проговорила:

— Здравствуйте, дети!

«Дети»... Мы сидели, задохнувшись от злости и обиды, мы еще переживали оскорбление, а Петька очень громко и очень четко произнес:

— Во дает, стерва!

Женщина быстро-быстро заморгала, наливалась краской и ничего не понимала. Ей, наверное, казалось, что она ослышалась. Но потом сообразила, что на нее смотрят два десятка пар осуждающих глаз, что «стерва» — это она, закрыла лицо руками и стремительно выскочила из комнаты.

Через несколько минут в класс во всем военном, только без погон, влетел высокий худой мужчина и перекошенными от бешенства губами не выкрикнул, а прохрипел:

— Встаы!

Вот это разговор, тут и раздумывать не над чем! Коротко, ясно. Мы еще не знали, что перед нами директор, но уже насмерть окрестили его «гестаповцем». Вообще набор кличек у нас широкий: «полицей», «гестаповец», «фашист», «Полицай» мы зовем всякую шваль, паскудников, «гестаповцами» — горлопанов и драчунов, «фашистами» — тех, кто объединяет в себе все эти качества.

— Встаы!

Ого, оказывается, «гестаповец» умеет не только хрипеть.

— Кто оскорбил Зинаиду Ивановну?

Зинаиду Ивановну... Ее даже зовут, как ту. Недалеко от нас жила некая Зинка Ляленкова. Ходила все в черных юбках, белых кофточках да в туфлях на высоких каблуках. С фашистами, гадюка, ходила, с офицерами. Мы ей один раз кирипичной в окно запустили, оттуда выскочило двое гадов, как лопнули из автоматов... Еле ноги унесли.

— Я еще раз спрашиваю: кто оскорбил Зинаиду Ивановну?

Интересно, а как ту звали по отчеству?

Но мы, как потом оказалось, оскорбили хорошо человека. Ни за что. Потом, конечно, помирились и даже подружились. Мы вели себя на ее уроках особенно прилежно и никогда не напоминали о нашем первом знакомстве. Она ведь тоже чувствовала себя, наверное, виноватой. «Дети»...

Но то была учительница, а это стояла зеленая сопля и что-то там варнакала: «Мальчики, вы пионеры!»

Пионеры мы или не пионеры? Принимать нас никто не принимал, кляты мы никаких не давали, галстук на груди нам не повязывали. За слово «пионер» в нас стреляли, за красивые галстуки вешали, а всякие кляты выбивали из нас вместе с душой и кровью. Но когда мы впервые после немцев пришли в школу и нас спросили, пионеры мы или нет, все, как один, ответили «да». Никто нас не допытывал, никто не требовал доказательств. Разве кому-то что-то было неясно? А тут...

Петька медленно поднимается с земли, подходит к херувимчику и... Боже ты, боже... Кржук, словно поросенка режут. А всего и делов-то — обычная смазь. Гришку вон шомполами на виду у всех порол за «Интернационал». Мы его пели хором. Только все успели смяться, а Гришку схватили. Так он только стонал, а не орал, как резаный.

Петька с удивлением смотрит на оружие перед ним существо и без всякой злобы, просто так, из любопытства, делает еще одну смазь. Вой переходит в вопль. Волкер собирается вся школа. Такого тут не видели давно. Кто-то оглаживает замки на коричневом портфеле, и все его содержимое вдруг оказывается на земле, кто-то щупает «матерьяльчик» на штанах и рубашке, и все мы с удовольствием наблюдаем, как вспыхивают на ее белом полотно фиолетовые пятна чернил.

Мать Сережки Белоусова врывается в школу через полчасца. Она буквально разбрасывает нас, стоящих на ее пути, и резко толкнув ногою дверь, исчезает в кабинете директора. Мы, затав дыхание, ждем, что будет. Вначале кажется, что за дверью очень много женщин пытаются перекричать друг друга. Директора не слышно совсем. Затем шум несколько стихает, и до нас начинают долетать отдельные слова и даже фразы: «Банда... Стадо скотов... Я не позволю...» И так далее. По мере того, как стихает шквал женских голосов, все явственнее слышится мужской басок.

Вначале директор доказывает, это мы хорошо понимаем, что мы не банда и не стадо скотов, его голос постепенно крепнет, но вдруг вновь исчезает. Женщина берет разговор в свои руки. До нас долетает слово «мерзавцы». И вдруг мы слышим, как говорят мужчины. Теперь их в комнате значительно больше.

— Как вы смеете? Кто вам дал право? Вы понимаете, какую сказали гнусность? Этих ребят, у которых все детство в крови и голоде...

Он не договаривает, потому что его прерывают: — Так что же прижжете моему сыну? Одеться в рубище и вымазаться кровью?

— Перестаньте, как вам не стыдно...

Директор вновь не успевает договорить.

— Почему мне должно быть стыдно? Ребенка убивают какие-то садисты, а вы мне нотации читаете...

— Да не выдумывайте чепухи, ничего с вашим сыном не случилось.

— И это говорите вы, директор?

— Да, я, директор. Просто ваш мальчик не нашел верного тона, и у ребят это вызвало реакцию.

Даже в коридоре было слышно, что мамаша за-
хлебнулась воздухом.

— И это все, что вы можете мне сказать?

— Да, все.

— Мерзавцы!..

Нам показалось, что женщина бросилась драться. Мы так надавили на дверь, что она отворилась. Директор стоял посреди комнаты и смотрел на разъяренную мамашу побелевшими от бешенства глазами. Он не обрел на нас никакого внимания, просто он нас не замечал.

— Убирайтесь вон.— Директор пальцем указал да-
ме на дверь, пошевелил губами и вдруг гаркнул: —
К чертовой матери!

Мы доброй разлетелись в разные стороны и с
удовольствием наблюдали, как мать Сережки Белоу-
сова чешет по коридору. Вот, значит, какой у нас
«гестаповец».

А с пацаном мы сами поладили. Вздудли для по-
рядка пару раз, и живи себе на здоровье. Парень
вроде бы и ничего, но уж больно слюнявый.

6

Сережка жмется к забору, а мы проходим
мимо, даже не удостоив его взглядом.

Время тянется долго и томительно. Уже и
искупались, уже и стемнело, но до нашего часа еще
далеко. Мы слоняемся из улиц в улицу, не нахо-
дим себе места. Лениво шутим и, чем дальше бегут
минуты, тем настойчивее пытаемся доказать друг
другу, как мы спокойны.

С «Сатаной» шутки плохи. Этот не остановится ни
перед чем. Камнем — так камнем, ножом — так но-
жом. Мы сами видели, как он писал на чиночкой¹
по лицу девочку. «Поп», тот поехиднее, поаккурат-
нее. Обернет нож носовым платком и словно
пыль смахивает. Сразу и не поймешь, отчего у чело-
века на спине распылаются красивые пятна. А «Са-
тана» — нам кажется, ему очень нравится, что его
читают бешеным, — бьет чем попало.

Петька останавливается, задирает голову и смот-
рит в небо. Мы тоже смотрим, но ничего, кроме
звезд, не видим. А «Буржуй» вот так постоит-посто-
ит, пошеплет губами и скажет время, словно у него
часы в кармане.

— Пора!

Мы идем на условленное место, располагаемся в
кустах и замираем. Теперь время пойдет еще мучи-
тельней и дольше. Нам кажется, что мы стоим це-
лую вечность, прежде чем в тишине ночи раздаются
шаги. Я чувствую в животе холод, словно про-
глотил кусочек льда. Но тревога оказывается лож-
ной. Это не «Сатана». Вновь шаги. Мы, напрягав-
шись изо всех сил, глядим в темноту, но это опять не тот,
кого мы ждем. Облегченно вздыхаем, но не ухо-
дим. Проходит еще несколько человек с танцев, и
наступает полная тишина. Матери, небось, совсем
извелись, ожидая. Но что поделаешь — надо!
Мы чувствуем, как настораживается Петька, как
напрягается его тело. Он вынимает руки из карма-
нов, мы мгновенно улавливаем малейшие его дви-
жения, потому что знаем: ошибки не будет.

Я сижу в Таганке, ненаглядная,
Скоро нас отправят в лагерь!..

Песня надвигается все ближе и ближе. Кажется,
еще совсем немного, и она дохнет на нас своими
хмельным перегаром.

¹ Чиночка — лезвие.

Петька раздвигает кусты и делает шаг вперед.
Мы за ним. «Сатана» мгновенно останавливается, за-
молкает, вглядывается в Петьку и вдруг хохочет от
удовольствия. Мы не успеваем опомниться, как из
темноты за «Сатаной» вырастают «Поп» и «Слепой». Ел-
ки точеные, вот это вилли! Мы же сто раз прове-
ряли, и каждый раз выходило, что именно здесь,
возле дома, «Сатана» появлялся один. Как быть? По-
ка мы размышляем, «Сатана» берет Петьку двумя
пальцами за подбородок и вкрадчивым голосом
спрашивает:

— Ну что, падло паршивое, по кустикам гуляешь,
девочек хочешь? — Он делает правой рукой рез-
кое движение вниз — пугает. Есть у «Сатаны» такое
движение. Никогда не знаешь, когда схватит.
Поэтому пугайся не пугайся, а пригнись! Прихо-
дится. — Ух ты, фрайер! — восхищается бандит.

Мы знаем, что должно за этим последовать. «Поп»
и «Слепой» наготове, руки у обоих в карманах. Бе-
жать? Не получится, догонят. Действовать, как до-
говорились? Но их же трое, и они с ножами. Мы не
успеваем ответить ни на один из этих вопросов, как
все за нас решает Петька. Он вдруг делает шаг на-
зад и изо всех сил солдатским отцовским сапогом
бьет «Сатану» в пах. Блатарь сгибается в три поги-
бели, и, когда его физиономия оказывается на уровне
Петькиного живота, следует отчаянный удар по
«сопате».

«Сатана» валится на землю.

Нас никто не делит, мы сами мгновенно разби-
ваемся на группы. Петька и Гришка наваливаются на
«Сатану», Ванька и Витка подступают к «Слепому»,
мы с Володькой окружаем «Поп»а. Нам некогда
следить друг за другом. Да и не видно, темно.
«Поп» по-чопачьи пригнётся к земле, но вместо
прыжка пятак назад. Надо глядеть в оба. Так и
есть, заблелю. Вот дурак, он даже сейчас прячет
нож в носовой платок. Я слышу, как колотится серд-
це, и тоже начинаю пятиться назад. Но вот Володь-
ка-«Шкет», зараза... Он повисает на руке у «Поп»а,
и тот не может ничего сделать. Скорее на помощь!
Я что есть силы бью «Поп»а кулаком в подбородок.
Этот удар я видел много раз и у наших солдат и
у гитлеровцев. «Поп» выпускает из руки нож, бро-
сается мне навстречу. Теперь только бить. Бить,
бить и бить. Не давать ему развернуться. Я замечаю,
как «Шкет» становится на карачки. Ну и хитрюга.
Теперь только посылнее толкнуть и «Поп»а, как
бревно, завалить на землю. Так и есть, «Поп» не
замечает подхода и летит через Володькину спи-
ну наземь. Теперь не дать подняться. За себя, за
Ваньку, за Петьку, за Гришку... Жаль, что темно.
Вот бы глянуть на першивую рожу. Небось, не хуже
раздавленного помидора, даже бить уже неохота.
«Попу» наконец удается встать на ноги. Он что-то
мычит: не то молится, не то плачет, — и пускается
наутек. Следом за ним удирает «Слепой». Видно, то-
же хорошо досталось. Мы не кидаемся вдогонку.
Черт с ними! То, что они получили, им хватит на-
долго. Есть «птица» почище.

Петька и Гришка берутся за «Сатаной». Сопение,
звон, хруст. Настырный бандитог, упирается. Мы ок-
ружаем его плотным кольцом и заваливаем на зем-
лю.

— Кусаешься, сволочь? — Гришка с размаху бьет
«Сатану» по зубам. Хруст... Интересно, сколько те-
перь зубов потребуется этому красавчику?

Мы связываем «Сатане» руки и ноги и спускаем
с него штаны. Даже на расстоянии чувствуется, как
дыбится его тело. Не нравится, голубчик? Это не над-
девками куржиться на танцплощадке! Петька до-
стает из-за голенища плетку из стальных проводов,
размахивается и бьет по сверкающим белым яго-

дицам. «О... о... о!.. У... у... у!.. Падло.. Сука... А... я... я!»

Заговорил, стервец, заговорил. Теперь пороть до тех пор, пока всю дурь не выкричит. Петька бьет размашисто, с толком. Нескольких ударов, и белые пятна тускнеют. Петька бьет точно, не мажет. Надо только проследить, чтоб не запорол насмерть. А то будет, как тогда с полицаем.

7

Тогда... Это было, когда наши высадили десант. Нет, надо все по порядку. Фашисты озверели до того, что перестреляли всех мужчин. Старик, пацан — неважно. К стенке — и все! Кто мог, уходил в лес, кто мог, прятался. Потом вроде бы поутихло — это значит не всех скопом на бойню, а партиями. Как развешивают, особенно после налетов партизан, так и пошло. Кого к Меловой горе, кого на виселицу. Мы уж так наловчились прятаться, что сами себя боялись. И вот где-то примерно за год до ухода оккупантов выбросили наши парашютистов. То ли к партизанам, то ли еще для каких надобностей. Но только уж больно неудачно выбросили: перебили их всех начисто. А один, еле живой, каким-то чудом ушел и приполз к Агафоновым во двор. Петька с матерью и спрятали этого солдата, да не просто спрятали, а выходили. И вот ведь какой паразит, этот «буржуй», — нам ни слова. Ну, да не о том речь.

Был у нас в городе полицай, некий Атаманчук. Лютый зверь перед ним котенок. Ударить, убить — для него одно удовольствие. Да не просто убить, лишить жизни и сделать это, как он сам говорил, со смаком, с аппетитом. Что-нибудь вырезать, выдать, оторвать, сломать. Мы сами однажды видели, как он еврейских детишек брал за ноги и бил головками о дерево.

Вот этот самый Атаманчук и выследил Петькиного солдата. В общем, никто не знает — то ли выследил, то ли случайно нашел. Только ворвались в дом Агафоновых полицей, перерыли весь двор и вытащили из сарая раненого.

Атаманчук, как всегда, был пьян и куражился. Перво-наперво потребовал, чтобы солдат встал перед ним на колени и попросил милости. Вместо этого раненый всю свою ненависть к гитлеровскому холоду выплюнул ему в рожу здоровенным плевром. Что делал полицейский гад, как он только не изощрялся! Солдат не дрогнул. Когда бандит понял, что бит больше нечего, что он так и остался оплывавшим, ярость его перешла всякие границы. Он набросился на Петькину мать, которую охраняли двое полицейских. Сам Петька находился в толпе соседей, вернее, соседок. Его полиция не видели, зато он видел все.

Взбешенный до последней степени, Атаманчук на этот раз изменил своему правилу и с «бабой» покончил в два счета. Носком кованого солдатского сапога ударил женщину в живот так, что Петьке показало: у него самого внутри все сплосилось в один сплошной кровавый синяк. Он рванулся к матери на помощь, но безраздумные руки взрослых удержали его на месте.

Мать не закричала, не упала. Она как-то присела и, словно хотела отдохнуть, прилегла. Но не успела ее голова коснуться земли, как полицай ударил сапогом во второй раз, так, что женщины закрыли Петьке глаза. Но он видел, он все видел. Мать ле-

жала на земле, скорчившись, а вместо головы у нее было... Мы тоже все видели.

Петьку, задыхающегося от рыданий, унесли тогда на руках. На счастье, в тот момент никого из младших Агафоновых — ни Настеньки, ни Ванюшки — в доме не было.

После этого, как говорила моя мать, Петька постарел. Вечно эти взрослые что-нибудь выдумают. Почернел — это верно, молчаливей стал — точно, а чтобы постарел... Какой был, такой остался. Одно только вбил себе в голову: порешу гада — это Атаманчукова, значит, — и точка. А мы что? Мы с Петькой согласны, мы сами все видели. Да только как это сделать?

Петька знал как. Он следил за полицаем и выследил. Тот иногда наведывался к Ляленковой Зинке, а потом, пьяный, через вот это самое место, где мы мутузили «Сатану», возвращался домой.

К той операции мы готовились посерьезней, чем сегодня, — знали, на что идем. Слава богу, не маленькие.

Мы выслеживали полицая до тех пор, пока не подкараулили. Он был один. Едва переставляя ноги, Атаманчук брел и мурлыкал какую-то песню. То и дело останавливался для пополнения сил, он двигался прямо на нас. Мы вот точно так же хорошились в кустах.

Мне до сих пор кажется, что Петька уколошил его сразу — так сильно он съездил его кирпичом по затылку. Полицай, даже не охнув, свалился на землю.

...Надо остановить Петьку, а то «Сатана» уже не орет, а хрипит, словно ему бритвой перекалывали глотку. Мы развязываем «Сатане» руки и ноги. Не стоит. Ничего, встанет. Встанет и будет помнить всю жизнь. Петька наклоняется к благарию и говорит то, что мы все думаем:

— В другой раз утробим!

Мы чувствуем, как дрожит тело бандита. Он силится что-то сказать, но не может. Ну, пусть подумает, это ему полезно. Мы уходим.

Через сотню шагов Петька останавливается, размышляет. Затем круто поворачивается и решительно идет назад. Вообще Петька — молодец. Нам самим как-то не по себе. Хотя и саполоч, но оставлять одного... Мы берем «Сатану» на руки, тащим. Хорошо, что дом близко. Не человек, а кабан какой-то. Мы кладем избитого на крыльцо, ступим в окно. Теперь порядок, можно смываться, теперь с этой гнидой ничего не случится.

Мы возвращаемся к танку, опускаемся на землю и, обессиленные, долго молчим. Вообще-то после драк, а их у нас бывает немало, мы шумливые, как петухи. Каждый норовит доказать, что именно он решил исход битвы. А сейчас мы молчим. По телу постепенно разливается усталость, и мы начинаем дрожать не меньше «Сатаны».

Как же все-таки случилось, что мы сумели? Их было трое взрослых бугаев, вооруженных ножами, а мы... Мы вспоминаем только что пережитое и не верим сами себе. Видно, прав Петькин отец, который говорит, что если знаешь, за что дерешься, так и сил вдвое больше.

Отец у Петьки тоже молодец. Скажет, как прилепит. Жаль только — дома почти никогда не бывает, вечно в разъездах. Работает на автобазе шофером. Бывало, увидит у кого-нибудь из нас синяк под глазом или расцарапанную губу, умхлынется и скажет:

— Вместо барабана употребляли? — А потом посерьезнеет, сядет рядом с нами и учит: — Вы, пацаны, мослов своих под удары не подставляйте. Для того они предназначены. И вообще драка —

дело последнее. Это вон быки и бараны... У них другого языка нету. А вы ж люди. Если уж драться, так хоть знать, за что. А не так — Ванька Петьку, Петька Мишку, ни за что ни про что. В драке, братцы, есть всегда одно правило. Обижают слабого — заступись, тут и раздумывать нечего. Сам с кулаками в морду ни к кому не лезь, не уподобляйся скотине. Не если тронули — бей! Бей так, чтобы никому не повадно было поднимать на тебя руку. Вот так-то, герои с синяками...

Мы несколько раз предлагали Петьке попросить батьку раздаться с «Сатаной». Но он только хмурился и упрямо твердил:

— У него своих делов хватает.



Да, видно, Петькин отец был прав. Если знаешь, за что дерешься, сил больше. «Буржуй» закуривает. Самосад в его самокрутке потребкивает, как голешки в костре. Этот треск, кажется, слышен на все левады, а едкий табачный дым, вьедаясь во влажные запахи разнотравья, белыми космами, словно туман, окутывает вокруг нас кусочек ночи. Интересно, сколько сейчас времени? Дома, конечно, будет выволочка со всей выкладкой. Но, как говорится, семь бед — один ответ. Петька докуривает свою цыгарку, встает:

— Пошли, что ли?

Восбужда на сегодня можно бы и пошашашить. Впечатлений и тек по горло. Но Петька действует по шоферскому правилу: пошел на обгон — не дергайся! Раз договорились, значит, баста — идем на поляковский сад. Он у нас один из немногих оставшихся в живых. Когда-то этих фруктов было — ешь, не хочу. А теперь один-два садочка, и все. Немцы повыверили, партизан боялись. Им партизаны мерещились на каждом шагу. Ветер подует, курица пробежит — хватаются за автоматы.

Партизан действительно было много. Они, как правило, появлялись там, где их меньше всего ждали, и, ошалевшие от злости и страха, фашисты рубили деревья и сохраняли их в редких и крайних случаях. Возле штабов, госпиталей...

...Операция по поляковскому саду требует уже совершенно иного подхода и иной подготовки. Прежде всего надо проникнуть во двор. А это не так просто. Спекулянт обнес свои владения густой колючей проволокой. Мы каждый раз шупаем эту проволоку, проверяем, не пропустил ли паразит через нее ток. Во-вторых, надо обезвредить кобеля, что бегает по всему двору. Здоровенный, как бугай, он может поднять твою тарарам, что не дай бог. Прошлый раз так и случилось. Оттого и задницы до сих пор ноют.

Мы идем в свой блиндаж, берем еще с вечера приготовленные инструменты и амуницию и направляемся к поляковскому дому. Каждый знает, что ему делать, ничего напоминать никому не надо. Мы подходим к забору со стороны левад. Это, кстати, наше счастье. В случае чего, есть куда смыкаться. Мы подходим и залезаем. Вперед уходит Володька. Надо проверить, все ли спокойно и нет ли кого во дворе. Кроме кобеля, конечно.

Володька уползает, а мы терпеливо ждем. Проходит, кажется, целая вечность, прежде чем возвращается разведчик. Он скатывается к нам в окоп и на немой Петькин вопрос тихо отвечает:

— Порядок.

Значит, вперед! Мы подтягиваемся прямо к забору и буквально кумираем. Теперь начинается са-

мое сложное — проход во двор. На это дело у нас отправляются Петька и Гришка Рудышко. То, что они сейчас начинают, требует невероятной осторожности и терпения. Надо сделать в проволоочном заборе проход, и сделать это так, чтобы не раздалось ни единого звука. Для этого у нас есть специальные ножницы-кусачки. Солдатские, разумеется. Малейшая неосторожность — и пиши пропало.

Петька ложится на спину, берет в руки ножницы. Гришка придерживает обеими руками проволоку, чтобы не звенела. Проходят секунды, минуты... Не заснули там пацаны? Нет, не заснули. Раздается едва уловимый щелчок. Нам он кажется настоящим выстрелом, и мы от испуга еще сильнее прижимаемся к земле. Но вокруг все по-прежнему спокойно. Но. Снова минуты, и снова щелчок. Минуты — щелчок... Минуты — щелчок...

Наконец Петька и Гришка отодвигаются от проволоки, передают нам ножницы, поднимают с земли мешочек. Теперь наступает самое неприятное. Надо подползти к собачьей будке, навалиться на пса, надеть ему на голову мешочек, перетянуть морду тряпками, чтобы не мог ваять, привязать кобеля к будке — и все это сделать совершенно бесшумно.

Разведчики исчезают в сделанном ими проходе, а мы, затеяв дыхание, вслушиваемся в ночь. Иногда нас пугает стук собственного сердца. Главное, ничего не видно. Лежишь, как дурак, и ждешь у моря погоды. Ванька Кондратенко от напряжения шморгает носом, а мы передергиваемся, как от удара током. Нашел время прочесть свое нохало.

Тянутся минуты, тянутся, как воль по дороге, тянутся и растворяются в темноте ночи. Кажется, что-то слышалось, что-то вроде возни. Но нет, все тихо. Вот опять слышалось... Я прикладываю ладонь к уху и напрягаю слух до последнего. Так и есть, ползает. Появляются Петька и Гришка. У обоих исклохотенный вид, дышат, как будто сбежали к Курпирянке и обратно. Петька протягивает мне руку и торопливо, шепотом просит:

— Перевяжи!

Я иду тряпкой, а он так же торопливо объясняет: — Укусила все-таки, сволочь!

Мы перевязываем Петьку руку и по одному вслед за «Буржуем» лезем в поляковский двор. Теперь надо глядеть в оба и не мелочить. В саду есть все — и яблоки, и груши, и сливы, и абрикосы, и смородина... Можно растеряться и набрать чепухи, например, смородины. А на кой нам? Мы договорились брать только яблоки. Может быть, мы позволим себе сорвать по кавуну¹, они только-только начинают созревать.

Мы подползаем к намеченным деревьям, мысленно мы подползали к ним уже десятки раз, и начинаем трудиться. У каждого из нас есть торбочки, карманы, есть, наконец, место за пазухой. Мы работаем тихо, но упорно. Интересно, сколько рублей не досчитается завтра спекулянт?

Наконец Петька поднимает руку. Это значит все, шашаш. А жаль, хоть и брать уже некуда, но уходить не хочется. Да и яблочка еще ни одного не попробовали. Но приказ есть приказ, мы начинаем отход. Теперь это намного сложнее. Ползти невозможно, мы словно одеты в яблоки, да еще торбочки в руках. Низко пригнувшись, цепляясь за ботву и спотыкаясь о кавуны, идем к выходу.

Нет, так уйти нельзя. Я не выдерживаю, наклоняюсь и срываю кавун. Стучать по нему некогда... Черт с ним, какой будет — такой будет. Мы выны-

¹ Кавун — арбуз.

риваем из-под проволоки и растворяемся в своих любимых ледадах.

В блиндаже зажигаем лампу, сделанную из гильзы снаряда, и начинаем выкладывать добытое. Получается внушительный бугорок. Я снисходительно поглядываю на своих друзей и водружаю на вершину бугра кавун. Но, оказывается, моя снисходительность ни к чему: по кавуну взял каждый. Мы весело хохочем и начинаем пир. Кавуны теплые, зеленые, как трава, но мы едим их, захлебываясь от удовольствия. Если бы в этот момент к нам зашел кто-нибудь из посторонних, он, вероятно, подумал бы, что попал в свинарню. Во-первых, яблоки мы едим так редко, что уже начали забывать их вкус, кавуны не знаем, как пахнут, во-вторых, мы проголодались так, что готовы съесть собственные ботинки.

9

Мне всегда в этих случаях вспоминается Петька. Ведь только я один знаю, какой он «буржуй». Это было приблизительно за полгода до того, как ушли фашисты. После гибели матери в доме Агафоновых остались трое: Петька, Настенька, ей было что-то чуть больше семи лет, и Ванюшка — ему тогда не было еще и пяти. Многие на нашей улице, в том числе и моя мать, хотели забрать детей к себе, но Петька уперся и никуда идти не захотел. Он сам ухаживал за сестренкой и братишкой: добывал еду, готовил, шил, обстирывал. В общем, делал все, что надо. Вот тогда и сказали, что он постарел.

Эта последняя зима при гитлеровцах была не дай и не приведи господи. Мы уже столько всего насмотрелись, что никакими руинами, никакими пепелищами или виселицами нас удивить было невозможно. Все, что можно было забрать, оккупанты забрали, все, что можно вырубить, вырубили, всех, кого хотели убить, убили. Мы жили как приговоренные. Долбили задубевшую от мороза землю, провозжали в нее близки и не знали, что из нас следуют.

И вот в эту зиму, зиму последней игры жизни со смертью, Петька остался с детшками один. Ему помогли, его поддерживали, как могли и чем могли. Но в ту зиму у людей уже даже добрых слов не хватало. Петька чернел и распухал на глазах, вместе с ним чернели и пухли сестренка и братишка.

В ту зиму мы не играли. Петька, единственный из всей нашей компании обладатель настоящих коньковых «ножечек», на улице почти не появлялся. Откуда у Петьки были эти коньки — оставалось сплошной загадкой. Когда мы, бывало, глядели, как Петька цепляет к валенкам свое блестящее сокровище, зависть наша переходила всякие границы. Мы готовы были отдать за такие коньки что угодно. Но Петька так дорожил своим богатством, что, вероятно, тоже готов был отдать за него что угодно. Поэтому ни об обмене, ни о продаже не могло быть и речи. Мы катались на этих коньках под Петькиным присмотром, катались и наливались завистью еще больше. Ведь сколько ни кататься, а отдавать надо. Отдай и жди, когда их опять принесут. Да и дадут ли еще покататься? Правда, Петька всегда давал, но одно дело, когда даешь ты, а другое — когда дают тебе.

И вот однажды Петька пришел к нам в дом. Он топтался у порога, держа руки за спиной, и явно не знал, как начать разговор. Затем откашлялся, поглядывая куда-то в угол и глупым, каким-то не своим голосом проговорил:

— Одолжите чего-нибудь из еды. Детшкам...

Потом вдруг затормозился, словно опасаясь, что его могут неправильно понять, вынул из-за спины руки и протянул самое дорогое, что у него было, — коньки.

Мы смотрели на Петьку и с ужасом думали о том, что в доме Агафоновых дошли до точки. Я давился от слез, а мать не стеснялась, плакала. Она глядела Петьку по голове и приговаривала:

— Глупый, глупый... Еще сам кататься будешь...

Мать плакала. В нашем доме не было ничего, ни крошки. Мы только-только обсуждали эту проблему и спрашивали друг друга, как жить завтра.

И вдруг мать бросилась к вешалке. Она торопливо одевалась и, глотая слезы, повторяла одно и то же:

— Я сейчас, сыночек, сейчас... Я достану, обязательно достану.

Мать убежала, а Петька, еще немного потоптавшись у порога, положил коньки на пол, не спеша повернулся и вышел. Я оторопел и на какое-то мгновение замешался. Затем схватил «ножи», выскочил на улицу и догнал Петьку:

— Ты что, ошалел, что ли?

Он посмотрел на меня каким-то долгим, странным взглядом и тихо проговорил:

— Спасибо.

Матери не было до самого вечера. Пришла она усталая, разбитая, протянула мне узелок и сказала:

— Отнеси Пете, быстрее.

Узелок был маленький, легкий. Я пулей долетел до Агафоновых — Петька жил от нас через два двора, — без стука рванул на себя дверь и вошел в дом. Гордо протянул Петьке узелок, но так и остался стоять с протянутой рукой. Петька сидел ко мне спиной и беззвучно плакал. Я понял это по тому, что у него тряслись плечи. Я не успел ничего сделать, ничего спросить, как откуда-то из темноты ко мне тихо подошел Ванюшка и робко спросил:

— Ты плынешь хлещца? А то Настька узе умелла.

До меня не сразу дошло это «умелла». Затем промелькнула догадка, я внимательней взглядел в то, что лежало на кровати, и все понял.

Мы выдолбили мерзлую землю и навеки уложили в нее Петькину сестренку. Ванюшка ходил вокруг могилы и все просил не бросать на ходяк камни. Глупый, он никак не мог понять, что нам нечем отогреть землю, ему все казалось, что Настеньке больно.

С тех пор в доме Агафоновых начались чудеса. Не какие-нибудь, а самые настоящие. Появились продукты, иногда даже мясо. Мы ошалело переглядывались, морщили носы и ничего не понимали. Петька по-прежнему на улице почти не появлялся, был все время чем-то занят и замкнут еще больше. Однажды мы с Волододькой Кияновым и Гришкой Рудашкой зашли к нему в гости. Петька сидел у стола и кормил Ванюшку мясным бульоном. Мальчишка жадно глотал ложку за ложкой, и на его шейке под тонкой, словно папиросная бумага, кожей билась какая-то сильная жилка. Нам даже стало страшно: не лопнет ли?

От вида еды и запаха мяса закружилась голова. Казалось, вот этот суп, что ел Ванюшка, мы проглотили бы вместе с миской. Петька явно не ожидал нашего прихода и смущался. Он смотрел на гостей из-под насупленных бровей, словно ожидая чего-то неприятного. Мы решились: он боится, что мы попросим поесть, — и затормозился на улице. Но Петька встал из-за стола, загородил нам дорогу и попросил отстать.

Он усадил нас за стол, поклодывал где-то в углу и вдруг поставил перед нами миску ароматного варена с мясом. Мы смотрели на мясо и соображали: спим или не спим? Потом решили, что не спим, и вы-

хлебали юшку в мгновение ока. Съели мясо и не оставили ни единой косточки. Мы грызли их до тех пор, пока они не превращались в муку.

Потом мы еще бывали у Петьки в гостях, и каждый раз он чем-нибудь угощал. То консервами, то печеньем. Вот тогда его и прозвали «Буржуем». Взрослые тоже дивились тому, что происходило, и ничего не понимали.

Впрочем, что касается консервов и печенья, то здесь догадаться было нетрудно. Эти продукты были только у немцев. Достать их — значило или заслужить, или украсть. Заслужить Петьку у фашистов мог только то, что и все остальные. Значит... Мы множество раз наблюдали, что это значит. У гадов ведь за все расчет один. Как рассчитались, так и заказывай, мама, поминки. Мы предупреждали Петьку, но он только зло усмехался и повторял:

— Рубайте, рубайте!

Мы ели и хорошо понимали, что это «Рубайте, рубайте» ничего другого не означает, как «Не лезьте не в свое дело». Ничего себе, не свое. А если поймают!

Как-то раз я был у Петьки. Он накорнил меня своим варевом, и мы сидели за столом, перелистывая откуда-то принесенную им книгу. Называлась она «Адыгейские сказки и сказания». В дверь без стука, но рану так, что она чуть не слетела с петель, вошли двое немцев. Закутаные черт те во что с ног до головы, они несколько секунд настороженно озирались по сторонам, затем, не обращая на нас никакого внимания, бросились к печке и, стащив с них, словно в судороге скрюченных пальцев рукавицы, начали греть руки. Гитлеровцы чуть ли не клали их на плиту, и нам все казалось, что вот-вот послышится запах горелого мяса.

А эсэсовцы грелись и не то от удовольствия, не то от боли стонали. Постепенно они стаскивали с себя вещь за вещью. Вначале то, что было на голове, затем — еще раз убедившись, что в доме никого, кроме детей, нет, — сняли с груди автоматы, расстегнули шинели и, наконец, стащили с ног сапоги. По комнате сразу распространился запах прели и навоза. По мере того, как они приходили в себя, их носы все больше и больше улавливали запах вареного мяса. Когда солдаты отошли настолько, что были в состоянии ворочать языком, они выбросили нас из-за стола, переставили его поближе к печке и, не снимая шинелей, уселись друг против друга. Один из них, вырвав из принесенной Петькой книги несколько листов, протер ими стол и угрюмо приказал:

— Essen... schneller! — Но, видно, решил, что мы можем не понять, и тут же перевел на русский: — Кушать... Бистро!

Теперь уже «кушать» просят. Раньше, как в столовой, выбирали: «яйки... курки... млеко...» А теперь «кушать». Только и осталось, что «бистро». Нам это хоть по-немецки, хоть по-русски... Знаем, чем может закончиться.

Петька делает жалобное лицо и отрицательно качает головой. Нету, мол... Гитлеровцы недоверчиво смотрят на нас, жадно вдыхают аппетитные запахи и еще злее повторяют:

— Бистро!

Один из них поднимает автомат и направляет на Петьку.

Второй незамедлительно делает то же самое и уточняет по-немецки:

— Schneller!

Какое-то время в комнате слышны только тяжелое дыхание солдат да испуганные всхлипы Ванюшки. Затем фашисты еще раз объясняют:

¹ Быстрей!



— Brot... Хлеб! Ты понимаешь, русский швайн? Конечно, мы понимаем, и что такое «швайн», и что такое «капут»... Петька пытается втолковать солдатам, что хлеба нет, но те упорно не верят. Им просто кажется невероятным, что в доме, где так пахнет, нет хлеба. Один из них встает, берет свой шмайс и направляет на Петьку.

— Ich werde schissen! — Он тут же уточняет по-русски: — Пу-пу!

Петька делает широкий жест рукой и предлагает: — Найдите хоть крохотку!

Естественно, немцы ничего не понимают, но Петькин жест их почему-то успокаивает. Тот, что сидит за столом, говорит своему напарнику какие-то слова, и он недовольно опускает оружие.

Солдаты начинают шарить по комнате. Они буквально расшвыряют все, что попадаете им под руку. Они ищут, и, по мере того как приближаются к углу, из которого Петька всегда выносит свои тарелки, мне становится все жарче и жарче. Ведь если найдут...

Я гляжу на Петьку и удивляюсь: он совершенно спокоен. Гитлеровцы ничего не находят, из злости швыряют в печь нашу книгу и, погрозив на прощание кулаком, уходят.

Мы долго молчим, затем я тоже собираюсь домой. Колени дрожат, язык не хочет слушаться, но я все же говорю другу:

— Ты бы поосторожней! Ведь найдут, не поздоровится.

Петька по-прежнему спокоен, только очень бледен. Он смотрит на меня все тем же странным взглядом и угрюмо выдаивает:

— Не найдут. А найдут... — Он не договаривает, отворачивается и тихо заканчивает: — Что ж сделаешь...

И все-таки только я один знаю, какой он «буржуй». Это было весной, незадолго до ухода оккупантов. Мне срочно нужно было повидать Петьку, передать какую-то новость. В доме я никого не нашел и вышел на улицу. Во дворе тоже вроде бы никого не было, и я уже совсем собрался уйти, как вдруг где-то за сараем мне послышался Ванюшкин голос. Решив пошутить, я тихо подкрался к сараю и осторожно выглянул из-за угла. Я как выглянул, так и остался стоять с открытым ртом.

Петька сидел на корточках и складывал в казанок мясо, а рядом лежала только что содранная собачья шкура. В том, что шкура собачья, сомнений быть не могло, потому что тут же лежала голова какого-то Полкана.

Петька, видно, почувствовал мой взгляд и резко обернулся. Я впервые увидел его таким растерянным, даже капельки пота выступили на лбу. Он встал, потоптался, зачем-то прикинул на Ванюшку, который ничего не делал, набросил на казанок тряпку и, глядя куда-то в землю, сбивчиво заговорил:

— Ты это... Никому... Ладно? — Он замолчал, пошевелил губами, словно отыскивая нужные слова, и вдруг заговорил: — А что делать? Что? Как Настя, да? Как Настя?.. — Он прижал к себе младшего братишку и все повторял и повторял, как в бреду: — Как Настя... Как Настя...

А вообще Петька научил нас не умирать от голода. Мы не брезговали ни ховрахами¹, ни воронами, ни воробьями, и чего мы только не ели в ту последнюю оккупационную зиму и весну! Ховрах сварить, так лучше любой курицы, а печеные на углях воробы — так и за уши не оттянешь,

от такой он у нас, «буржуй»! Мы доедаем казуны, Петька добрую половину оставляет, это для Ванюшки с отцом. Мы делаем то же самое и начинаем хрустеть яблоками. Хрустим до тех пор, пока не набиваем оскомину. Встаем, собираем то, что осталось. Осталось много, никак не можем все забрать. Как же это в саду мы сумели так нагрзиться? Наконец, растопырившие и перекосившиеся, выходим из блиндажа и с удивлением смотрим на посеребренное небо. Получим дома, ох, получим.

Но осталось последнее, самое приятное, и мы его сделали, пусть нас хоть поубивают. Надо разнести яблоки по дворам, по всей нашей улице. Зачем? А куда ж столько съест? Мы вон полчаса похрустели — и то брюхо, как барабан. Про запас? На всю жизнь не напасешься. Петькин батя говорит: «Чем больше отдашь, тем больше сам получишь». Вон Вакунечка... Бывало, идет — кажется, сало зади капает. Померла — неделю никто не знал. Стащили с постели, а там деньги. Много, до ужаса. И советские и немецкие... А зачем?

Нет, мы знаем одно: достал — поделись! Смотришь, и тебе достается.

Мы разносим яблоки. Кладем — кому на порог, кому на подоконник. То-то будет утром радости!

Возвращаемся домой. Я открываю калитку, тихо подкрадываюсь к окну. Если форточка открыта, все в порядке. Открыта. Просовываю в нее руку, нащупываю шпингалет, поворачиваю, распахиваю окно и спрыгиваю в комнату. Спрыгиваю и останавливаюсь перед матерью.

Даже в темноте видно, как блестя у нее от слез глаза. Она берет меня за плечи и начинает трясти так, что у меня из-за пазухи выскакивают яблоки. Я знаю: это у нее истерика. Конечно, мать переживает, это ясно. Но что я могу сделать? На пороге появляется бабушка, тоже не спит. И вот ведь какая штука: предупреди их заранее, что придет поздно, да еще расскажи, что мы собираемся делать, — не пустят ни за что. А как не пойти, кто за нас все это делает? Мать трясет меня и приговаривает:

— Что ж ты, проклятый, делаешь? Сердце у тебя или каменюка?

Я знаю, что в этих случаях лучше молчать. Быстрее успокоится. Хорошо Петьке: у него некому трясти. Мать потихоньку приходит в себя, снимает с моих плеч руки, поворачивается и собирается уходить. Но в это время наступает на яблоко и чуть не падает.

Зажигают свет. Я стою, как чумичка, растопыривший фрукты, гляжу на мать синими фингалами и рассеченной губой и не знаю, куда деть свои в кровь изодранные руки. Мать с бабушкой испуганно ойкают, бабуля при этом даже крестится, отступают и чуть ли не в один голос спрашивают:

— Ворован!

Вот это уже меня оскорбляет, и я обижено выбрасываю:

— Мы ж у Поляковых...

Мать насмешливо щурит глаза:

— И Поляковы тебе их подарили?

Я сбиваюсь с толку. Мы всегда считали, что взята у Поляковых — это не воровство. Я так и говорю. Мать смотрит на меня осуждающим взглядом и уточняет:

— А как же это называется?

Я моментально отвечаю, как учил Петька:

— Это называется — отобрать у спекулянта награбленное.

Здесь не выдерживает моя бабушка. Она долго шамкает от возмущения губами.

¹ Я буду стрелять!
Ховрах — суслик.



— Это как же понимать? Спекулянт награвив, а ты у того украв? Ты-то кто после усього?¹

— Не украд, а отобрал награвленное,— упорствую я и поясняю: — Не для себя, а для всех. Мы ведь...

Я называю тех, кому отдали яблоки. По мере того, как растет число фамилий, глаза у матери и у бабушки раскрываются все шире и шире. Мать наконец не выдерживает и спрашивает:

— Так вы что, весь сад?..

Я торопливо успокаиваю:

— Не, что ты, там еще осталось...

Мать садится на табуретку и смотрит теперь на меня уже совсем другими глазами. Вероятно, она пытается понять: воровство это или не воровство?

К какому выводу приходит мать, я не знаю. Я слышу только то, что должен был услышать:

— Больше со двора ни шагу!

Мать встает, круто поворачивается и идет к кро-

вати. Хотя полчаса поспать до работы. А я начинаю выкладывать яблоки. Когда заканчиваю разгрузку, бабушка заставляет меня вымыть руки, что я делаю с большой неохотой — устал до чертиков, — и приглашает к столу. Да, пожрать сейчас в самый раз. Я проглатываю один кусок хлеба, съедаю второй и только тут замечаю, что на тарелке есть и третий. История повторяется каждый день. Вначале я съедаю свою порцию, затем мать и бабушка подкладывают мне свои кусочки. Нехорошо, конечно, надо бы всем поровну, но есть так хочется, что я не в состоянии думать и ем.

Я засыпаю тут же за столом. Почти не чувствую, как бабушка с матерью перетаскивают меня на кровать, как снимают ботинки, укрывают. Откуда-то издали доносится имя «Кармелюк»², слышится

² Кармелюк — украинский народный герой. Известен тем, что грабил богатых и раздавал добро бедным.

¹ Усього — всего.

женский смех, но я не знаю, наяву это или во сне.

Просыпаюсь поздно. По тому, как в комнате жарко, догадываюсь, что времени уже много. Сижку, соорabiaю и вдруг начинаю волноваться: кто в магазин бежал, кто огород поливал, кто печку растапливал, кто таскал воду в кадуюшк... В комнату заходит бабушка. Она держится за поясницу и кряхтит. Мать, та никогда не кряхтит: ей просто некогда.

Бабушка смотрит на меня строгими глазами, она как-то очень смешно сдвигает брови к переносице и думает, что это получается очень строго, садится на край кровати и вполголоса начинает:

— Поляков с утра бегает по улице, яблоки шукае¹. К нам уже два раза прибегав, тбз усё допытывався... Она опасно косится на дверь и заговорщицки объявляет: — Так я их у печку сховала².

Я начинаю давиться от смеха, и бабушка злится. — Давай, давай, смейся, пока не арестуют. Поляков вон от дружка твоего Петьки так просто видчипысь³ из может, усё возле их двора крутятся.

Я миготом соскакиваю с постели. Но бабушка чаче. Она загоразживает мне дорогу и торжественно объявляет:

— Мать приказувала: со двора ни шагу!

Я делаю страдальческое выражение лица и пытаюсь умиливать старуху. Но все сказывается тщетно. Испробовав все дозволенные и недозволенные средства, я безнадежно машу рукой и соглашаюсь с приговором — ни шагу, так ни шагу. Выхожу во двор и сплываю без дела. Конечно, дня три карантина теперь обеспечено точно. Теперь ни я ни к кому, ни ко мне никто.

Я выполняю бабушкины приказы и все с надеждой поглядываю на калитку: не появится ли Петька. Приходит с работы мать, и я начинаю двигаться быстрее. Полить, набрать, сбегать, принести... Я уже совсем теряю надежду, как вдруг во двор не входит, а влетает «Буржуй». Мать сразу же направляется к нему навстречу, но он не дает ей раскрыть рта и радостно сообщает:

— Поляковых забирают.

Мы не сразу соображаем, кого забирают, как забирают и куда забирают. Но Петька все объясняет:

— Милиция! За спекуляцией! — Он делает паузу и удовлетворенно заканчивает: — Доигрались, гады. Мы все, в том числе и мать и бабушка, выбегаем на улицу и смотрим в сторону поляковского дома. Там милиция, машина, много народу и шума. Сам Поляков со своей красногрудой бабой сидят в кузове машины и затравленно озираются по сторонам. Они сидят, а из дома все выносят и выносят какие-то вещи. Петька объясняет:

— Награбленое.

Машина уезжает и увозит спекулянтов. А мы с Петькой переглядываемся и хохочем. Мать глядит на нас, делает вид, что сердится, но не выдерживает и тоже смеется. Стоило нам вчера коряться, когда сегодня заходи и бери у Поляковых что хочешь. Но как раз сегодня мы и не пойдём: не у кого брать.

II

Следующий день проходит обычно. С утра мы бежим с Петькой в магазин, поливаем огороды, в общем, делаем что всегда. Сегодня особенно хочется, чтобы день закончился побыстрее. Сегодня у Петьки именины и, наверное, будет угощение. Каждый раз, когда у кого-нибудь именины, нас чем-

нибудь угощают. Прошлый раз Петька кормил нас гарбузой кашей. До сих пор слюнки капали.

Я все чаще и чаще поглядываю на неповоротливое солнце и жду своего часа. Еще немного — и уже можно будет выбросить первое пробное:

— Ма, можно я к Петьке сбегать?

Но я не успеваю сказать этих слов. Земля и небо раскалываются от такого взрыва, что стекла из окон просто высыплются наружу. Взрыв раздается в левадах, это я могу сказать совершенно точно. Такого грохота в нашем городе не слышали. Мы какое-то время смотрим друг на друга, затем срываемся с места и бежим. На улице я вижу пацанов и мысленно про себя отмечаю, что среди них нет только Петьки.

Мы бежим, а страшное предчувствие начинает грызть душу. Пробегая мимо танка, у которого обычно собирались по вечерам, и бежим туда, где...

Петька нам совсем недавно показал такую бомбу, что мы только ахнули. Присыпанная со всех сторон землей и поросшая травой, она казалась большим бугром, и, возможно, поэтому мы ее не замечали. «Буржуй» тогда все ходил и ходил вокруг своей находки и мечтательно твердил:

— Вот колупнуть бы.

Мы добегаем до громадной, еще дымящейся воронки и заставляем в немом молчании. Такой воронки еще никто из нас не видел. Мы обходим воронку со всех сторон и ничего не находим.

Подбегают люди. Среди них и моя мать, и бабушка, и Петькин отец, у него сегодня выходной, он его специально припас к Петькиным именинам. Мы ходим и ходим вокруг развороченной и дымящейся ямы и вдруг замечаем такое... Как по команде, наклоняемся вниз, разбрасываем землю, достаём солдатский сапог с блестящими подковками. Мы этот сапог не перепутаем ни с каким другим.

Нас окружает толпа. Петькин отец тоже наклоняется, смотрит на сапог и вдруг кидается на землю. Он разрывает ее руками и ищет, ищет, ищет. Он никого не слушает, ничего не видит и не понимает. Мы смотрим на него и дивимся: «Неужели он не понимает, что ничего найти невозможно? А еще солдат...

Хороним мы Петьку через день. Четверо мужчин несут гроб. На кой черт Петьке этот гроб? Мы шагаем за Петькиным отцом и удивляемся. Голова старшего Агафоновы белее солома. Говорят, это после того, как он просидел у воронки всю ночь. Говорят... Будто мы сами не сидели с ним рядом. Только мы не смотрели на его голову, а когда наступило утро, он уже был вот таким.

Мы хороним Петьку. Нет, не хороним. Мы закапываем гроб с сапогом и возвращаемся домой. Возвращаемся, чтобы поливать огороды, их теперь у нас на один больше, бежать в магазин за хлебом, приглядывать за Ванюшкой да и за его отцом тоже...

А он... «Буржуй», даже бомбу для себя выбрал такую же, «буржуйскую».

Мы возвращаемся домой и упорно думаем о том, что теперь Петькин склад надо найти во что бы то ни стало... Ведь не пропадать же добро, если не сработала макитра...

г. Юрмала, Латвийской ССР.

¹ Шукае — ищет.

² Сховала — спрятала.

³ Видчипысь — отступиться.

Игорь Шкляревский



Когда я слишком долго весел,
вдруг ночью обжигает стыд,
землею пахнет влажный ветер,
и кто-то тихо говорит:

служу отчизне, правде, пеку.
Душа — берестою в огне.
Но чем трудней как человеку,
тем как поэту легче мне.

22 июня 1972 года

Лежим с зашитыми желудками
и ночью шуточками жуткими
поддерживаем бодрый дух.
Мир сразу выцвел и потух.

Беспомощные, словно дети,
бессильные, как старики,
выталиваем языки...
Боль разбудила на рассвете.

Как щелочь едкая, как соль,
все краски вытравила боль!..
Включили радио. И вдруг
над скопом наших жалких мук
плеснула сила неумная:
— Вставай, страна огромная...

И кто-то бледный у окна
сказал спокойно и жестоко:
— Сегодня началась война,
уже убитых было много.

— И раненых, — сказал другой.
Музыка громом оглушила,
и перед болью мировой
моя стыдливо отступила.

И я с осколком в животе
себя представил в дымном поле,
и появился смысл у боли,
и разум был на высоте.

Всего за несколько минут
мы пережили все сначала,
и душу боль не унижала.
Пускай нас внуки не поймают!



Я получил твоё письмо,
но я не открывал его,
чтоб длилась радость ожидания —
есть мука сладкая молчанья!

Так в горле сдерживают крик
и счастьем попадают в сети,
увидев первый боровик
в сосновой роще на рассвете.

Так в детстве на вершине взгорья
услышат чаек голоса,
но прежде, чем увидеть море,
спешат на миг закрыть глаза...

Так покидают самолет,
не зная, что они воскресли,
а чудотворец и пилот
бессильно остается в кресле.

Так рентгенолог гасит свет,
и молча снимок изучает,
и медлит, но уже он знает,
что страшной опухоли нет.

Так в ласточкиной синеве
душа купается отважно!
А что написано в письме,
в конце концов совсем не важно...

Вечные радости

Навьючили мы лошадей
узлами, ружьями, дровами,
чтоб рядом с горными орлами
пожить, не зная новостей.
Защелкал воздух от бичей!
Мы сами не из тех, кто глухо
жуёт, когда на шее муха.
Кровь побежала веселей.
И двинулся наш караван!
Сначала мы вошли в туман, —
слова как будто загустели.
Потом курки обледенели,
пространство било в барабан,
от ветра уши заболели.
Мы перевал преодолели.
Дыханьем пальцы отогрели.
И склоны гор зазеленели...
Синь резанула по глазам —
и в воздухе расцвел фазан,
рождая пламя каждым взмахом!
Он улетал, гонимый страхом,
и все равно прекрасен был!
Он радугу возвел над нами,
и я охоту разлюбил
и щеки остудил стволами.
Уже все больше я люблю,
когда ломает снасть мою,
когда насквозь дырявит вентерь
большая редкая форель,
когда заряд летит на ветер,
когда живой уходит цель.
Не старость это и не жалость,
а ко всему живому жадность!..
...У ног моих текла змея.
И вздрогнул. И подумал я:
как велика еще земля!
Мы всю испортить не сумели.

И всплески радужной форели
и на снегу медвежий след —
вот новость лучшая недели
и жизнестойкости привет!..



Все ты видишь, однако, себе не на горе,
все ты знаешь, однако, без лишних забот.
Знаешь — Волга впадает в Каспийское море,
знаешь — Неман в Балтийское море течет.

Разве время тебе отдает их навеки!
Не в моря, а в грядущее реки текут!
Так отдай же грядущему чистые реки,
а не то твои внуки тебя проклянут.

Эту вязкую глину, лесные болота,
цепкий вереск и сосен предсмертную рать
сбереги, потому что надежней оплота
никогда и никто не сумеет создать.

Разлюбю этот мир со своих колоколен,
полюбю его завистью голых планет,
и тогда, умирая, ты будешь спокоен,
а для смертного радостней участи нет.

Варлам Шаламов



Я поставил цель простую:
Шелестеть, как листопад,
Пусть частично вхолостую,
Наугад и невпопад.

Я такой задался целью:
Беспрерывно шелестеть,
Шелестеть ледяной метелью,
Ледяные песни петь.

Я пустился в путь бумажный,
Шелестя, как листопад,
Осторожный и отважный,
Заменяя людям сад.

И словари ударений
Под рукой моей всегда,
Не для словоговорок
Шелестит моя вода.



Тишина — это лозунг мира,
Вот в чем суть любой тишины,
Задающей честь мундира
Делегатов любой войны.

Тишина — это лозунг века
И закон для любых планет,
Чтоб могла работать аптека
И трудиться любой поэт.

Это самая суть прогресса —
Современная тишина.
Тишины боится агрессор.
Тишины боится война.



Уступаю дорогу цветам,
Что шагают за мной по пятам,

Настигают в любом краю,
В предсподней или в раю.

Пусть цветы защищают меня
От превратностей каждого дня.

Как растительный тонкий покров,
Состоящий из мхов и цветов,

Как растительный тонкий покров,
Я к ответу за землю готов.

И цветов разукрашенный щит
Мне надежней любых защит.

В светлом царстве растений, где я —
Тоже чей-то отряд и семья.

На полях у цветов полевых
Замечанья оставил мой стих.



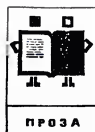
Как сердечный больной,
Для словесности,
Я живу тишиной
Неизвестности.

Круг вращают земной
Поколения.
Мое время — со мной!
Без сомнения.



Иногда в одиноком походе
Рукавичка — и то тяжела!
Или даже при зимней погоде
Рукавичка не держит тепла.

И таит непомерную тяжесть
Принесенный с земли карандаш,
Карандаш, поднимаемый даже
На плечах на десятый этаж.



АЛЬБЕРТ
ЛИХАНОВ



ПОВЕСТЬ

ОБМАН

Часть первая

ОРАНЖЕВЫЙ САМОЛЕТ

1

Оркестр заиграл туш, духовики из музыкального кружка весело раздували розовые щеки. Кто-то ткнул Сережу в бок, кто-то шлепнул по плечу — он покрылся испариной, только кончик носа почему-то мерз, вскочил, отбросил со лба светлую челку и поспежал к сцене.

Сережа бежал и бежал вдоль рядов, и на него все смотрели, и от музыки, играющей в его честь, и от тугих всплесков аплодисментов, и от яркого сияния многоярусной люстры он как бы потерял себя, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тела. Он словно летел туда, к сцене, и полет этот был бесконечным, медленным, тягучим...

Потом он оказался в слепящем свете рампы. Растерянно топтался на виду у всех. Со страхом, как в пропасть, смотрел в зал, шевелящийся и возбужденный. Оборачивался на президиум.

— Первый приз, — наконец сказал главный судья, — вручается Сергею Воробьеву, установившему абсолютный рекорд. Приз и ценный подарок — именнные часы — вручает Герой Советского Союза, пилот первого класса Юрий Петрович Доронин.

Аплодисменты загрохотали, как канонада, высокий, толстоносый Доронин протянул Сереже широкую и грубую ладонь, сказал в шуме: «Поздравляю», — и начал давать ему одна за одной кучу грамот — за первое место среди юношей, среди взрослых, от комсомола, за абсолютный рекорд и еще, еще какие-то, и с каждой грамотой в зале нарастал добродушный смехок, а когда Герой положил коробочку с часами прямо в блестящий кубок, потому что руки у Сережи уже были заняты многими наградами, зал захохотал.

Доронин поднял руку, и стало тихо.

— Ребята! — сказал летчик. — Вот этот знаменитый самолет! — Он под-

нял вверх оранжевую модель с перелетным крылом, Сережину победу, абсолютный рекорд.— Ее нашли колхозники в лесу за много километров от старта. Но я не о рекорде.— Он повернулся к Сереже.— Мне сказали, что Сергей Воробьев мечтает стать летчиком. Я уверен, он станет им, потому что во всяком стремлении должны быть вера и воля. Сегодня мы празднуем первую Сережину победу. Придет время, и у него и у вас будут победы поважнее. Стремитесь же к ним!

Сережа бежал обратно, и снова грохотали аплодисменты, отмечая самый радостный день в его жизни.

2

Голова немножко кружилась.

Слава! Фу ты, он ее и не ждал. И не готовился вовсе — она обрушилась, как шквал, как ураган, как ливень.

Впрочем, какая это слава? Случайности! Ведь и не его модель могли подхватить эти невидимые, стремительные, восходящие потоки, прилепить потом, как марку к открытке, к густому, кудреватому облаку с золотистыми краями! И привет! Не страшно, что кончится горячее, что остановится мотор... В общем, просто выигрешь по лотерее, слава бывает не такой, слава — это же когда ты сам, сам что-то делаешь... Вот если бы быть там, в модели, если бы управлять ею хотя бы с земли, по радио, тогда другой разговор. А тут... Крутанули колесо, развернули билет — вам, гражданин, часы и кубок. И стопка грамот.

— По-моему, ты уже знался, — говорит Галя, — уже рисуешься!

Она идет впереди Сережи — он ее всю разглядеть может, — черная коса на плече лежит, а когда Галя поворачивается к нему, Сережа смущается и смотрит в сторону.

— Слово самурая! — смеется он. — Знаешь, на каждую модель мы наклеиваем табличку: при нахождении просим вернуть туда-то и туда-то, но, клянусь, никто не думает, что наклейка пригодится.

— А все-таки приклеиваете? — не верит она.

— По правилам так положено, — говорит Сережа. Он разглядывает удивленно свой оранжевый самолет, отмишавший такой номер, и сам себе не верит.

Когда модель ушла под облако, как водится, стартовал спортивный самолет. Он должен был преследовать ее и преследовал, пока не потерял из виду. Сережа жутко расстроился — ведь он выбыл из соревнований. Но через неделю оранжевую модель привез шофер грузовушки. Он сказал, что модель ему дали в сельсовате, и назвал очень далекое село. И вот теперь Сережа нес свою птицу с переломанным крылом, разглядывая ее удивленно.

— Вот Дорони! — говорит Сережа восхищенно. — Это дат Человек! Вражеский самолет таранил!

— И все-таки у твоего Доронина, — спорит Галя, — славы меньше, чем у той же Дорониной, у артистки. Ты прямо смешной! Времена другие!

Другие, соглашается про себя Сережа. Ведь этот герой Доронин теперь на «кукурузнике» летает, на четырехкрылой этажерке. А когда-то немцев таранил! Но с Галей он спорит:

— Допустим! Все, допустим, относительно! Но тогда нельзя так спорить! Ведь в ответ я скажу, что твоего Доронину не сравнить с Гагариным.

— К старости, — Галя весело рассматривает Сере-

жу, — ты, наверное, станешь жутким сухарем. — Она машет рукой. — И, уж конечно, будешь технарем!

— Буду, — соглашается Сережа, — для авиации гуманитарного образования маловато.

Он кивает Гале и, улыбаясь, ждет, пока ее скроет поворот. Галя оборачивается, улыбается тоже, и ему легко и радостно на душе.

3

Сережа входит в комнату, и его сразу оглушает самодельная музыка.

— Труу-ру-ру-ру-ру-ру! Ру-ру-ру-ру! Труу-руу-у-у!

Мама трубит в свернутый журнал, Олег Андреевич играет на расческе, тетя Нина стучит ложками по блюду.

Сережу слепит крахмальная скатерть, золотистая пробка на толстой бутылке.

— Итак, — говорит Олег Андреевич, — торжественный банкет считано открытым!

Он в миллиейском мундире, на погонах — майорская звезда.

Сережа кладет на пол свою замечательную модель, гости разглядывают грамоты, часы, кубок.

— За удачу, — говорит Олег Андреевич. — За чемпионом!

Пробка жахает в потолок, шампанское гибкой струей выливается из горлышка. Ему наливают тоже — самую капельку, на дне, Сережа смакует сладкую шипящую водичку, похожую на компот, крутит завод у первых часов, надевает на руку, проверяет время у Олега Андреевича, радио включает — пора.

Все никак не может наудивляться Сережа этим чудесам.

Вот мама возле него сидит, с тетей Ниной разговаривает, папироску размачивает, в пальцах вертит — и в эту же минуту по радио говорит.

Про колхозы, как там хлеб сеют и что впереди. Про заводы, какие у кого дела. Или рассказ какой-нибудь, под музыку. Сереже больше всего нравятся рассказы и стихи. Их мама читает как-то особенно. Неторопливо, плавно так.словно артистка.

Лично он, Сережа, разницы между мамой и артисткой совершенно не видит. Только артистка на сцене выступает, а мама — по радио. Но чем дирижер хуже артистки? Ничем. Вон летом, когда мама в отпуск уходит, вместо нее артистки разные работают. «Подзарабатывают», — мама говорит. Так у них в сто раз хуже получается. Про картошку, например, говорят и уж так декламируют, будто из самодельности только что выскочили. И голоса скрипучие какие-то.

То ли дело у мамы.

Вот разговаривает она тут, дома, с тетей Ниной, и голос у нее хриповатый, даже грубый. А по радио совсем иначе звучит. Красиво, сильно. Тетя Нина говорит: «контрастно».

Тетя Нина вообще про маму хорошо говорит. Что она — настоящий талант. Что ничем не хуже московских дирижеров. Что жила мама в Москве, она бы там давно заслуженной артисткой стала. Дают же дирижерам такие звания.

Мама на тетю Ниину машет рукой.

— С такой-то харей! — говорит. Мама вообще говорит грубо. Грубые словечки выбирает зачем-то. Это ей не идет, она совсем другая. Она, когда с Сережей одна остается, совсем другие слова выбирает. Добрые и ласковые. А тут повторяет: — С такой-то харей!

— При чем тут лицо! — возмущается тетя Нина. — Знаешь поговорку: по одежке встречают, а по уму провожают.

— Какой у меня ум! — не соглашается мама.

— У тебя — поважней красоты и ума, — отвечает тетя Нина. — У тебя талантливый голос. Такое на дороге не валяется.

Сергея вскакивает, тянется к динамику, вкручивает его на полную громкость. Мельком видит себя в зеркале, видит, как блестят, как светятся радостью глаза: он тетю Нину хочет поддержать, хочет показать, какая талантливая мама. Он говорит гостям:

— Давайте послушаем, мама читает.

Сергея ждет, что мама скажет что-нибудь грубое, ватное, как-то нехорошо про себя пошутит, но она молчит, только недоверчиво усмехается. А по радио говорит про колхозников, про то, как они работают на полях. Из-за мамингого голоса выплывает музыка. Сначала тихо, потом громко и опять потише. В динамике что-то щелкает. Сергей выжидающе смотрит на Олега Андреевича и на тетю Нину. Сейчас они будут хвалить маму. Но они молчат.

— А ты говоришь — талант! — смеется мама. — Все мы тут таланты. — И вдруг взрывается, вскакивает даже. — Да разве можно это талантливо прочитать? Что там сделаешь! Ну ответь, ты же понимаешь!

Мама кричит на тетю Нину, словно в чем-то ее обвиняет, а Сергей растерянно хлопает глазами — ведь он хотел как лучше.

— Но, Аня, — рассудительно отвечает тетя Нина, — ты знаешь лучше меня, талантливую вещь прочесть талантливому диктору легко, разве не правда? И ведь куда сложней талантливо прочесть обязательные материалы.

4

Мама курит папиросу, думает о чем-то сосредоточенно, потом говорит:

— Ладно, выйдем!

Она разливает вино по рюмкам, поднимает свою, говорит Олегу Андреевичу:

— Можно, я тост скажу?

— Можно!

— Тост у меня только свой будет, бабий, не обижайся, — говорит мама, — но он и вас, мужиков, касается, потому что куда мы без вас-то, один...

Она молчит минуту, Сергей смотрит на маму: что она скажет, интересно? Про себя? Про талант? Про тетю Нину?

— Ну так вот, — говорит мама, глядя на тетю Нину, — выпить надо нам с тобой не за талант, не за красоту, не за ум. А за бабье счастье, понимаешь? За тебя, Нинка, потому что счастье это у тебя есть. И за меня, потому что у меня его нет... Но будь-дет!

Сергея понимает, что мама немного опьянела, он принимает пристально глядеть на нее, чтобы она заметила его взгляд, чтобы поняла, сдержалась... Мама всегда его понимала, даже без слов. Но теперь она не замечает Серёжу.

— Ничего нам не надо, Нина, кроме дома, кроме мужа и детей.

В глазах у мамы блестят слезы, Сергей не выдерживает, подходит к ней, обнимает сзади за плечи.

Мама вздрагивает, смахивает слезы, пьет вино, берет Серёжу за руку, притягивает к себе, заглядывает ему в глаза.

— Открою я тебе секрет, Сергунька, — говорит мама и просит вдруг: — Пойми, если сможешь,

— Ну что ты, мам, что ты, — бубнит Серёжа, думая, что это из-за вина она прийти в себя не может.

— Не говорила долго, боялась сказать, да и еще не сказала бы, может, но вот Нина здесь, Олег Андреевич, не так страшно... — И вдруг словно ударила: — Замуж я выйду скоро, Сергунька.

— За кого? — спрашивает он машинально.

— За Никодима, — говорит мама и поправляется: — За Никодима Михайловича. Приезжает он.

— Закончил курсы? — спрашивает тетя Нина.

— Закончил, — говорит мама. — На днях приезжает. Будто торопясь, Олег Андреевич наливает вино в рюмки, поднимает свою.

— Ну, так за вас, Анна Петровна, — говорит он.

— За тебя, Аннушка. — Тетя Нина вскакивает со стула, подходит к маме, обнимает ее, и обе они плачут.

Скрипят двери, в щель сперва вкатывается голубой грузовичок, потом просовывается красная сандалия, а затем появляется весь Котья, тети-Нинин сын.

— Папа, — говорит он Олегу Андреевичу без всяких предисловий, — а кораблям очень опасно северное море, там снайберги.

— Что, что?

— Такие ледяные горы.

— Айсберги?

— Ну да, снайберги.

Все смеются. Сергей улыбается тоже. Потом берет чайник и выходит на кухню.

Из кухни дверь ведет на улицу. На двери с тугой пружиной висит объявление, намертво приклеенное соседкой. Сергей знает его на память: «Прозьба ко всем гражданам когда ходите двери задерживайте не хлопайте а то у меня голова разламывается и мозги вылетят».

Он идет по двору, не замечая ничего вокруг, и в такт шагам повторяет про себя объявление — со всеми ошибками:

«Прозь-ба ко всем гражд-на-ам... а то у ме-ня го-лова раз-ла-мы-ва-ет-ся... моз-ги вы-ле-та-т».

Слова тупыми ударами отдаются в висках...

5

Когда не знаешь, куда идти, ноги сами тебя принесут.

Неподалеку от дома «Гастроном», а во дворе его висит штабеля фанерных ящиков. Сергей приходил сюда однажды — искал материал для модели: планки от ящиков очень ему подошли.

Ящики составлены в высокие стены, и кое-где между ними есть узкие коридоры. Взрослый не пройдет, а мальчишка пролезет.

Сергея пробирается боком по коридору, отыскивает место пошире, усаживается неудобно на узенький край ящика.

Откидывает голову, вверх смотрит.

Над щелью среди ящиков небо виднеется. Густая синева. По нему облака тянутся — легкие, как дымок. Перистые. По географии проходили.

Сергея глядят на небо, думают про облака. Но размышляет про облака будто и не он вовсе, а кто-то другой. Тоже Сергей, но другой Сергей. Настоящий же молчит. Настоящий словно замер и ни о чем думать не хочет, хотя думать надо, надо.

Один Сергей вверх глядит, в щель среди ящиков на небо. Другой Сергей в землю взглядом уперся, и все в нем болит. Все частички его.

Никодим! Зря поправлялась мама, не Никодим Михайлович он, а Никодим просто. По отчеству ведь человека зовут, когда уважают его. А Никодима Сережа так и зовет — по имени только. Про себя, конечно. Но главное ведь, как про себя человека зовешь.

Может быть, зря Сережа к нему так относится. Может быть, он вовсе не плохой человек — Сережа его один раз только видел, разве скажешь что-нибудь серьезное о человеке с первого раза, да еще о взрослому? И, может, неплохо отнесся бы к нему Сережа, если бы не мама.

Она после той встречи, после того раза, когда Никодим к ним в гости приходил и с Сережей познакомился, его фотокарточку в уголком зеркала вставила.

Тогда Сережа все понял. Тогда он сказал маме: — Зачем нам этот Никодим?

Мама поглядела на Сережу виновато, подошла к нему, взяла за плечи, заглянула в глаза и ответила, как взрослому:

— Должен же у тебя быть отец!
— Ты что! — крикнул тогда Сережа оторопело. — У меня есть отец!

Отец? Вот был бы он жил!

Отец Сереже часто снится. То в гермошлеме и высотном костюме с гофрированными рукавами, похожий на космонавта, — картинку, где нарисованы такие летчики, Сережа из «Огонька» вырезал и над своей раскладушкой повесил. То просто за столом, в белой рубашке, улыбается во весь рот, как Чкалов. Такой портрет тоже над кроватью у Сережи есть. А то будто Юрий Гагарин — люди его на руках подбрасывают, и отец в летчикском ките с майорскими погонами, фуражку с кокардой одной рукой придерживает, чтобы не упала.

Отец что-то говорит беззвучно или просто молчит, и Сережа заметил: если отец приснился, значит, в чем-то повезет. В школе или в кружке. Или просто будет хорошее настроение.

Одно только странно — отец ему всегда разных снится. С разными лицами. Но и к этому Сережа привык. Он просто знает: если снится летчик, значит, это отец. И неважно, какое у него лицо. Это объясняется просто. Сережа своего отца никогда не видел. Отец его погиб, когда Сережа еще не родился.

Он был летчиком-испытателем. Они жили в маленьком городке тогда. В поселке даже. Поселок был от авиазавода. И отец обкатывал военные истребители.

Однажды он ушел на работу, поцеловал маму на прощание, помахал ей рукой, как всегда. И мама, как всегда, села у окна смотреть на летающие самолеты. Ей казалось, что на всех самолетах — отец. В тот день летали три самолета. Они были похожи на треугольники с маленькими хвостами. Летающая геометрия. Или что-то вроде морских скатов. Мама смотрела, как треугольники измеряют небо. Потом один из них пошел на снижение. Как-то очень резко пошел. И упал на землю. Мама говорила, что небо вдруг стало красным. Кровавым.

Она уехала в чем была, не собрав даже чемодана, — села на станции в проходящий поезд. Потом мама ехала на лошадей в бабушкину деревню и едва добралась до порога, как родился он, Сережа.

Сережа родился раньше срока на целых два месяца, он должен был умереть вслед за отцом. Но мама и бабушка спасли его.

Сережу всегда смешил этот мамин рассказ — как они спасли его. Забавно очень спасли. В русской печке. Подтапливали ее слегка, кляли Сережу в нее. Так он в печке и жил два месяца.

А отца он не видел. И отец не видел его. Сережина жизнь началась тогда, когда кончилась жизнь отца. Вот почему снился ему отец с разными лицами... Сережа смотрит вверх. Он не раз замечал: солнце ушло за горизонт, на улице уже сумерки, а небо еще совсем дневное, и облака на нем горят дневным сиянием. Небо и облака темнеют позже земли.

Земля загоридила собой солнце, но не навсего. Завтра придет утро, и снова станет светло.

Сережа вдыхает в себя прохладный воздух. Обида угасает, как вечер.

Он берет чайник и встает. Надо идти. Домой, к маме. Он представил, как мама бежит по улице, спрашивая знакомых мальчишек, не видели ли они Сережу, и по спине между лопаток струится холодок. Он представил себе ее курносое лицо, почти безбровое, будто выгоревшее на солнце, представил, как округлились от испуга ее глаза. Если бы кто знал, как любит его мама. И как любит ее он. Вот без отца жить — это возможно, хотя и горько, но без мамы представить себя нельзя. Без мамы он жить не мог бы!

Сережа бросается назад, по узкому проходу среди штабелей фанерных ящиков и вдруг ощущает боль. Острый гвоздик, торчащий из ящика, расскочил на запястье, и боль вернула его к настоящему. Никодим!

Никодим будто напомнил о себе этим гвоздиком.

6

Мама дома, моет посуду в тазу, наклонив слегка голову и прищурив один глаз, чтоб не щипал дым от папироски.

Когда Сережа входит, она глядит на него широко раскрытыми глазами, молчит, потом медленно прозисонит:

— Я думала, ты поймешь...
Сережа не отвечает.

Он раздевается, ложится на свою раскладушку у стены, лижет кровь из ранки, смотрит на карточку Никодима.

Бывают же такие лица — сказать нечего. Глазки маленькие, серые, волосы какие-то сивые, жидкие, зачесаны назад. Уши торчком — два лопуха. И чего только мама кашла в нем!

Сережа отворачивается от зеркала, разглядывает вырезы на своей стене. Летчики в высотных костюмах, Гагарин, Чкалов. Все вместе — для Сережи отец.

Обида расирает грудь. «Как же так? — думает он. — Всю жизнь мама говорила про отца, что так рассказывала, как он погиб, — и вдруг Никодим! Эх, мама!»

Сережа смотрит на картинки. Это же мама на него всегда влияла! Это же она советовала картинку на стену наклеить, и благодаря ей он твердо решил летчиком стать. Как отец. И в авиамоделный кружок записался. Вот освоит он справа там все премудрости, потом в школу планировщиков пойдет — без отрыва от учебы, конечно, — а там и на летчика выучится. После в летное училище поступит. Или в авиационный институт. Тут еще подумать надо, потому что летать и без училища научиться можно, в школе ДОСААФ, а конструирование очень его увлекает.

Сидишь в кружке — тишина. Бамбуковую основу над спиртовой гнесь или крылья тончайшей бумагой обклеиваешь. Запах казеинового клея совсем особенный, на другие не похожий: этот клей авиационный пахнет.

Сережа поглядывает на оранжевый самолет, ко-



торый лежит на полу — изуродованный, но героический, усмехается, говорит ему про себя: «Ну, брат, не ожидал от тебя, не ожидал». А сам думает про новую модель — другой конструкции, посложней. Он решил ее с Робертом сделать, старостой кружка, — одному будет трудно.

Хлопает дверь.

— Не спишь? — спрашивает мама, подсаживаясь к нему на раскладушку.

Он подвигается, не отвечая. Мама тоже молчит. Смотрит на Сережу, о чем-то думает сосредоточенно, потом поднимается, снимает с гвоздика гитару, садится опять.

Сережа разглядывает внимательно мамину кровать с блестящими шариками на спинке, обшарпанный шкаф, который протяжно скрипит, когда его откры-

ваешь, стол возле стенки — одна ножка хромает, бу-мажку под нее подкладывают, если редкие гости приходят. А без гостей и так хорошо.

Бабушка, когда приезжала, ворчала на маму:

— У тебя все не как у людей!

— А как у людей? — поддразнивала ее мама.

— Чистота, порядок, уют! — шумела бабушка. — Квартиры получают, обстановку покупают. Ну, да ладно, квартиры нет, так хоть бы эту-то комнатешку подкрасила, побелила. Живешь, как по течению плывешь. — Бабушка махала рукой, уходила в кухню.

— Это точно, — кивала мама, — как по течению...

Потом, после бабушкиного отъезда, бралась за тряпку, за веник, мыла, скребла, прибирала, приносила даже мелу, чтобы побелить потолок, кисть с

длинной ручкой, но вдруг садилась на кровать, закуривала папироску, молча глядела перед собой, потом собирала все приготовленное для ремонта, отдавала соседям.

— Ты что, мам? — удивлялся Сережа. — Раздумала? — Певать на все, — говорила она, улыбаясь. — До потолка, боюсь, не дотянуться.

— Так давай маляров позовем! — удивлялся Сережа. — Тоже нашла причину.

— Позовем, позовем, — говорила мама, но так никого и не звала.

Потолок в комнате был серый от папиросной копоти, и все оставалось по-прежнему у них: хоть и уютно, но привычно...

...Мама трогает тихонько струны, поет негромко:

Гори, гори, моя звезда...

Голос у нее глуховатый, но сильный. «Профессиональный», — говорит тетя Нина.

Звезда любви приветная...

Больше всего любит Сережа, когда мама поет. Не в компании — шумно и весело, а вот так, тихо, как бы для себя. А значит, и для него, Сережи...

Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда.

Мама кладет руку на струны, спрашивает, улыбается:

— А ты знаешь, кто эта звезда заветная?

Сережа мотает головой.

— Ты.

Он смеется.

— Ты, ты, не смейся. Каждый, кто поет, думает про свою звезду, конечно. У каждого она есть. А я вот про тебя думаю.

— Почему не про папу?

Мама удивленно глядит на него, смущается отчего-то, потом твердо повторяет:

— Нет, про тебя.

— Ну, а я тогда про тебя, — говорит Сережа. — Ты тоже моя звезда заветная. — Он садится в раскладушке.

— Ладно, ладно, — грустно говорит она, — пока заветная, и то хорошо. А вырастешь, будет у тебя другая звезда. Про меня и не вспоминай.

— Эх, ты! — возмущается Сережа, отстраняясь. — Так про меня подумала! Я же твой сын, как я про тебя забуду? — Он умоляет, вспоминая Никодима, прибавляет обижено: — Не то, что ты!

Мама резко вскакивает, вешает гитару на гвоздик. Не поворачиваясь к Сереже, циркает спичкой, сильно затягивается, говорит:

— Не беспокойся, я уже решила. Будет все, как было. И Никодим тут ни при чем.

Сережа приподнимается на раскладушке, молчит от растерянности, потом спрашивает жалобно, надеясь и не веря:

— Правда, мама?

Она разминает папироску, подходит к зеркалу. Сережа притихает. Мама смотрит не в зеркало, а на Никодима.

Потом берет карточку в руки, трогает ее, словно гладит Никодима, и вдруг рвет в мелкие клочки.

У Сережи перехватывает дыхание.

— Зачем? — удивляется он, приподнявшись на локте. Теперь-то Никодим не страшен ему. И может еще сто лет сидеть там, в углу зеркала.

— Да что уж тут, — отвечает мама, подходит к выключателю и щелкает.

Сережа, приподнявшись, вглядывается в темноту, стараясь рассмотреть маму. В смутной летней ночи он видит ее лицо, и ему кажется, что она лежит с открытыми глазами. Он зовет ее шепотом, но она не отвечает, и тогда Сережа решает, что это, верно, от усталости ее так скосило.

Сереже снится война. Будто он летит на своем оранжевом самолете и строчит по невидимому врагу. Трассирующие пули идут впереди самолета широким белым веером, вспарывают землю внизу. Сережа летит на бреющем, одно крыло чуть вниз, потом штурвал к себе, и оранжевый самолет круто взмывает вверх. Сережа видит, как оттуда, из-под облака с золотой каймой, падает на него черный крест — вражеский самолет.

Он нажимает гашетку.

«Та-та-та-та...»

Но трассирующий веер не рассыпается впереди него.

«Та-та-та-та...»

Значит, кончились патроны. Кто же тогда стреляет? Черный крест? Черный крест...

Сережа видит, как смертельный веер тянется к нему, словно белые длинные пальцы. К его заметному, оранжевому самолету.

Сережа вскакивает. Ощущает, как капельки пота ползут по лбу. Фу, душно в комнате.

Он вздрагивает.

«Та-та-та-та...» Черный крест опять строчит. Хотя нет, это стук. Кто-то стучится в дверь. На улице уже светает.

— Мама! — шепчет Сережа. — Мама!

Она поднимает голову, говорит испуганно:

— Что случилось?

— Стучат.

— А-а, — говорит мама, позевывая и сразу успокаиваясь. — Ну, отойди.

После душно-го сна Сережа приходит в себя. Никакого креста нет, слава богу. Все нормально. Дом, мама. Он вздыхает, идет к двери.

— Сейчас, сейчас, — ворчит он, сбрасывает цепочку, вертит кругляш английского замка, распахивает дверь и отступает назад.

Сердце у него обрывается. Будто он снова уснул. Будто продолжается страшное видение, только теперь другое. Вторая серия.

В дверном проеме стоит Никодим.

Он улыбается, глядит приветливо на Сережу, потом протягивает ему руку, и Сережа, как загипнотизированный, дает свою.

Сначала, пока никого не видно, мама удивленно моргает глазами, но когда Никодим входит в комнату, она вскакивает, натягивает халат и смотрит на Никодима — растерянная и взлохмаченная.

А Никодим, ничего не замечая, подходит к столу, грохает на него тяжелую авоську, рядом приставляет фибровый чемодан.

— Не ждали! — говорит он, усмехаясь. — Помните, картина такая есть? Кого-то из передвигников, кажется. Так и называются: «Не ждали».

Сережа помнит. В какой-то книге видел. Комната большая, не такая, как у них, и все в ней замерли, потому что на пороге стоит человек, коротко стриженный, усталый. Вернулся, наверное, из тюрьмы. Или с каторги. Революционер.

Там понятно, там революционер. А Никодим тут при чем? Ну да, не ждали... Вообще не ждали, правильно. Хотя почему же. Ждали. Даже приготовились.

Сережа видит, как трудно маме. Он вглядывается в ее лицо, и она чувствует его взгляд. Но не может решиться. Не может шагнуть к Никодиму и сказать ему сразу. Она смотрит в зеркало, торопливо причешивается, а Сережа стоит один на один с Никодимом.

Гость развязывает авоську. Старательно развязывает.

— Аня, — говорит он, не отрываясь от авоськи, —



вы извините, что я так рано... Хотел было другим поездом, но не утерпел, взял билет на самый первый, приехал ночью, еле утра дождался и бегом к вам... Так что извините, разбудил все же.

— Ничего,— глухо отзывается мама.

— Хотел попозже прийти,— говорит Никодим,— но, думаю, Сережу надо заставить, пока в школу не ушел, может, думаю, порадую...— Он зубами развязывает узел, но говорить не перестает.— Аня,— мычит он,— а ты Сереже-то... м-м, черт, вот замотал... ты Сереже-то все сказала?.. Ничего... надо же... ничего не скрывать?

Мама молчит.

— Ну вот,— продолжает Никодим,— размотал все же.— Он хрустит бумагой и протягивает Сереже сперва ласты, потом трубку для плавания под водой, потом маску.

Сережа растерянно топчется на холодном полу, держит охапку подарков и чувствует себя одаурченным. Не знает, как быть. С Никодимом он разделался еще вчера. Вечером, когда мама порвала его карточку. Но вот Никодим пришел. И дарит подарки. И

заговаривает зубы. А мама причесывается у зеркала и молчит. И будто ничего не видит.

Не видит! Все она видит! Только трусит.

Сережа решает. Он больше не даст себя одурочить. Жалко, конечно, возвращать все это добро. Ласты вон какие зеленые, прекрасные, лягушачьи! И трубка! И маска! Но разве можно на это поддаваться? Он не карась какой-нибудь глупый. Он на красивые приделки не клюнет.

Сережа складывает подарки на стол, говорит хриплым голосом:

— Спасибо, мне не надо,— и добавляет невпопад:— Мне в школу надо.

Никодим останавливается, смотрит внимательно на Сережу, но Сережа торопливо одевается и не глядит по сторонам. Только чувствует на себе тяжелый этот взгляд.

Никодим переступает с ноги на ногу, спрашивает маму:

— Что же, Аня, получается, а?.. Или ты передумала?

— Передумала,— отвечает мама, все причесываясь.

— Да повернись ты! — вдруг командует Никодим. Сереза возмущенно вскидывает голову, хочет сказать, чтобы потише он тут себя вел, не командовал, но видит, как покорно поворачивается от зеркала мама, как смотрит она на Никодима испуганными, округлившимися глазами, в которых дрожат слезы, и вдруг его озаряет: мама слушается Никодима! Значит..

— Извини, Никодим! — говорит мама и что-то тербит в руках. Сереза видит, что она перебирает обрывки фотографии. Той, вчерашней. — Извини! — повторяет она. — Я не все учла.. И я передумала.

— Но как же так? — разводит руками Никодим. — Мы же переписывались! Два года!.. Мы договорились!.. Я приезжал!..

Лицо его покраснело от натуги, уши топориком тоже порозовели, и Сереза становится жаль его. Но жалость тут же исчезает.

Никодим говорит маме:

— И вообще, Аня! Ты так настаивала, так хотела, чтобы мы жили вместе. В конце концов, ты знаешь, я иду против воли матери! И вообще это все было нужно больше тебе, чем мне.

Сереза думает, что мама сейчас взорвется. Прогонит Никодима прочь. Но мама жалко улыбается, говорит, нисколько не обижаясь:

— Да, да, Никодим, ты прав, все так и есть, но я не могу... Решила.

Никодим смотрит на Серезу, подхватывает свой чемодан и шагает к двери.

Он больше не смотрит на маму. Он разглядывает Серезу. С интересом разглядывает, и Сереза замечает, что губы у Никодима вздрагивают, как от сильной обиды.

— А это? — говорит ему Сереза, показывая на подarki, но Никодим не слышит. Он останавливается в распахнутых дверях, пристально смотрит на Серезу и слабо произносит:

— За что ты меня ненавидишь?

Сереза чувствует, как сердце в груди начинает метаться зайчиком. Почему он так говорит? Разве Сереза его ненавидит? Воисте нет... Совсем нет... Он не ненавидит его...

Сереза вскакивает. Он открывает рот, чтобы объяснить, чтобы как-то ответить этому чудному человеку, но вместо слов из него вырывается странный крик.

Дверь захлопывается.

Шаги Никодима грохочут по кухне. Взрывается дверь на сильной пружине, и у соседки, наверное, вылетают мозги.

Все стихает.

А Сереза стоит, открыв рот, задыхаясь от обиды.



Май, а на улице дождь, нудный, будто осеню. Тучи над самыми крышами несутся реальные, клочковатые, злые. Тягостно на душе. И от погоды и от утренного разговора.

Сереза смотрит за окно, в плотный дождь, который стучивает силуэты домов, и будто перед Никодимом оправдывается.

Что же, в самом деле он Никодима ненавидит?

Ну, ненавидит, допустим. От обратного пойдём. Как в теореме. А за что он его любить должен? За то, что к ним прийти хочет?

Сереза раздумывает. Вспоминает маму.

Он тогда сразу за Никодимом выскочил. Схватил портфель и убежал. Мама у комода осталась. Глаза

широко открыты. В пустоту смотрят. Глаза большие, а лицо постарело мгновенно...

Сереза судорожно оглянулся, приходя в себя, как бы возвращаясь к действительности. Класс. Зеленые стены. Учительница возле доски ходит. Вероника Макаровна, по прозвищу Литература.

Лет Веронике Макаровне много, но она всегда на высоких каблуках. А ноги тонкие и, наверное, слабые, поэтому на каблуках она пошатывается. Как на коньках, если плохо катаешься.

— Ну, займемся повторением. Вспомним Пушкина. Кто ответит? — спрашивает Вероника Макаровна и подслеповато щурится: она близорукая, так что тем, кто на задних партах, может повести — издали лица не разглядит, а фамилию, что там сидит, не сразу вспомнит. И вообще она странная. Вот и теперь остановилась у окна и словно уснула. Забыла, что у нее класс, что она спрашивать должна. Смотрит на улицу, где дождь ерошит лужи. Класс притих. Если вот так тихо сидеть, Вероника Макаровна может долго в окно глядеть. Минут пять. А то и больше.

— Ну, кто ответит? Кто помнит «Капитанскую дочку»? — повторяет Вероника Макаровна.

Сереза видит, как Понтя, сосед его, руку тянет. Вероника Макаровна смотрит на Понтю, потом в журнал, ручкой ставит напротив Понтиной фамилии точку и торжественно объявляет:

— Пантелеймон Карпов.

Имя, конечно, у Понти забавное. Пантелеймон! Да сейчас таких имен никому и не дают. Но Понтя как раз этим гордится. Его так в честь деда назвали. А дед у Понти — Герой Советского Союза. Генерал в отставке. Деда Понти никто не видел, он в Москве живет, но карточку Понтя приносил. Очень он на генерала своего похож.

— Отвечай! — говорит Понте Вероника Макаровна.

— В повести Пушкина «Капитанская дочка», — говорит Серезин сосед, — есть два типичных представителя своих сословий.

— Гринев — от «Динамо», Пугачев — от ЦСКА, — шепчет кто-то в классе; по партам прокатывается смех.

Вероника Макаровна стучит ручкой по столу.

— Гринев — представитель дворянского общества, — продолжает Пантелеймон, — и хотя он является врагом крестьян, он вынужден обращаться к Пугачеву за помощью по личным вопросам.

— Выбирай выражения, — говорит Литература, — думай, как говоришь.

— Да я в том смысле, — горячо объясняет Понтя, — что ведь ему же никто, кроме Пугачева, не помог. Пугачев был добрый человек. Пугачев возглавил восстание крестьян против царизма. Зря он только себя за царя выдавал. Понтя подчеркивает его обреченность, потому что в то время еще не назрела революционная ситуация.

— Когда назрела революционная ситуация? — спрашивает Вероника Макаровна.

— Седьмого ноября семнадцатого года, — отвечает ей кто-то с места.

— В начале, — поправляет она, — семнадцатого года. А когда происходили события, описываемые в «Капитанской дочке»?

— В восемнадцатом веке, — отвечает Понтя.

— Вот именно! — подтверждает Литература, поднимаясь со стула и давая Понте сигнал садиться.

— События, описываемые в «Капитанской дочке», — говорит она, — относятся к 1774 году и отражают восстание крестьян под предводительством Емельяна Пугачева.

Вероника Макаровна говорит что-то про Пугачева и Гринева, а Сереза думает о Марии Ивановне, из-за которой и случилось у Гринева все эти происшествия

с Пугачевым, а особенно, как стискивал Гринев рукавшаги, как горело его сердце, как воображал он себя рыцарем Марии Ивановны и желал защитить ее от врага.

Сереза растерянно оглядывает класс и видит Галину косу. «Вот с кем надо поговорить!», — думает он и принимается внимательно смотреть на Галину. Она начинает беспокойно шевелиться, потом вопросительно глядит на Серезу.

— Воробьев! — слышит он голос Литературы и поднимается, мучительно думая, что же спросила сейчас Вероника Макаровна. Но она говорит ему: — Ты чего такой рассеянный?

Сереза пожимает плечами, глядит внимательно на учительницу.

— Бывает, — говорит он виновато.

И Вероника Макаровна неожиданно кивает:

— Бывает.

В глазах ее Сереза видит растерянность.

9

Дождь встал глухой белой стеной — в двух шагах не видно человека. Девочки и ребята бросаются с крыльца, как в омут, и тут же пропадают. Краешком глаза Сереза следит за Галей и мечтается за ней, боясь отстать, потерять из виду. Длинноногую девочку догнать непросто. Сереза хочет уже позвать ее, крикнуть, чтоб подождала, но неожиданно Галю ныряет в чужой подъезд. Сереза заскакивает следом.

— Тебе чего? — настороженно спрашивает запыхавшая Галю.

Он переступает с ноги на ногу, мнется, не знает, как начать, как вообще спросить про то, что его мучит.

— Галю! — заикаясь, говорит Сереза и повторяет: — Галю! — Наконец бухает: — А у меня мамка жениться хочет.

— Замуж выйти, а не жениться, — поправляет его Галю. И переспрашивает: — Хочет? — Галю смотрит на него внимательно, приближая к Серезиному лицу свое лицо. — Ну?

— Не знаю, что делать, — вздыхает Сереза.

— Он нехороший? — спрашивает Галю. — Пьяница?

— Нет, — растерянно отвечает Сереза. — Не пьяница. — Потом, разозлясь, объясняет: — На фиг он мне нужен.

Галю задумывается. Говорит неуверенно:

— Но ведь замуж не ты выходишь... Мама...

Дождь все льется и льется, будто в небе прохудился какой-то клапан.

— А зачем ей замуж? — удивляется Сереза. Никогда он не может этого в толк взять: действительно, зачем? Разве плохо жили они до сих пор? Разве скучно им было друг с другом? Ну разве же это не ясно — придет третий лишней, этот Никодим, и никогда уж не будет Серезе так хорошо с мамой и маме с ним, потому что Никодим будет мешать. Что ему, про отметки рассказывать прикажете? Про авиамодельный кружок? Про то, что Сереза хочет на отца походить и будет, как он, летчиком?

— Ты странный человек, — говорит Галю, строго глядя на Серезу. — Зачем маме замуж? Для счастья, разве не ясно. Ведь человек рожден для счастья, как птица для полета, слыхал? Она еще нестарая. У нее еще должен быть муж. Защита и опора.

— Рассуждаешь, как старуха, — недовольно бурчит Сереза, но что-то словно успокаивает его. — Защита и опора... хмыкает он. — А я!

Галю улыбается.

— Ты, конечно, защита, — говорит она, — но не опора. Пока что, конечно. Вырастешь, будешь и опорой.

— Высоковольной? — шутит Сереза.

На душе стало легче. Подъезд, куда они забежали, недалеко от Серезиного дома. От Галиночки еще ближе. Но он вдруг предлагает:

— Идем в кино!

В конце квартала — «Колизей». Галю кивает, и они мчатся. Бежать с Галей приятно, Сереза сдерживает себя, чтобы не обогнать ее, чтобы она бежала чутько впереди, самую малость. Луки хлопают под ботинками, расплескивая в стороны брызги. У Серезы есть рубль — им хватает на билеты, на кофе и даже на два песочника. Он прихлебывает невкусный, но горячий кофе и снова вспоминает последние Галины слова. Думает над их смыслом, и ему делается неловко. Действительно. Замуж хочет мама, а решает он. Как глупо.

— И потом, — вдруг говорит Галю, — отца не вернешь, ведь правда? Что же делать?

Гаснет свет. Сереза смотрит кино, но в голове его совсем другое. Как все запутано, в самом деле... Как все горько. Мама часто говорит: «В жизни все бывает не так, как в кино. Я сама убедилась». Когда говорят другие, этих слов не слышно. Пропускаешь мимо ушей. Но когда касается самого...

Сереза смотрит на Галю, на грустную ее косичку, и она, не поворачиваясь, стучит его по руке:

— Смотри на экран.

— Смотрю, — покорно отвечает Сереза.

10

Пождь прошел.

Сереза стоит перед высоким серым зданием. Вверху, под крышей, блестят серебряные буквы: «Почта — телеграф». И часы — вполстены.

Все в городе знают, где почтамт, но очень немногим известно, что здесь без всяких вывесок — и вход со двора — на верхнем этаже находится радиостудия — важный объект. Государственный. И его охраняют.

Сереза гордится: мама его как бы на важном заводе работает. Туда только по пропускам вход. Поэтому Сереза к вахтеру подходит, просит:

— Позовите, пожалуйста, Воробьева.

— Анну Петровну? — спрашивает женщина с pistolетом. Сереза ей улыбается. Это тетя Дюся.

Сереза ждет маму, прогуливается вдоль здания и вдруг замечает, что возле лужи на корточках сидит тетя-Нинин Котыка.

Сереза говорит:

— Здорово, Котыка.

— Сергуне наш привет, — отвечает важно Котыка. Ничуть не удивляется его появлению. — Сергуня, — спрашивает он без перехода, морща маленький лос-носок. Будто только и ждал, когда Сереза придет. — А тебе не страшно?

— Чего страшно? — не понимает Сереза.

— Посмотри в лужу, — говорит Котыка. — Видишь, какая глубина. Видишь, вон то большое дерево в этой луже ущемается.

Сереза смотрит в лужу. Вот какой глазастый этот маленький Котыка. Действительно, если взглянуть в лужу, глубина страшная. И дерево в ней, и ку-сочек почтамата, и даже туши. Сереза закрывает глаза. Открывает их снова.

— Нет, не страшно!

— Это сейчас не страшно, — говорит Котыка, — по-

тому что ты большой. А когда ты маленький был, тебе тоже было страшно.

Сереза берет Котку за лапку коротких его штанов, поворачивает к себе. Котка доверчиво обнимает Серезу за шею. Серезе не хочется его оторвать.

— Страшно! — говорит он. — Еще как страшно. Мне и сейчас страшно бывает.

— А чего ты боишься? — спрашивает Котка, но ответить не дает. Лоб его сморщен. Он все время чего-то соображает. — Я, например, боюсь тигров, леопардов и змей. Змей шипят. Но я их не видел. Только в кино.

— А леопардов и тигров? — смеется Сереза.

— Также в кино, — ничуть не смущается Котка.

У Котки накопилось много мыслей, ему их надо обсудить, и он без передыху говорит Серезе:

— Хочешь, научу, как надо сорбк ловить? Берешь бумажку от шоколадной медалки, привязываешь к ней длинную нитку, бросаешь под дерево, где сорока сидит, и начинаешь к себе тянуть. Сорока бумажку видит, подлетит, а ты веревочку к себе тяни. Она подойдет, ты снова к себе. Вот сорока за блестящий совсем близко подойдет, тут ты и ловишь.

Котка облегченно вздыхает. Он, наверное, боялся, что не успеет рассказать все подробности и Сереза уйдет.

— Сереза! — кричит от проходной тетя Нина. — Иди сюда! Я тебя проведу!

Наверху, где радиостудия, люди ходят тихо. Разговаривают вполголоса. На специальном табло, как у входа в рентгеновский кабинет, горят строгие красные буквы: «Тихо! Идет передача!»

Тетя Нина вводит Серезу в аппаратную. Тут стоят магнитофоны, огромные, вполроста. Это если взрослому. Серезе так до груди будет. Медленно вращаются огромные бобины с магнитной пленкой.

Вот интересно! Когда фотографируешься, все понятно. Фотопленка, светочувствительный слой, проявитель, фотобумага... В фотографии свет записывает твоё лицо, это ясно. Происходит химические изменения. А здесь? Пленка крутится с одной бобины на другую. И никак не изменяется. А записывает-то сложней изображения! Записывает звук!

Тетя Нина держит Серезу за плечо, чтобы не отходил, куда-то на стеклянное большое окно в стене.

За стеклом, как в аквариуме, сидит мама. Она шевелит губами — что-то говорит, но что-то не слышно. И это выглядит очень забавно.

Сереза разглядывает мамин аквариум. В комнате, где она сидит, все стены обиты материей, чтобы не было резонанса. Перед малой на гнутых ножках, будто склонившиеся цветы, штук пять микрофонов. Один, побольше, похожий на черный блин, свисает прямо с потолка.

Мама читает старательно, изредка отрывается от бумажки, но в окно не смотрит — глядит на потолок или в сторону. Иногда она жестикулирует. Морщит лоб. Прикрывает глаза. Качает рукой в такт словам. Может быть, читает стихи.

Мама ведет себя так, будто совсем одна. А на нее глядят человек десять. Пристально смотрят. Другой бы не выдержал, смутился, но маме до людей по эту сторону окна дела нет. Она занята. Мама кончила читать, откинулась на стул, устало бросила вниз руки.

У главного магнитофона стоит дядька, седой и лохматый. Волосы у него, будто дым из трубы валит, торчком стоят. Щетина на бороде. Но глаза веселые, так и бегают.

— Молодец, Аня! — кричит он маме, щелкнув чем-то.

И вдруг мамин голос, измененный динамиком, Серезу оглушает.

— Черта с два! — говорит мама грубо. — Переписываем!

— В последний раз, — испуганно кричит вздохавший дядька. — А то на тебя не угодишь! Присидишь с тобой до ночи! И передача скоро!

— Не ори! — спокойно советует ему по радио мама.

Сереза думает, дядька рассердится, но он только смеется, нажимает кнопку в магнитофоне. Лента с магным голосом несется назад, как курьерский поезд.

II

Аужи походят на осколки темных стекол. Огни, загоревшиеся в окнах, отражаются в воде. После дождя потеплело. Небо расчистилось от туч.

Они идут медленно, мама вдыхает влажный воздух и тихо повторяет:

— Как хорошо! Хорошо...

Тетя Нина так и не дождалась, когда мама освободится. Пожала Серезе плечо, сказала, что ей пора кормить Котку, и убежала. Сереза стоял в аппаратуре до конца. Сидел в коридоре, когда шла передача. Мама курила папиросы, сыпала пепел, вздыхала от вынужденного безделья, потом передача кончилась, и вот они уже подходят к дому, а Сереза все не знает, как начать. Как сказать маме про Никодима?

Просто так сказать: «Я согласен», — глупо. Нехорошо. Надо сказать так, чтобы мама поняла. Чтобы ее не обидеть.

Сереза весь вечер думает про людей. Про то, от чего счастье зависит. Ему кажется: из всех его взрослых знакомых тетя Нина самая счастливая. Почему? Ну, во-первых, она красивая. Сереза даже в нее немножко влюблен. Он от этого с тетей Ниной долго говорить стесняется. Если один на один. При других, пожалуйста, потому что при других только с ним тетя Нина говорить не станет. Обязательно ответится. С ней ведь все поговорить хотят — Ниночка да Ниночка. Всякий, кто мимо нее пройдет — знакомый, конечно, — непременно остановится. Что-нибудь скажет. Или спросит. Тетя Нина не только красивая. Она обязательная. Так мама говорит. Это правда. Если все к ней тянутся, значит, обязательная. Глаза у тети Нины всегда блестящие. А голос на мамин похож. Грудной. Она, как и мама, стихи любит. Мама ее хвалит за то, как она читает стихи. А тетя Нина маму хвалит.

Мама ее обрывает, говорит:

— Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!

Они смеются обе. Действительно, что поделать? Они подруги, и не просто подруги, а товарищи по работе. У них одна профессия — дикторы. Только одна — радиодиктор, другая — теледиктор.

Но разница между ними все-таки есть.

Про эту разницу мама любит тете Нине рассказывать.

— Возраст — раз. Два — вывеска. — Это мама лицо вывеской называет. — Три — характер. А на трех китах, как известно, держится мир.

Тетя Нина красивая, веселая, легкая, добрая.

Сереза задумывается. А мама, что же, не добрая? Еще какая добрая! Сереза напоминает утренний разговор. Никодима. Вон она какая добрая, мама. Решила, что Серезе с Никодимом хуже будет, и отказалась от того, что решила. Для него, Серезки.

Сереее делается жалко маму. Он берет ее под руку, заглядывает ей в глаза.

— Ну что, Сергуня, — говорит мама, — вот и добрались мы домой.

— Добрались, мама, — отвечает Сереее. Сердце у него щемит от жалости. Он хочет сказать что-нибудь хорошее, выбрать какое-то необыкновенное слово — светлое и прозрачное, — чтобы маме сделалось хорошо, чтобы она не когда-нибудь, а вот теперь, сейчас почувствовала себя счастливой, но придумать ничего не может. — Мам! — говорит он грубо и хочет поправиться, сказать мягче. Но ничего у него не выходит. — Мам, — повторяет Сереее непослушным голосом. — Понимаешь, только не обижайся, пожалуйста, я хочу сказать тебе про Никодима... — Он молчит, потом поправляется: — ...Никодима Михайловича. — И опять молчит. — Я не против, — выговаривает он наконец, — пусть женится на тебе.

Мама останавливается, смотрит на Сереее испуганными глазами.

— Пусть он на тебе женится, — начинает торопиться Сереее, — пусть. В тесноте да не в обиде, ты не беспокойся, мою раскладушку можно от окна отодвинуть к шкафу, тогда войдет еще одна кровать. — И кончает неожиданно: — Ведь папы нет...

Он говорит, захлебываясь от слов, и мама смотрит на него спокойнее, без испуга. Потом берет Сереее обеими руками за голову, притягивает к себе. Он тыкается носом в холодный, влажный плащ, чувствует, как от мамы пахнет горьким табаком.

— Не думай об этом, Сергуня, — говорит мама. — Я ведь решила.

Он отшагивает от нее.

— Это ты из-за меня, — говорит он громко.

Мама молчит, качает головой.

— Да он теперь и не придет.

— Придет! — уверяет Сереее. — Еще как придет! Бегом прибежит! Ведь к тебе же, к тебе!

— Глупенький, — улыбается мама, — не все просто. Он не придет. И я к нему не пойду.

— Значит, я пойду! — не задумываясь, отвечает Сереее, и мама хмыкает. Он молчит и хмыкает тоже. Брякнул, называется. Он? Пойдет к Никодиму? И что скажет?

12

Втром, по дороге в школу, Сереее видит Веронику Макаровну. Узнать ее можно за сто верст. Она идет не одна. С каким-то мужчиной. Литература о чем-то спорит с ним, но и мужчина не соглашается. Они размахивают руками и, похоже, ссорятся, потому что возле школы расстанутся, даже не кивнув друг другу.

Сереее глядит, как учительница ковыляет, покачиваясь на каблучках, будто на коньках. Потом он смотрит на мужчину и обмирает: через дорогу, поглядывая на машины, переходит Никодим.

Сереее мгновение стоит в нерешительности. Потом кидается вслед. Догнать его очень просто. Десять секунд быстрого бега.

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — говорит он, переводя дыхание.

Никодим останавливается. Удивленно разглядывает Сереее.

— Ну, привет! — отвечает недоверчиво.

— Это я виноват, Никодим Михайлович, — говорит Сереее. Неожиданность помогает ему говорить решительно, не выбирая слов. — И я вас не ненавижу. Вы ошибаетесь. — Серееежно наступление обескураживает Никодима. — Если я вас обидел, извините



меня,— продолжает Сережа.— Вы должны к нам прийти.

— Никому ничего я не должен,— мрачно говорит Никодим, но тут же спрашивает: — Это ты сам? Или мама тебя послала?

— Эх, вы! — задыхается от возмущения Сережа.— Можно ведь догадаться, кажется! Если мама, я бы вас дома нашел. А я случайно вас увидел. С Литературой.

Никодим растерянно кивает и спрашивает:

— С Литературой, говоришь? — И вдруг смеется. Сережа не понимает, чего он. Потом догадывается: ему смешно, что учительницу так зовут. Нет, не такой уж он, оказывается, противный, этот Никодим. Все не противный.

— С Литературой.— Сережа тоже смеется.— А вы с ней, оказывается, знакомые!

— Знакомые! — говорит Никодим.

Они стоят друг против друга и улыбаются — треволжно, недоверчиво, не зная, что будет дальше...

Часть вторая

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

1



Никодим сказал:

— Едем в свадебное путешествие.

— Счастливого пути,— дрогнув, ответил Сережа.

— И ты с нами,— сказал Никодим.

Сережа посмотрел на него подозрительно.

— Куда? — спросил он.

— Секрет фирмы.

— А когда?

— Когда кончишь учиться.

Сережа где-то читал, что раньше в свадебное путешествие ездили за границу. На каком-нибудь корабле с парусами. На какие-нибудь Азорские острова. Вот жизнь была! Качайся себе на волнах, разгуливай в белых штанах, кури сигару. Любишь морями и пальмами.

Ясно, что на Азорские острова они не поедут. Но куда? В Москву? Это было бы здорово! В Ленинград? Никогда Сережа в Ленинграде не бывал. Нигде он не был, кроме пионерского лагеря в тридцати километрах от города.

Но Москва и Ленинград и даже Азорские острова померкли, затуманились, когда Никодим открыл тайну.

Утром проснулся Сережа, а на столе три рюкзака: большой, поменьше и маленький. А у дверей — подумать только — три велосипеда. Он даже не поверил вначале. Поморгал, глаза кулаками потер — нет, стоят. Поблескивают никелированными частями.

Сережа у мамы давно велик просил. Мама не покупала. Ей не жалко, она боялась, что он под машину угодит. А тут — три сразу! Да откуда?

Дверь открывается, входит Никодим с авоськой. В ней хлеб, сахар, чай.

— Последние подробности, — говорит он. И велит: — Вставай скорее!

Они быстро завтракают, выводят во двор своих «коней». Никодим рассказывает, как весь вечер общался от смехи купленный вчера велосипед для Сережи, как брал напрокат остальные.

И вот они едут, и Сережа думает, что все произошло словно по волшебству. Раз — и они в свадебном путешествии. Едут втроем не в душном вагоне в незнакомый город, а по полевой дороге, среди зеленых колосьев и васильков в деревню к бабушке.

У Сережи дорожный «ЗИЛ», он его пощупать даже как следует не успел. Ход мягкий, бесшумный. На бугорочках сиденье пружинит — не скрипит! Шины по гладкой тропе шуршат, словно у нового автомобиля. Тормоз действует безотказно. Только нажали на педаль, и велик, как вкопанный, на месте стоит.

Сережа разгоняется, тормозит, поворачивает, поднимаясь в рост, с силой давит на педали. Велосипед фурчит, мчится навстречу маме и Никодиму. Сережа тормозит опять, взрыхляя пыль, объезжает их аккуратно, слушает, о чем они говорят.

— Если гнать, — говорит Никодим, — то можно и за сутки доехать. Восемьдесят километров не так уж много. Но к чему? За три дня не спеши и доедем. Покупаем где-нибудь. Позагораем. Цветов нарвем. Заночуем у костерка.

Мама согласно кивает Никодиму, Сережа смотрит на него с интересом.

«Как все-таки я неправ был, — думает, — на Никодима зверем глядел».

Осторожно, чтобы Никодим не заметил, Сережа разглядывает его. Вглядывается.

Нет, на карточку свою он похож, конечно. Волосы свивые, гладко назад зачесаны. Вообще-то их можно светлыми назвать. Белокурыми. Но не чисто. С какими-то серым отливом. И уши торчат, тоже правда. Но если рассудить спокойно, не такой уж это грех. У кого торчат, у кого, напротив, прижатые. Также нехорошо. А в общем-то для мужичины такие недостатки значения не имеют. Девчонке, женщине — да. Уши торчком — нехорошо. Но и то их, наверно, волосами можно прижать. Волосы подлиннее отстричь, узлом завязать — вот уши и прижмутся.

От Никодима Сережа к Гале почему-то переходит. Хорошо, думает он, у Гали вот уши не торчком. У нее вообще все как надо. Косичка сзади. Глаза... Он вспоминает Галины глаза.

Сережа смущенно хмыкает. Что это он о Гале думает? Уж не того ли... Не влюбился!

Раньше бы за такую идею Сережа сам на себя разозлился. А сейчас — странно — ему даже приятно это слово повторять. Влюбился... Хм... Влюбился.

Ничего такого Сережа не чувствует. Никакой любви. Просто думает об этом, но словно бы со стороны. Вот Понтя зимой влюблялся, так на уроках ничего не слышал. Всю промозгалушечками со стрелой изрисовал. Сереже ничего такого рисовать не хочется. Но он смотрит на себя в велосипедное зеркальце. Разглядывает свой профиль. Нос у него, пожалуй, широкий. Мама раньше говорила — отцовский нос. Она его вообще на две части делила. Нос, говорила, отцовский, а глаза ее. Ресницы тоже ее, у нее, когда девчонкой была, такие же пушистые были. Даже смотреть мешали. Сережа жмурит один глаз, другим на себя в зеркало смотрит.

Да, пожалуй, ему тоже ресницы мешают...

Эта мысль ему уже на земле приходит. Как очутился внизу, не помнит. Загляделся в зеркало. Вот черт, локоть саднит.

Сереза смущенно поднимает свой «ЗИЛ», оглядывает технику. К нему бежит мама — ее велосипед прямо на дороге лежит. Никодим отводит его в сторону, кледает рядом со своим, подходит к ним.

— Как это тебя угораздило? — смеется он.

Сереза пожимает плечами. Не признаваться же, в самом деле, что в зеркало заглянулся.

— Тебе шутики, — недовольно одергивает Никодима мама. — А у него кровь, видишь? Локоть разбил.

— Сейчас обеспечим, — говорит Никодим и приносит свой рюкзак.

Из фляжки он обмывает ссадину, смазывает ее йодом из дорожной аптечки. Серезе больно, он пискивает, но терпит. Перед малой одной и поревать еще можно было бы. А перед Никодимом срамиться нельзя.

— Перебинтуем? — спрашивает Никодим, но Сереза качает головой. Опять ему нравится Никодим. Без машинных сентиментальностей. Раз-раз — и готово. По-солдатски.

Они едут дальше. Проселочная дорога пуста, и они катятся рядышком. Никодим и мама. А с краю Сереза.

— Со мной однажды случай был, — говорит Никодим. — В армии я служил, назначили меня в наряд. Зимой дело было. Стою я у склада, карабин на плече висит...

— Заряженный? — спрашивает Сереза.

— Конечно, заряженный, — отвечает Никодим. — Ведь на посту! Ну, стою я, валенками притопываю, чтоб не околечить. А погода как назло. Ветер. Снег лицо сечет. Ночь. Одна лампочка у входа белеется. Хожу я, значит, как положено, вдоль склада. У двери чуть толпчусь. А служить я только начинал еще. Устав хорошо помнил. Если опасность — три раза предупредить, а потом и огонь открывать можно. И вдруг гляжу — под колючую проволоку, которой склад обнесен, кто-то пролезть пытается. Я притаился, не дышу, вглядываюсь. Так и есть. Кто-то в черной одежде перебирается. Уже на этой стороне. Ну, я карабин с плеча, кричу, как положено: «Стой! Кто идет?» Не отвечает. Вроде притаился. Снова кричу, гляжу: полез. В третий раз окликаю — шевелится. Ну, я в воздух — шар-рах!

— Выстрелил? — ужасается Сереза.

— Выстрелил. Потом целуюсь в нарушителя. Нажимаю спуск. И вдруг — грохот. Взрыв! Видно, попал не то что в диверсанта, а прямо в его мину. Или что там еще он волок.

— Ну? — нетерпеливо торопит Сереза.

— Ну, я прибежал начальство. Стали разбираться. Оказывается, у проволоки баллон оставили. Со сжатым газом. А снег и ветер его в моих глазах шевелили. Оптический эффект. Казалось мне, что он шевелится.

Сереза хочет, мама не отстает.

— Не смеется, — говорит Никодим, — надо мной без вас весь полк потешался. Кличку дали — «Бдителынь».

Никодим и сам беззаботно смеется. Это хорошо, думает Сереза. Мама ему говорила, что если человек над собой пошутить не боится, значит, он над другими смеяться не станет. Такому человеку можно смело доверять.

Никодим все больше симпатичен Серезе.

— А на войне вы были? — спрашивает он Никодима.

— У Никодима Михайловича имя-отчество есть, — строго глядит на Серезу мама.

— Вот пустяки! — обижается Никодим. И говорит серьезно: — Ты это, Аня, брось! Как Серезе захочется, так пусть и зовет.

Сереза нажимает педали, мчится вперед.

Ветер бьет ему в глаза. Он жмурится. И злится на маму. Что она, не может одна это сказать? Без Никодима?

— Сереза! — кричит сзади мама. — Подожди!

Сереза не тормозит, но и не крутит большие педали. Велосипед замедляет ход. Мама и Никодим догоняют Серезу.

— На войне я не был, — говорит ему Никодим, — хотя прорваться туда хотел. Даже сделал попытку. Мне, когда война началась, десять лет было... Но я об этом потом расскажу. Сейчас у меня предложение есть. Давай вот этот отрезок — до леса — наперегонки пройдем. Кто кого.

Сереза, улыбаясь, кивает.

— Но вы же не на равных, — напоминает мама.

— А мы устроим гандикап, — говорит Никодим. — То есть уравняем силы с помощью формы. Сереза, отъезжай вперед, к тому кусту... Вот, теперь на равных.

Мама слезает с велосипеда, снимает с головы козынку.

— Приготовились! — кричит она. — Внимание! Марш!

Сереза привстает с седла, всем весом наваливается на педали — даже цепь трещит — и мчится вперед, к невидимому финишу. Ветер звенит в ушах. Пахнет сладким клевером. Сереза мчится к лесу, косо освещенному падающим солнцем, и слышит шепот шин, взбивающих пыль...

2

Сереза бросает в огонь еловые ветки, смотрит, как они темнеют вначале, как валит от них густой дым — испаряются соки хвои, — потом ветка вспыхивает, и хвоинки изгибаются алой, раскленной стружкой. Звенящее комарье, как только ветки начинают дымиться, исчезает. Но потом появляется вновь, съездиво кружится за спиной, в тени, и Сереза опять бросает ветки.

Он слушает, о чем говорят мама и Никодим, а сам не может оторваться от костра, от огня, выглядывающегося в трепещущие его языки, и пламя кажется ему живым: оно прихотливо меняется, то опадая, то взлетая, и показывает Серезе странные чудеса — то красную, в прожилках, скрюченную руку, то косматый, ощерившийся лик, то крылья птицы. И все это мгновенно: секунда, и крылья исчезли, вместо них рыжая борода.

— Мне, когда война началась, — говорит Никодим негромко, — было десять лет, а в сорок третьем я решил уйти на фронт. Напустил немного сухарей, упер у матери две свечи — на всякий случай, спичек взял, чаю. Рассовал по карманам, чтоб без мешка ехать — для конспирации, влез каким-то чудом в поезд, который на Москву шел. — Никодим выхватывает из огня тлеющий сучок, протягивает маме, чтобы прикурила; сам он некурщий. — Ну, а правил тогдашних не знал. Доехал до Владимира, там проверка пропусков — в Москву по пропускам только въехать можно. Меня прихватили. В изолатор.

— А мы в войну, — перебивает его мама, — в деревню из города перебрались. К родственникам. В городе совсем голодно было. Летом еще ничего, летом крапиву собирали, щи из нее варили, а зимой невмоготу. Отец без вести пропал, у матери специальность — домохозяйка. Устроилась на завод грузинцей, а там железу таскать надо... Решили в деревню уехать. В деревне хоть тяжело, но все же еды хватало. Даже на тряпки потом меняли...

— Ну, а вы-то? — спрашивает Сереза Никодима и осекается. Ждет, что мама снова ему внушение

сделает. Но мама молчит, Сережа продолжает: — Как там дальше было?

— Никак. Доставили меня назад, — отвечает Никодим. — В тюремном вагоне, с решетками. Потом в милицию передали. Мать прибежала, не разбираясь, хлесть, хлесть меня по щекам. Думала, я с ворами связался, что-нибудь украл... Потом разобрались.

Сережа улыбается. Не отрывая взгляда от огня, говорит Никодиму:

— Что она у вас такая драчунья? — и добавляет: — А кто она?

Спросил Сережа просто так, механически, без интереса, потому что смотрел загнипнотизированно в пламя, разглядывая огненные фигуры и вовсе не обратил внимания, что Никодим замолчал и ответил лишь спустя минуту:

— Да так... Женщина...

Потом они пили чай, сваренный в котелке. Сверху, в кружках, плавали кусочки сгоревших хаюнок, тонкие полоски пепла, и Сережа отдувал их к краю кружки, обжигался вкусной, ароматной жидкостью. Никогда в жизни не пил он такого вкусного чая!

Мама прилегла, голову Никодиму на колени приложила. Никодим ее волосы тихонечко гладит. Сережа на них поглядывает. Он теперь не вздрагивает, когда Никодим прикасается к маме. Маме это нравится, тихая улыбка на ее лице бродит. Она о чем-то думает. Мечтает.

Никодим гладит маму по голове, играючи щекочет ей ухо травинкой. Мама, задумавшись, стряхивает с уха букашку, а она ее снова щекочет. Никодим подмигивает Сереже, он улыбается в ответ, мама ловит букашку, не догадывается, что ее разыгрывают. Они не выдерживают, оба фыркают.

Мама смеется, а Никодим начинает петь. Поет он неумело, сразу видно, что медведь ему на ухо наступил, но мама подхватывает песню, и получается уже лучше, Никодим под маму подстраивается.

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына.

Песня грустная, но Сереже вовсе не печально, ему хорошо, ему хочется прыгать, бежать куда-нибудь. Веселье его переполняет. Хочется ему и взрослых развеселить, сказать какую-нибудь шутку. Он вспоминает, когда они в младших классах Пушкина проходили, Понтя весь класс смешил:

Там царь Кощей по рынку бродит
И спекуляцию наводит,
Он банни там продает
И по полтиннику дерет...

Шутка, конечно, не для семиклассника — а он все же в восьмой перешел, — но ему дурить хочется, и взрослые его понимают: мама и Никодим улыбаются. Сережа видит: они довольны, и вскакивает с земли. Кричит по-дикарски. Звук получается пронзительный, непривычный, и это подхватывает его.

— Ого-го! — кричит Сережа.

— Ого-го! — кричит мама.

— Ого-го! — кричит Никодим.

Это объединяет их крики, отвечает по очереди Сережин мамин, Никодимовым голосом:

— Orol Gol Gol

Потом они спали. В стог!

Никодим раскопал подножие стога, уложил туда маму и Сережу и присыпал их сверху. Комары сюда не добирались, но Сережа все равно долго не мог уснуть: сено бесконечно шуршало, тут шла какая-то своя жизнь, может быть, без букашек, без живых существ, но ведь жизнь может быть и у предметов неодушевленных. Жизнь могла быть и у скошенной

травы, у этих миллионов пахучих, душно-приторных травинков.

Сквозь щелочки в сене Сережа разглядывал небо, громадное, бархатно-синее, со звездными россыпями. На небе, казалось, нет ни одного, даже крохотного кусочка, где не было бы мельчайшей звезды, и он подумал, что в мире всегда есть сравнимые предметы. Вот, например, огромное небо можно сравнить с этим стогом, совсем, в сущности, небольшим. И все-таки в стог, наверное, не меньше травы, чем на небе звезд. Траву эту скосили с целого поля, а для муравьев, к примеру, которые ходят вину, эта трава казалась бесконечным, необозримым лесом, самой большой величиной на земле. Сережа улыбнулся. Конечно, муравьи не смотрят на небо. Не видят миллиардов звездных россыпей. Они слишком малы, чтобы видеть высокое небо. К тому же по ночам они спят. Муравьи видят траву, ежи, может быть, лес, а Сережа, как всякий человек, видит небо. У каждого существа свои измерения, свой мир. Они не думают про Никодима, про маму, они, может, и матерей-то своих не знают, не привыкли знать. Но ведь радуются же и они чему-нибудь. И огорчаться, наверное, умеют. И боятся. И страдают.

Сережа закрывает глаза. Травинки шуршат, пахнут чем-то необъяснимо легким и удивительным.

Сережа засыпает и, кажется, тут же просыпается. Как быстро прошла ночь! Уже утро.

Перебивая друг друга, поют, трещат, заливаются неизвестные птицы в лесу. Над травой, рядом со стогом, кисея тянется туман.

Мама уже встала и собирает с Никодимом цветы.

Сережа видит, как они наклоняются и как бы ныряют в теплое молоко: наполовину исчезают за белой кисеей.

Солнце, похожее на медный блин, выбирается из-за тумана. Слово оно окунулось в него и теперь, умытое, выходит на работу.

Они едут дальше.

Рыбцы в колесах сливаются в серебристые круги. Шесть сверкающих на солнце кругов катятся по дороге, взбивая легкую пыль, выбираются на боковую, пропускают мимо себя урчащие самосвалы и стремительные легковушки, потом съезжают на тропку и неспешно серебрятся посреди ромашек, голубых колокольчиков, шлепающих лик иван-чая.

«Что такое счастье?» — думает Сережа и сам себе отвечает: — Счастье — это как сейчас!

3

Бабушка их не ждет.

Когда три велосипедиста подъезжают к ее дому, она копается на огороде и долго не понимает, кто приехал. Не может поверить.

Потом подходит, взглядываясь, осторожно подает ладошку Никодиму, маме, Сереже. Уж тогда говорит испуганно:

— Господи!

Бабушка отходит медленно, постепенно понимает, что произошло, и чем лучше понимает, тем чаще повторяет:

— Господи! Господи!

Бабушка ведет их в избу, тут же выводит обратно, крутит колодезную ручку, достает, расплескивая, воду в ведре, подает умываться.

Никодим скинул рубашку, голый до пояса, смеется, крикает зычно. Сережа ему подражает: вода ледяная, и он орет, дурнится, растягивается длинным полотенцем с красными пестухами по краям.



Замечательно все-таки кругом!

И бабушка улыбается — пришла в себя! — толстые губы растягивает, показывает ровные, будто у де-вушки, зубы, и морщинки по ее лицу плывут-расплываются.

Они сидят за длинным столом, потемневшим от времени, пьют холодное молоко, заедают медом и большими ломтями хлеба, похожими на кирпичи. Потом отдыхают.

— Это так, вперекуюсь, — говорит бабушка, волнуясь, и Сереже кажется, что ей вовсе не об этом хочется сказать. — Это так, с дорожки, — разъясняет она. — Сейчас курцу зарежу, будем обедать.

Мама, улыбаясь, гладит ей руку, говорит:

— Мама, Никодим — мой муж. Вот мы к тебе пока-заться приехали.

Бабушка кивает головой, хочет улыбнуться, но от-чего-то плачет, подходит к Никодиму, тянется к не-му — тот к ней не поддается, целует ее.

— Здравствуй, зятюшко, — говорит она, — здра-вствуй, золоток!

Мама отворачивается, хлопает носом, закурива-ет, смеется.

— Ну что, спрашивает, — довольна? Дождалась?

— Дождалась! — говорит бабушка и при Никоди-ме маму спрашивает: — А он какой? Не пьет? Не блудничаёт?

Мама смеется, качает головой, бабушка строгость меняет на улыбку и крестик издала Никодима.

Днем они едят наваристый куринный суп, солёные грибы, огурчики, капусту. В большом чугушке ды-мится молодая картошка.

После обеда мама гладит платье, Никодиму брю-ки, Сереже рубашу, и вчетвером, вместе с бабушкой, все идут вдоль деревни.

На лавочках, на бревнышках возле своих домов люди сидят. Семечки щёлкают, транзисторы слуша-ют. На бабушку с гостями глядят.

Одни просто кланяются. Другие встают, подходят за руку поддержать. Сперва с Никодимом, потом с мамой и с Сережей. С бабушкой за руку здоро-ваться не обязательно — она своя, тушюная, а гости всем интересны. Сережа заметил, лица у деревен-ских как бы бронзовые. Загорелые. Только морщин-ки на лбах, когда люди смеются, распрямляются и белеют.

Сережа себя на этой прогулке неловко чувствует. Слово зверь в зоопарке. Все на него смотрят. Разглядывают. Маму и Никодима разглядывают больше, и Сережа видит: им тоже неловко, но терпят.

— Э-э! — подходит лысый, но с косматыми бровя-ми старик. — Аняа голоногая приехала.

— Она самая, — отвечает мама, деда обнимает, а Никодиму объясняет: — Меня голоногой прозвали за то, что, бывало, и зимой без чулок в школу бе-гала. Нечего было надеть.

— Вот-вот, — говорит старик. — Бедовали крепко. Теперь, гляжу, оправились. Вон Евгения-то распу-хла, — кивает он на толстую бабушку. — Эх, кадушка! Бабушка старика шутя кулачком по лысине колот-ит, толкает, сама же смеется.

— Это он, старый лешак, забыть мне не может, что за него не пошла, вдовой осталась!

— Ага! — кивает старик. — А теперь пойдешь?

Все смеются.

— Идем! — шумит бабушка, берет старика под руку, и они впереди шагают. Старик балагурит, берет у мамы папирскую, курит. Колечки пускать пытается.

— А ты кто же по специальности-то будешь? — допытывается дед у Никодима.

— Экономист, — отвечает тот.

— Экономист! Хо! Бухгалтер, что ли?

— Нет, — смеется Никодим, — похоже, но не то.

Дед проводил их до конца деревни.

Деревня Сереже понравилась. Тополями за-росла. На плетнях глиняные горшки сушатся. Подсол-нухи из огородов головами машут.

Когда домой возвращались, колесный трактор навстречу попался. Тракторист, весь черный от ко-поти, возле них затормозил. Кепку снял.

— Ань! — говорит бабушка. — Не узнаешь? Двою-родный братеньник.

Мама охнула, трактористу руку подала, рассмея-лась, на ладошку погладила: вся черная.

— Валь! — кричит трактористу. — Приходи с гар-мошкой!

Под вечер полная изба народу собралась. Вален-тин с гармошкой пришел, играет. Мама частушки поет:

Я не знаю, как сказать,
чтоб судьбу с твоей связать,
чтобы путать — не распутать,
чтобы рвать — не разорвать.

Сережа и не думал, что у него столько родствен-ников. Двоюродные тетки и дядя. Дети их. Троюродные Сережины братья и сестры, значит. Один родственник Сереже пригласился. Парень постарше его. На лавочке скромно сидит, сколь-зкий огурец в тарелке поймать не может.

Надоело родственнику огурец ловить, встал тихо-нечко, вышел во двор. Сережа подождет для прили-чия, тоже вышел.

Парень столбик у крыльца подпирал. Сережу увидел, не удивился. Сунул руку в карман, протянул сигареты.

— Не-е! — испугался Сережа и оправдываться стал: — У меня мать смолит ужас как. Я поэтому табака не выношу.

Парень кивнул, солидно объяснил:

— Меня Коляшкой звать, — и спросил без перехо-да: — Ваша техника?

Велосипеды посверкали в глубине двора.

— Наша, — ответил Сережа.

— Сразу три велика? — удивился Коляка.

— Сразу три, — подтвердил Сережа, не вдаваясь в подробности. Предложил: — Хотите поворо-вать?

Коляка закатил одну штанну, вывел Сережин ве-лосипед на улицу, сел как следует, повила, едва не навернулся, но все-таки поехал и скрылся в те-ноте. Вернулся он не скоро, минут через десять, и по тому, как он торопливо слез, а потом стал многословно нахваливать велосипед, Сережа по-нял: все-таки навернулся.

«Ну и пусть», — подумал Сережа, — не жалко, все же родственники».

Родственник поставил велосипед в ограду, вышел на улицу, потоптался немного и вдруг сказал:

— Хочешь на тракторе прокатиться?

— А ты умеешь? — не поверил Сережа.

— Айда, — ответил Коляка и, не оглядываясь, по-бежал.

Трактор оказался тот самый, колесный, на котором ехал Валентин, и тут выяснилось, что Коляка — сын Валентина, а трактор научился водить в школе, у них есть уроки механизации, да и отец недаром тракторист.

Коляка уехал в сиденье, пристроил рядом Сере-жу, включил фары. Трактор затархтел, застрелял, рванул с места.

— А вдруг отец услыши? — крикнул, тревожась, Сережа.

— Не, — мотнул головой Коляка, — он гармош-кой себе все звуки заглушает.



Трактор вырвался за околицу, помчался по пыльной мягкой дороге.

— Как легковушка шпарит! — крикнул, шурясь, Колька. И вдруг свистнул протяжно, по-ухарски. Сережа засмеялся, приставил ко рту два пальца. Теперь они свистели вдвоем, и звук, смешанный с тракторным треском, получился ужасный. Похожий на вой доисторического животного.

— Колька! — крикнул Сережа симпатичному родственнику. — Давай в город приезжай!

— Я был! — ответил Колька.

— Нет, ко мне приезжай. Я тебе все покажу! В киношки походим! В зоопарк!

— Договорились! — крикнул Колька и повернулся к Сереже. Голова его в отраженном свете фар походила на круглого ежика.

Сережа рассмеялся. Ему захотелось сделать что-нибудь хорошее этому Кольке. Что-нибудь подарить, к примеру. Какое-нибудь сказать словечко, чтобы Колька понял его расположение, сердечность и дружбу.

Все ему нравилось в этот миг: и добрый родственник, который так лихо водит трактор, и пыльная дорога впереди, и мелькающие сбоку березы.

— Ну, так приедешь? — воскликнул Сережа.

— Железно! — ответил Колька.

Как приятно, подумал Сережа, узнавать новых людей. Вот вчера еще не знал он Кольку, даже не подозревал, что у него родственник есть. А сегодня у него прибавился еще один друг.

— По рукам? — крикнул Сережа.

— По рукам! — ответил Колька. И, повернувшись, протянул Сереже свою ладошку.

Пожать ее Сережа не успел.

Раздался треск, и он как был очутился во сне: под ним не было земли, он летел куда-то, летел долго и плавно...

4

Теперь Сережа — «самолет».

Левая рука торчит на отлете. От нее к плечам тянутся металлические мачты, обтянутые марлей. Рука гипсом укутана. Посмотришь со стороны — в самом деле одно крыло.

В палате, где он лежит, два «самолета» — он и молодой парень. «Пушкар» — серий дядька с мешками у глаз. Он сломал ногу и лежит на деревянной доске, а нога, как пушка, торчит вверх, прицепленная через колесики к тяжелому противовесу. Есть «Рыцарь». Шутейный мужик, балагур, дядя Ваня. Рыцарем он стал потому, что сел на подоконник спиной к улице, покачнулся, вылетел вниз с третьего этажа. Ладно, повезло, упал на клумбу — сломал только шею. Теперь лежит, закованный в броню от затылка до пояса.

Невеселая компания, что говорить.

Времени много, а девать его некуда. Придет врач с утра, постучит по гипсам, похмыкает, уйдет, ничего не сказав, а что тут скажешь, теперь время нужно, пока переломанные кости под гипсом в покое срастутся.

Сережа читает «Графа Монте-Кристо», толстый том — мама достала. Кино он смотрел, но книги вот не читал, а в ней, оказывается, поинтереснее. Потом товарищам своим новым пересказывает. Они внимательно слушают. Довольны, что Сережа время убит помогает. «Укокошить», — говорит дядя Ваня.

Он слово берет, когда всем все надоедает и уже невмоготу становится. Когда и «Граф Монте-Кристо» не помогает.

— Кхе, кхе, — начинает, — однако, вот выплывешь, в космонавты пойду. А что? — Сам себе удивляется. — Там мягкая посадка, а я и твердую испытал, возмущу...

От тоски да скуки больным любая шутка мила. Самая малая.

— Хотя нет, — говорит дядя Ваня. — Надо еще себя испытать. Этажа с десятого бы захнуть.

— Ты хоть испугаться-то успел? — спрашивает его Пушкар.

— Зачем пугаться, — отвечает Рыцарь, — я, может, к этому прыжку всю жизнь готовился.

У дяди Вани трое пацанов. И жена — худенькая, заматанная. Они приходят в конце дня: жена с работы забегают в магазин, потом за ребятами, и все вместе они приходят к отцу. Жена перед ним отчитывается долго, подробно: чего купила, куда ходила, кто из соседней чего сказал, как ведут себя дети — каждый в отдельности. Дядя Ваня делается серьезным, все строго слушает, потом внушительно разговаривает с пацанами — что как вести себя должен, — но под конец не удерживается.

— А то брякнетесь, — говорит, — как ваш папка, с третьего этажа. Да коли не на клумбу!

Сережа прискачет, жена балагура уходит, рассерженная, но на другой день они снова все вместе

являются с тощенькими гостинцами: яблоком или банкой компота.

Дядя Ваня работает на асфальтовом катке, делает дороги. Каток все-таки напоминает трактор, и Сережа рассказывает ему, как катался он ночью с дальним родственником, этим Колькой, как врезался в березу, и Сережа пролетел вперед метров на семь, пока не приземлился, потеряв память.

— Тоже, значит, легун, — родит его с собой дядя Ваня. А про память объясняет коротко: — Замыкание! У меня тоже было.

Сергей Пушкар хоть и смеется дяди-Ваниным шуткам, но осуждает его, когда тот из палаты по нужде выйдет.

— Балабол! — говорит он. — Болтать только и умеет.

— Откуда вы знаете! — возмущается Сережа. — Хе, — машет рукой унылый Пушкар, — да по специальности видать! На катках бабы работают. Это Сережу не убеждает. Ему дядя Ваня нравится.

Два раза в день — утром и вечером — к Сереже приходит мама. Она как-то изменилась, стала красивее. Лицо глаже — чуточку пополнела. Платья у мамы новые появились — цветастые, яркие. Туфли на высоких каблучках. А главное — улыбается все время.

— Ох ты, горящую мое, — говорит Сереже, а сама улыбается, и снова рассказывает, как тогда, после тракторной катастрофы, Сережу в районную больницу повезли. На большаке машину остановили и помчались. Пока до райцентра ехали, мама у шофера узнала, что он в город едет. Ну, вместе райцентра его сразу сюда доставили.

Так что свадбное путешествие закончилось быстро. Интересно, как у Кольки дела? Он маму спрашивал, она сказала, что трактор не сильно побилиз, только большая вмятина в радиаторе и фары вдребезги, а Колька отделался ушибами.

— Попало ему? — спрашивает Сережа.

Мама плечами пожмает, улыбается неопределенно.

— Наверное, — говорит, — немножко...

Сереже жаль Кольку. Он же знает: тот его катал от чистого сердца, в благодушность за велосипед.

Сережа просит, чтобы мама принесла список бумаги, ручку, она приносит, и он пишет здоровой рукой письмо:

«Колька, не унывай, я поправляюсь, ничего особенного, просто перелом, только чешется шкура под гипсом, но уговор дорожке денег, приезжай в город, как обещал. Привет!»

Мама придерживает листок, чтобы удобнее писать, потом читает послание.

— Ты не забыл? — спрашивает она. — Ведь завтра день рождения!

В середине июля у Сережи день рождения. Нынче ему четырнадцать лет. Как не повезло с рукой! День рождения — в больнице.

— Может, выпустят? — жалобно говорит Сережа. Ему хочется, чтобы день рождения дома был, чтобы позвать Понтию, Роберта из кружка. Может, позвать Галю.

— Не унывай, — отвечает мама и снова улыбается. — Что-нибудь придумаем.

Вечером Сережа засыпает не сразу. Долго возится на правом боку. Надоело ему на правом боку спать, до смерти хочется левую руку на затылок забросить, повернуться. Но левая рука вверх торчит.

Сережа ерзает, пыхтит, искомкал простыню. Нако-

нец притихает. Думает: что же завтра мама изобретет?

Но мама ничего не изобретает. Ее просто нет. Всегда два раза в день приходит — утром и вечером, а сегодня, в такой день, ее нет.

Сереза ест утреннюю больничную кашу, и обидно хмурит его лицо. Ему тоскливо, тяжело, не хочется никого видеть, даже балагура дядю Ваню.

А тот как назло старается. Мелет какую-то ерунду. Пушкарь и второй «самолет» ржут. Дядя Ваня умолкает, подходит к Серезе, садится рядом. Молчит. Протягивает яблоко.

Сереза смотрит на дядю Ваню, на Рыцаря в гипсовой броне, разглядывает его внимательно, словно видит первый раз, потом говорит негромко:

— Спасибо, дядя Ваня.

Тот хмурится. Черные брови съезжаются на переносице, соединяются в одну черную полосу.

— Между прочим, я тебя за умного мужика считала,—говорит— А ты кис. Думаешь, мамка тебя заблала? Дурак! Она потому и не идет, что помнит. Вот увидишь.

Настроение у Серезы поднимается. Он не отрывая взгляд от двери. Конечно! Что за сомнения! Мама придет, и не одна — с Никодимом, он просто уверен в этом.

Когда терпение начинает иссякать, дверь действительно открывается.

На пороге стоит Понтя во взрослом халате. Халат тянется по полу, рукава на Понте, как на пугале, висают вниз.

Понтя делает шаг в палату, и на пороге возникает Галя.

Сереза приподнимается, пораженный и смущенный.

Он чувствует, как начинают гореть щеки. Галя изменилась, пока он ее не видел. Глаза, кажется, стали еще больше и вообще... Какая-то совсем взрослая...

Сереза смотрит на Галю, но та тоже делает шаг вперед и уступает место Никодиму. Сереза приветливо машет ему здоровой рукой, ждет, когда появятся теперь мама, но вместо мамы в палату входит Котыка, за ним тетя Нина и Олег Андреевич в своей форме.

Вот это да: столько гостей сразу! Сереза теряет, ему нужна помощь, и помощь приходит. Это мама. Она стоит на пороге нарядная, с новой прической.

Все поздравляют Серезу, жмут ему руку, балагур и второй «самолет» норовят выжить, смущенные таким числом гостей, но мама их не выпускает; они сдвигают кровати, застилают газеткой, потом чистой скатертью — мама принесла ее с собой, — и из авосек выгружаются еда. Жареная курица, помидоры, огурцы, большая миска со смородиной, пышный, узорчатый торт.

— По всем правилам! — кричит Понтя, втыкает в торт четырнадцать тонких елочных свечек и зажигает их.

Все замолкает на мгновение, глядя на горящие свечки.

И тут вдруг Олег Андреевич говорит очень торжественно:

— Серезный возраст, Сереза. Теперь в комсомол вступать надо.

В комсомол! В комсомол когда вступают — это ведь совсем всерьез, это уже взрослая жизнь. Сереза задумывается, кивает головой, и ему чутко страшно становится, будто теперь надо сделать что-

то важное, взрослое или сказать какие-то особенные слова.

Но слов он не выберет никак. Его мама выручает. — Вот придет осень, — говорит она, — и в комсомол вступит. Вместе со всеми.

5

Через неделю после Серезино дня рождения второго «самолета» выписали, а дядя Ваня сделал новую операцию. Что-то у него не так срасталось.

— Это надо же, — говорит он, покрываясь липким потом, серая, но все-таки улыбаясь. Второй раз шее сломали и снова составили.

От боли он курит, пуская дым под одеяло.

Тогда, в день рождения, когда ушли гости, дядя Ваня спросил Серезу:

— Какой отец-то? Миллионер?

— Нет, другой, — ответил он и оскеся.

Выходит, называл Никодима отцом!

Сереза задумалась. Выходит...

Ему стало грустно. Как он быстро от отца отказался... Давно ли Никодим к ним пришел? Третий месяц... Три месяца назад Сереза его ненавидела, а теперь относится хорошо, привык. Может, даже любит?

Сереза думает о Никодиме, вспоминает про сладкое путешествие, как они в стогу ночевали, как на заре Никодим собирал с мамой цветы, а еще прежде, у костра, гладил ее голову, цекотал уху травинкой.

Раз мама любит Никодима, значит, и он любит ее. Выходит, так? И выходит еще, что Сереза должен любить его. Должен считать отцом?

Сереза думает про измену, про страшную измену, которую он совершил. Вот он согласился, что Никодим — его отец. И этим как бы предал отца настоящего.

Отец у Серезы — летчик, он этим всегда гордился. Хотел быть похожим на него. Модели клеил. А теперь... Теперь что же выходит?

Он прикрывает глаза, пытается вызвать в памяти неизвестное лицо отца — то похожего на Чкалова, то с улыбкой Гагарина, то как те, в высотных костюмах. От усилия Сереза даже сжимает веки. Но не выходит... Это ужасно, не выходит. Он клянет себя последними словами, шипит за ногу, но у него ничего не получается. Три месяца, всего три месяца назад отец снился ему ночами — пусть с разными лицами, но снился, а теперь он видит во сне что угодно, всякую чепуху, но отца нет. Нигде нет. Ни во сне, ни в памяти.

Мамины улыбки начинают раздражать его. Ему противны ее яркие платья, прическа, каблук. Он смотрит исподлобья, когда она приходит, и хмурится. Мама спрашивает, что с ним случилось, шутит, пробует расшевелить, но Сереза от этого только больше раздражается. Потом говорит негромко, чтобы не слышали соседи:

— Ты все забыла?

— Что забыла? — удивляется мама.

— Про меня. Забыла, да?

Мама трясет головой, не понимает никак.

— Кем я буду, — говорит он и видит, как мама грустнеет.

— Нет, — отвечает она. — Помню. Я звонила в кружок. У них скоро соревнования.

— Когда? — приподнимается Сереза.

— Могу уточнить, — обещает мама.

Сереза припоминает новый самолет, управляемый

по радио, который они вместе с Робертом начинали, припоминать запах казеинового клея и тишину, которая бывала в кружке.

Что ж делать, отца нет, и нет его карточки, чтобы знать и помнить лицо. Но есть его дела. Есть авиация. И авиамодельный кружок!

Сереза ловит пристальный мамин взгляд. Она разглядывает его строго, как взрослого, который сказал серьезную вещь. Глаза ее не улыбаются — смотрят широко, удивленно, как тогда.

— Я все помню, — говорит она ласково. Неожиданно добавляет: — Но и ты помни про меня.

Сереза не понимает этих слов. Что она хочет сказать? Что он не помнит про нее? Очень даже хорошо помнит. Разве забудешь? Разве забудешь хотя бы день рождения?

Он вздыхает, мама уходит, оставив, как обычно, вкусных гостинцев, после которых больничная еда кажется ужасной. Сереза идет к хмурому «пушкарю», к балагуру дяде Ване, угощает его, читает «Графа Монте-Кристо», подает им лекарства, какие положено. Вечером тушит свет: он теперь один в палате ходячий.

А потом у него снова праздник.

Спусти несколько дней утром вместо мамы приходит Никодим. Он достает из авоськи сверток. Сереза смотрит с любопытством: что там вкусенького? Но Никодим достает не еду, а Серезины брюки.

— Одевайся скорей, — улыбается он, — едем!

Сереза знает: выписать его не могут, пока не снят гипс. Волнуясь, надевает брюки, не спрашивая ничего, оттягивая вопрос, потому что ответ, судя по виду Никодима, будет приятным.

И все-таки не выдерживает:

— Куда?

— На аэродром, — отвечает Никодим.

— Зачем? — удивляется Сереза.

— Твои соревнования! Едва врача уговорили — только на два часа.

Сереза подпрыгивает от счастья! Никодим помогает натянуть брюки, набрасывает на плечи спортивную куртку.

Они идут вниз. Там ждет такси.

— Заедем за Котькой, — говорит Никодим. — Тетя Нина просила.

И вот они вместе с Котькой и с Никодимом летят по асфальту, за город, и вот уже из-за кустов видно аэродромную мачту с полосатой колбасой, по которой определяются направление и сила ветра; потом появляются ангары с полукруглыми крышами, — двери у них открыты, и в ангарах темнеют похожие на этажерки АНы.

Еще из машины Сереза видит красный стол судейской коллегии и выстроившихся в шеренгу ребят. Перед каждым на траве стоит модель. Модели разноцветные, и оттого кажется, что на зеленой траве переливается радуга.

Сереза выбирается из машины. Его гипсовый «самолет» привлекает внимание шеренги, ребята разглядывают его, он видит, как кто-то машет рукой. Роберт! Это он!

— Привет рекордсмену! — кричит Роберт.

Сереза машет Роберту, кивает знакомым ребятам. Он чувствует за спиной дыхание Никодима, и он счастливы.

Пусть Никодим увидит его самолет! Пусть он узнает, кем будет Сереза.

Сереза думает об этом без иронии, без превосходства. Просто Никодим должен знать это, вот и все.

— Что ли, ты летчиком будешь? — спрашивает Котька.

— Может, летчиком, — отвечает Сереза, — а мо-

жет, конструктором. — И предлагает Котьке в порыве счастья: — Давай и ты!

— Давай, — соглашается Котька. — Но я еще не решил, кем буду. Может, диктором, может, сыщиком, а может, и летчиком.

Они отходят в сторону. Садятся в траву. Стрекочут кузнечики. Всплескивают крыльшками красные и белые бабочки. Зеленое поле спортивного аэродрома только кажется зеленым. Оно цветное. Оно алеет, голубеет, желтеет, и Серезе после больницы, после духоты и противного запаха лекарств дышится освобожденно, легко.

Он улыбается Котьке и валит его здоровой рукой на землю, борется с ним, благодарно смотрит на Никодима.

— Никодим Михайлович, — спрашивает Сереза, — а вы что же, с работы отпросились?

— Отпросился, — говорит Никодим, — у мамы срочная запись, она не могла, и я договорился.

Сереза вновь вглядывается в него, в который раз за многие эти месяцы. Да нет, Никодим замечательный! Он добрый человек, а добрые люди — всегда замечательные. И глаза у них добрые, открытые, и лицо прямое, светлое. У Никодима все такое. И уши тут ни при чем. Уши у людей могут быть всякие. Даже должны!

Сереза садится рядом с Никодимом, прижимает к себе Котьку.

Потом, подумав, тихонько прислоняется к Никодиму спиной.

Никодим обнимает его за плечи. Сереза прислоняется к нему посылней.

Ему хорошо.

Просто великолепно!

В поле урчат моторчики самолетов. Резут, форсируя обороты.

Одна за другой модели взлетают в вышину, чтобы сесть потом в поле.

У кого дольше летает, у того, значит, лучше модель. Надежней фюзеляж, легче крылья. У того вернее глаз и умнее расчет.

Ведь в каждом лишем метре, который пролетят модели, целая зима работы. Сереза знает, почему фонт модельного лиха. Строишь самолет долго, а он в последнюю минуту не летит. Отказывает мотор. Или плохо отцентрован корпус. Сколько горя потом, обиды. Хочется бросить все, растоптать ногами самим же сделанную птицу.

Модели взлетают, а Сереза переживает за каждую.

Тов ровно идет, набрала высоту, значит, все в порядке. Моторчик стрекочет в тишине, потом замолкает. Кончается бензин. Но модель не падает. Она летит и летит плавными виражами. Это воздух. Восходящие потоки. Невидимые струи воздуха не дают упасть модели.

Сереза осторожно трогает руку Никодима. И вдруг слышит шепот.

— Сергей! — шепчет ему, наклонясь, Никодим. — Сереза! Хочешь быть моим сыном?

Сереза резко оборачивается к нему.

— Как это? — говорит он. — Как?

— Я тебя усыновлю. Ты будешь мой сын...

Сергей смотрит на Никодима широко раскрытыми глазами. В них испуг, смятение, сомнение, радость, познание.

Но все, что вокруг: аэродром, модели, летающие в синеве, Никодим, Котька, солнечное тепло, — это реальное счастье, необходимое, как воздух, заслоняет все остальное.

— Хочу! — говорит он Никодиму. И повторяет жарко, словно в омут бросается: — Хочу! Хочу! Хочу!

Август. Духота. На листьях тополей и акаций толстый слой пыли: давно не было дождей. Сереже сняли гипс. Рука срослась замечательно. Только малость похудела, и надо ее разрабатывать.

Каждый день Сережа ходит в кабинет лечебной гимнастики. Шевелит пальцами, сгибает и разгибает руку, крутит ею. А остальное время — на реке.

Вместе с Понтей они ныряют в маске и с трубкой, бурлят воду ластами. Выныривают, отплывавшая, засекают на счет, кто дольше под водой пробудет, кто дальше пронырнет не дыша.

За лесом, над спортивным аэродромом, прыгают парашютисты. Сережа видит, как медленно, старательно урча мотором, АН-2 поднимается над верушками сосен, и от него отрывается черная точечка. Всплывает парашют, другой, третий, лес проглатывает их, а самолетик снова ползет в небо и опять бросает парашютистов.

Сережа стоит по пояс в воде, смотрит, как мелькают в прозрачной воде Понтейны ноги, и опять думает об этом, опять, опять...

Это было все тогда же, в тот замечательный день во время авиамodelных соревнований. Сережа был счастлив, бесконечно счастлив, и еще Никодим сказал свои слова... Сережа согласился. Не было никаких сомнений, впрочем, что говорить — он и теперь согласен, но дело не в том.

Тогда, на авиамodelных соревнованиях, произошло еще одно событие. И Сереже стало стыдно за Никодима.

Все случилось словно бы нарочно. Модели взлетали одна за другой, наконец настала заветная минута: на старт вышел Роберт с их новым самолетом.

Сначала все шло нормально. Роберт крутанул пропеллер, мотор заверещал пронзительно и отчаянно. Самолет пошел плавно в высоту.

— Видите! — кричал Сережа Котыке и Никодиму. — Видите!

Красный самолет смело разрезал воздух, потом неожиданно пошел резко вверх, почти вертикально пошел, видно, заело элероны, — звук мотора сделался надрывным, дребезжащим, самолет нехотя вывернул наборк и вдруг пошел вниз. Прямо на них.

Сережа глядел на красный самолет, толкая рукой Котыку, но Котыка не уходил — им кричали что-то, и тут Сережа почувствовал, что теряет опору. Он повалился. Ядром раздалась треск, и все стихло.

Сережа увидел красный самолет, воткнувшийся в траву, бегущего к нему Роберта.

А потом — Никодима.

Он стоял метрах в двадцати позади Сережи и Котыки, растерянно оглядывался и чертыхался. Сережу словно ударило: Никодим убежал! А их оставил! Сережа сидел, навалившись на Никодима, а потом потерял опору...

Они скоро уехали в больницу — пришла пора возвращаться, — и чем дальше отъезжали от аэродрома в подвнузшемся «газике», тем больше Сережа стыдился: ведь Никодим бросил их, испугавшись за себя!

Времени прошло уйма — целый месяц. Сережа из больницы выписался, плавает вот с Понтей, но как напомним ему что-нибудь про аэродром — модель или парашютисты вот эти, — так он сразу вспоминает испуганное, растерянное лицо Никодима.

Конечно, если подумать, можно ли винить Никодима? Что мог он сделать тогда? Прикрыть их собой? Как прикрошь? Ляжешь, что ли, на них? Вторую руку Сереже сломал бы. А потом психологически обя-

яснить можно: им же кричали. Сережа не опомнился, и Котыка не сообразил, а Никодим среагировал. Вскопчил и убежал. «Бдительный».

Сережа вспоминает смешной рассказ Никодима про то, как он баллон расстрелял и как солдаты его прозвали.

Сережа старается забыть странный случай. Тем более Никодим ему сказал такие слова... Но не забывается. Слово заноза в голове засела...

Нанярившись досыта, Сережа и Понтей идут домой и рассуждают о подводном плавании.

— Мой отец, — говорит Понтей, — может минуту под водой просидеть.

— А дед, наверное, все пять, — ехидничает Сережа. Ему надоело, что Понтей каждую минуту то на деду, то на отца ссылается... «Мой дед!», «Мой отец!».

Понтей дуется. Молчит. Молчит и Сережа. Ему неловко. Вот сказал, а вышло будто по злобе. Ему тоже хочется сказать: «Мой отец!» Но он не может.

Чтобы загладить свое глупое ехидство, Сережа хочет сказать Понтей про Никодима. Про то, что тот его усновить хочет. Он уже совсем решает рассказать это Понтей, но что-то удерживает его в последнюю секунду.

«Усновить, тогда скажу», — решает он, хлопает Понтей по плечу, и ему радостно оттого, что Понтей молчал, сдержался. Что оказался сильным сам перед собой. Сдержаться вообще труднее, чем сболтнуть.

С Понтей Сережа прощается у дома. Прыгает по скрипящим деревянным ступенькам, придерживает дверь на сильной пружине, чтобы у соседки мозги не вылетели, входит в комнату, оглядывается, глазам своим не верит.

У стола сидят Никодим, мама и — господи! — Литература.

Сережа застывает на пороге, ничего не может сообразить.

— Здравствуй, — первой здоровается Вероника Макарова.

— Знакомся! — говорит Сереже Никодим. — Это моя мама.

Мама! Сережа неловко роняет на пол ласты, нагибается, чтобы поднять, лихорадочно соображает: значит, Литература — его мать? Он вспоминает приезд Никодима. На другой ведь день Никодим шел с Литературой по улице. Но Сережа тогда не задумался, почему: знакомые, и все, мало ли! И вот, оказывается, Литература — Никодимова мать и его, Сережи, на, родственница.

Он поднимает ласты, выходит на кухню, долго мылит там руки и все не может прийти в себя.

За столом ему неловко, он глядит в стакан, потеет и думает о том, что пришел домой рано, надо было еще погулять.

Взрослым, похоже, тоже неловко, они молчат, бранят ложечками в стаканах с чаем.

— А ваш голос, — нарушает молчание Литература, — я часто слышу. Приятный голосок...

— Ничего, — сдержанно отвечает мама. — Специалисты хвалят. Слово «специалисты» она произносит с ударением. Сережа поглядывает на нее. Лицо у мамы вежливое, но не доброе. Он приглядывается и замечает, что мама сидит напряженно, неестественно прямо. И голову подняла гордо. Сережа переводит взгляд на Никодима. Тот растерянно глядится в никелированный чайник.

«Зачем уж она так», — думает он про маму и размышляет о Литературе. Что бы мог он сказать про свою учительницу? Вообще-то мнения о взрослых у ребят не спрашиваю, к тому же об учителях. Но хоть не спрашиваю, мнение имеется. Одних учителей любит, других — нет, а Вероника Макарова —

никакая. Вернее, обыкновенная. Только ругается часто, что ребята ее предмет не любят. Русский, мол, понятно, там правил много, а литературу — почему? Как интересно: Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Действительно, почему! Но не любят, это верно. И неизвестно, за что.

А вообще Литература обыкновенная. Вот только из-за каблучков выглядит чудачкой.

И не вредина она никакая, не злая, зря мама с ней так говорит.

Снова слышен звон ложек в стаканах, опять молчат взрослые. Вероника Макаровна снова первой заговаривает, будто маму приступом, как крепость, берет.

— Вы должны меня понять, — говорит она вкрадчиво, — наши судьбы очень похожи, я потеряла мужа в войну, Никодим рос тяжело...

Сереза видит, как напряглась учительница, как волнуется она и как неприступна мама. «Нехорошо это, — думает он, — негостеприимно, — и пугается посвоему: — Вот будет теперь Литература двойки из-за этого ставить!»

— Не женился он долго, мне хотелось, чтобы все у него было хорошо, понимаете? Как следует!

— Понимаю! — говорит мама злым голосом. — А вышло не как следует! — И вдруг наклоняется к Веронике Макаровне, спрашивает ее мягко и ехидно: — Кто вот только меня помет?

Вероника Макаровна заливается краской.

Сереза не очень понимает, о чем это они так странно говорят, но чувствует, что разговор всем неприятен.

Ему хочется, чтобы взрослые перестали так говорить, хочется перебить их, отвлечь чем-нибудь. Растерянность у него уже прошла, и, хотя радоваться не приходится, что его учительница оказалась еще и родственницей, ничего ужасного пока не произошло. И маме надо было повзвизывая разговаривать с Вероникой Макаровой.

Сереза ерзает, придумывает, что бы ему сказать подходящее к моменту, и вдруг для себя неожиданно бухает невпопад:

— А Никодим Михайлович рассказывал, как вы его ремнем лупили.

Сереза краснеет, понимая, что ничего он не улучшил, наоборот, только испортил, и Вероника Макаровна сейчас встанет и уйдет, он хочет добавить какие-нибудь слова, объяснить подробнее свою мысль, но только терзается от этого и подавленно молчит.

Вероника Макаровна испуганно глядит на Серезу, не понимая, в чем ее обвиняют, и вдруг улыбается: — Это когда он на войну уехал!

Никодим оживает, перестает глядеться в чайник, благодарно смотрит на Серезу.

Вероника Макаровна объясняет:

— А я в тот момент ничего другого придумать не могла. Била, а сама боялась: вдруг снова воевать ударят?

Сереза тоже улыбается: слава богу, что Вероника Макаровна его поняла, и еще хорошо, что мама уже сидит не напряженно и злое выражение сошло с ее лица. Теперь разговор идет обыкновенный, простой.

Никодим рассказывает, что маме обещают дать в Октябрьском квартиру в новом доме.

Вероника Макаровна участливо кивает головой, близоруко, как в классе, щурится, оглядывая комнату и соглашаясь с тем, что новая квартира, несомненно, нужна.

А мама смотрит в стакан, и лицо ее измученно, устало, расстроено.

Наверное, ругает себя за свои же слова. Такая уж она, мама.

К Октябрьским квартиру не дали.
Но это ничего не значит. К Новому году непременно дадут.

По вечерам, после работы, мама водит Серезу и Никодима к их дому. Дом уже есть. Он построен. В нем даже горят огни. Правда, пока огни освещают мутные окна, измазанные белилами. Рабочие белят потолок, красят полы.

Мама притопывает сапожками, смеется весело, валит Никодима в сугроб.

— Скоро! — кричит. — Скоро в ванне будем мыться, под душиком плескаться! Хватит в баню ходить! Надоело!

Никодим барахтается в снегу, Сереза толкает в сугроб маму, хочет ее тоже посадить в сугроб, но Никодим голосит:

— Осторожно! Осторожно!

Сереза оставляет маму в покое.

Сначала он никак не мог понять, в чем дело? Почему мама с ним все о Котье заговаривает:

— Как тебе Костик тети-Нини, нравится?

— Мировой мужик, — отвечает Сереза. — Мыслители! А что?

— Ничего. Такой проказник. К ним ремонт пришли делать. Маляры принесли бочку с золотой краской — цветы на стены наносить. Так он в этой краске вывозился, приходит и хвастается: «Я золотой!»

Сереза смеялся.

Известное дело, Котья. Что-нибудь да выдумает. И мамини слова буквально принимал. Нравится ей Котья, и только.

Это еще летом было. Но потом, к осени, мама что-то поправляться стала. И уже в открытую разговаривать принялась: кого бы Сереза больше хотел — братика или сестренку?

Сереза сперва чуть не заплакал от обиды. Без него решил! А теперь спрашивает!

Он себя почувствовал одиноким, бездомным, ненужным. Мамини такое решение ему казалось предательством, жестоким эгоизмом. Он дулся, не разговаривал. Мама Серезу разглядывала с любопытством. Потом подвела итог:

— Это потому, что ты один всю жизнь рос. — И прибавила, подумав: — Представь только, будет у нас братишка. Такой же забавный, как Котья.

Сереза подумал. Ну, если как Котья — куда ни шло. А через несколько дней сам над собой смеялся. Ну, если даже не как Котья, чего особенного? Или если девочка, то что?

— Ладно, — сказал он маме, — рожай кого тебе хочется. На твоё усмотрение.

Мама расхохоталась. Потом сказала:

— Девочку хочу! И мальчишка!

Теперь уже Сереза смеялся:

— Жадная!

— Жадная, — кинула мама, — жадная, Сергунька! Хочу, чтобы много детей у меня было. Ведь дети — это для женщины счастье! Это ее продолжение, понимаешь? Дети — продолжение человеческого. Вои будут у тебя дети, а у твоих детей еще дети, твои внуки, а у тех еще — правнуки твои, и так вечно!

Мама вообще очень переменялась. Грубо не говорила. Курить совсем бросила.

— Это им вредно, — говорит мама и кивает на себя. Шутит: — А то еще родится да вместо соски запросят папироски.

Стихи получаются! «Вместо соски запросят папироски».

Вообще смеются они часто. Вот и теперь. Вытащи-ла мама с Сережей Никодима из сугроба, вытерла слезы от смеха и говорит:

— Не к добру это! После смеха всегда слезы!
— Тишун тебе на язык! — говорит Никодим. — За-дали!

Дом, в котором дадут маме квартиру, стоит перед ними важно, осанито. Сережа даже немного робеет перед ним, представляет, какая будет у них кварти-ра, какую купят они мебель.

Он вспоминает, как бабушка, приезжая, укоряла маму, что живет она не как люди, что нет у нее квартиры, приличной обстановки и вообще... Мама от-вечала ей: «Значит, не задалась твоя дочка». А по-том гоняла по комнате табачный дым.

Как изменилось все, думает Сережа. Будет теперь у них хорошая квартира. Но и это не главное. Ма-ма — счастливая, вот что важно. Ничем не отличишь ее теперь от тети Нины.

«Дурак, — тут же клянет он себя. — Какой я дурак был! Ведь если бы Никодим к нам не пришел, ни-чего же не изменилось, так бы и осталось все, как было».

Он обзывает себя дураком, хвалит Галю за то, что уму-разуму научила, думает о Новом годе, каким он будет.

Еще счастливее?
Конечно, счастливее!
Так и выходит, как Сережа думает.
Ключи от квартиры им дают в три часа. Тридцать первого! А в двенадцать — Новый год.

Мама примчалась домой на такси, ворвалась ру-мяная, веселая. В руке железный ключик высоко держит. Слово волшебный, золотой. Никодим за спиной посмеивается.

— Собирайся! — кричит мама Сереже. — Летим!
Они летят в такси, их на каждом шагу пытаются остановить — все торопится, времени мало, но ма-шина мчится, круто руля, норовя носом врезаться в сугроб.

— Потихи! — кричит мама шоферу. — Мы в новую квартиру еще не въехали! Да и вообще! На тот свет не торопимся! У нас на этом еще дела есть!

Шофер улыбается, разглядывает маму — в пуши-стом зеленом берете, с помпешечкой, — говорит не-ожиданно:

— Что-то, извините, мне ваш голос знаком.
— Знаком! — важно надуваясь, отвечает мама. — Каждое утро слушаю! Какую я вам погоду объяв-ляю.

— Нет, правда? — удивляется шофер. — Вы, что ли, и есть Воробьева?

— Ветер умеренный, до сильного, — говорит, чуть меняя голос, мама. — Температура в области минус пятнадцать, в южных районах минус двенадцать. В городе ожидается малооблачная погода. — Она смеется, не выдерживает, шофер мотает головой.

— Как это у вас получается? — спрашивает шо-фер. — Учились где?

— Самоучком!
Потом они бегут по лестнице на пятый этаж. Дом пятиэтажный, без лифта.

— Тяжело будет ходить! — говорит Никодим.
— Ни чер-та! — бושует мама.

— Тебе будет тяжело, — кричит ей вслед Нико-дим. Она обогнала их на целый марш. — Да осторож-нее! — сердится он. — Сумасшедшая! Куда летишь!

— К небу! — шутит мама. — Выше, к небу!

Дрожащей рукой поворачивает мама ключ в од-ну, распахивает ее, скинув сапожки, бежит в одну комнату, потом в другую. Возвращается молча, едва дыша, и бросается на шею Никодиму.

Он ее подхватывает осторожно, кружит на месте. И вдруг мама плачет.

Никодим отпускает ее. Мама садится на пол, слезы градом льются из глаз.

— Боже мой! — говорит мама. — Подумать только! И все это мое! — Она показывает на Сережу: — И ты! — Смотрит на Никодима. — И ты! — Разводит ру-ками, обхватывая квартиру. — И это!

Она плачет и тут же смеется и вытирает ли-цо пуховым беретом, размазывая краску с рес-ниц.

И Сережа неожиданно замечает: лицо у мамы, только что радостное, вдруг делается усталым. Слово мама долго-долго шла по какой-то дороге и вот пришла, села. Все в ней опустилось, оборвалось.

Она пришла к цели.

8

Вечером они сидели на матрацах, разложен-ных на полу, а посредине большой лист ва-мана. Это стол. На нем вина и закуски. Кро-ме матрацев, ничего перевести не сумели, да не беда! Не беда, что на окна занавесок нет, что ма-ленькая лампочка, голая, без абажура, едва осве-щает комнату: главное — есть новый дом. И есть елка.

Ее Олег Андреевич принес.

— Котыкина инициатива, — сказал серьезно. — Это он предложил свою елку вам отдать. И игрушки притащил.

У Сережи игрушки есть, но они остались в старой комнате, про них забыли в суете и хлопотах, а Котыка молодец. Пыхтит, тащит большую картонку. Они развешивают игрушки и гирлянды с цветными лампочками, включают их, и в доме сразу настает праздник.

— Ур-ра! — кричат гости.

До Нового года еще полчаса, и мама вдруг пред-лагает:

— Хотите, прочту стихи?

Все хлопотят ей.

— Их записали на пленку, — объясняет она, — ско-ро передадут. Но радио нет, я вам сама прочитаю. Наступает тишина.

Мама стоит коленками на матраце. Лицо ее свет-леет. Она говорит:

— «Как выпить солнце!» Владимир Солоухин...

Немного молчит.

Профаны.

Прежде чем съесть гранат, —

Резжут его ножом.

Гранатовый сок по ножу течет,

На тарелке — красная лучина.

Мы

Гранатовый сок бережем.

Сережа разглядывает гостей. Тетя Нина смотрит на маму во все глаза, будто впервые видит. Олег Андреевич, напротив, уперся взглядом в пол и ду-мает о чем-то. Еще Виктор Петрович, звукоопера-тор — тот дядька с маминой работы, — волосы у не-го столбом, похожи на серый дым. Он пришел с женой, румяной и толстой, — у нее щеки, как две булки. Хорошо, что все на матрацах сидят, ей бы и двух стульев не хватило. Улыбается, внимательно слушает маму.

Теперь осторожно мы мнем и мнем

Зерна за радом ряд.

Струи толкуют под кожурой,

Ходят, переливаются.

Стал упругим.
Стал мягким жесткий гранат.
Все тише, все чуточку ладнее рук
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг —
Это с гранатом случается...

Стреляет пробка. Врезается в потолок. Рикошетит по Котке.

— Вот чудеса, — говорит он задумчиво, — вино пьет взрослые, а достается мне.

Ну, Котка, ну, мыслитель! Все чокаются.

— Ур-р-ра! — надывается Сережа. — Ур-р-ра! — Он торжественно зажигает бенгальские огни, передает их гостям, гасит свет. Мерцают на елке разноцветные огоньки, брызжут сверкающие цветы, мама ползет на коленках к гостям и всех целует: тетю Нину, Олега Андреевича, седого звукооператора, его жену. Мама роняет рюмки, вскрикивает, а Никодим говорит ей:

— Аня! Аня! Осторожней!

— Ну как же! — кричит ему мама. — Как же не выпить, не порадоваться! Такой день, — и грозит ему пальцем: — Смотри, не забудь. Тридцать первое декабря.

...Тридцать первое декабря. Потом первое января. Сошлись два года в одну ночь. Забавно все-таки. Еще минуту назад старый был год. А через минуту — новый. Никакой паузы, никакой остановки. Одна секунда Нового года, пять секунд — и пошло, поехало... Целый час прошел. Потом незаметно — день.

Январь для любого школьника счастливо начинается — ведь каникулы. Сережа ходит в кружок. Теперь он свою модель делает. Самостоятельно. Роберт его только консультирует, чтобы не вышло ошибки, как в прошлый раз. После кружка Сережа на лыжах катается. На троллейбусе едет до конца маршрута. Там горы. По субботам он с собой Котку берет. Когда едут домой, Котка от усталости засыпает, привалившись к Сереже. Сережа обнимает его, старается не шевелиться и представляет, что это он едет с братом. Коткина мохнатая шапка усыпана снегом, в троллейбусе снег превращается в капельки, а сверху Котка похож на мокрого, жалкого щенка. Нежность к нему разливается в Сереже.

Он знает: это нежность к будущему брату. Или сестре...

После Нового года мама вся в хлопотах. Она занята денег у тети Нины и Олега Андреевича, носит-ся по магазинам.

Сережа приходит домой, а в квартире новый шкаф блестит лакированными дверцами. Потом появляется диван. Стол со стульями. В маленькой комнате две деревянные кровати.

Дом обрастает вещами, и Сереже нравится каждый вечер помогать Никодиму и маме. Мама дает указания — ей на стул, к примеру, теперь не забираться, да и ни к чему — на стуле стоит Никодим, он цепляет к потолку новую люстру, присоединяет провод, вкручивает лампочки. Мама щелкает выключателем, лампочки сияют в матовой оправе люстры, тихо бренчат стеклянные висюльки...

Мама расстраивается из-за холода: ей обещали его достать, но вот не выходит; расстраивается из-за каких-то покрывал, и он удивляется — какая она стала! Всегда была равнодушна к вещам, а теперь даже расстраивается.

— Ты это зря, — объясняет он маме. — Тебе волноваться нельзя.

— Верно, — соглашается мама.

Она уютно усаживается в уголке дивана, вооружается иглой и начинает возиться с распашонками, простынями, чепчиками. Сережу удивляет, что все это имущество такое крохотное, простынки, к примеру, чуть больше носового платка.

Мама тихонько бубнит под нос песенки, улыбка блуждает у нее на лице. Вдруг она негромко охает. Сережа испуганно спрашивает:

— Что с тобой?

— Ничего, — загадочно говорит мама, радостно смотрит на Сережу и зовет: — Хочешь малышку погулять?

Ничего не понимая, Сережа подходит к ней, мама прижимает к себе его голову.

Сережа внимательно слушает. Тихо. Только гулко, как колокол, бьется мамино сердечко. И вдруг кто-то шевелится там. Кто-то тукает.

Часть третья

РОДСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА

1



вот настает пора.

Никодим бежит на улицу ловить такси. Сережа подает маме шубу. В мохнатенькой старой шубке мама, как колобок.

Потом они заезжают за тетей Ниной. Оказывается, и Олег Андреевич с Коткой тоже дома. Машина набивается битком, водитель ворчит, но все же везет.

В больнице, в приемном покое, когда они входят, становится тесно. Мама шутит, целует всех по очереди.

— Ни пуха ни пера, Аннушка, — говорит ей тетя Нина.

— К черту, — отвечает мама, ненадолго уходит, потом появляется новая: в больничном халате с широченными рукавами. Она отдает узел с одеждой.

— Плате-то принесите поуже!

Тетя Нина смотрит на нее зачарованно.

— Не бойшися?

— Нет! — беспечно отвечает мама.

Она чокает всех в последний раз, идет к двери, распахивает ее, машет отдуру рукой. Потом манит к себе Сережу. Он послушно идет, и вдруг мама обнимает его крепко.

— Ну что ты, мам, — отбивается Сережа, — ну что ты!

Он силой освобождается от ее объятий, делает шаг назад.

— Возвращайся скорей! — говорит он приветливо. — Рожай, кого хочешь, и поскорей обратно!

Мама кивает, губы у нее дрожат, но она астрихивает головой, закрывает за собой дверь.

Открывает ее снова.

— Никодим, — говорит она запоздало, — маму не забудь вызвать. И кроватку купи.

Компания вываливается на улицу, топчется на снегу. Наконец, все видит маму в окне на третьем этаже. Она показывает четыре пальца и шевелит губами.

Четвертая палата, ясно. Они машут ей, Котка даже обеими руками. Потом медленно идут, оглядываясь.

Сережа вздыхает. Ну что ж, это на несколько дней. Скоро мама вернется с братиком или сестрой, надо вот только купить кроватку.

Взрослые вместе с Коткой идут впереди. Сережа замедляет шаг. Возникает странное желание: быстро добраться до угла и посмотреть, стоит ли мама возле окна.



Он мчится назад. Возле угла, скрывающего больничку, замедляет шаги, высовывается осторожно. Выходит..

Мама смотрит на Сережу, не узнавая, потом понимает, что это он, и машет, машет рукой — быстро, отчаянно, будто стоит на пароходе, который отплывает.

Сережа прикладывает ладонь к губам. Воздушный поцелуй. Так учила мама в детстве.

Мама отвечает ему. Сереже становится легче. Он машет рукой в последний раз и бежит обратно, догоняя остальных.

Взрослые говорят о кроватке, обсуждают, где ее купить, оказываются, это nepocтo, тетя Нина предлагает выйти в «Детский мир». Кроватку там, конечно, нет, но тетю Нину узнает продавец — все-таки теледиктор, выясняет, что и почему, просит минуточку подождать, куда-то исчезает.

— Слушай, — смущенно говорит Олег Андреевич, — мы с Котькой отойдем, пожалуй. Неудобно.

Тетя Нина отвечает ему шутливо:

— Эх ты, угрозыки! А кроватку сыскать не можешь! То, что не способен сделать страх, делает любовь!

Олег Андреевич машет рукой, отходит, продавец вылакивает деревянную, затанцованную бумагой кроватку. Никодим бежит платить в кассу, на продавца набрасываются какие-то люди, ругаются, почему одним можно, другим нельзя, но продавец отвечает:

— По заказу, граждане, не шумите. Диктора Воробьеву знаете? По радио говорит. Так это ей. Сегодня родила.

Никого мама еще не родила, и вообще как-то все выходит неудобно, но в глубине души Сережа доволен. Во-первых, кроватка все-таки есть, а во-вторых, никто же не начал кричать: знать не знаем никакого диктора. Значит, знают. И тетю Нину сразу рассмотрели. Больше даже не ворчали, значит, все в порядке.

Тетя Нина спешит на передачу, а Сережа и Никодим — домой. Олега Андреевича и Котьку они не отпускают. Пьют чай. Смотрят по телевизору на тетю Нину.

— Хорошо, что у меня мама в телевизоре слушает, — говорит глубокомысленно Котька. — Сама на работе, а все равно дома.

— Сегодня у нас музыкальная компания, — говорит Олег Андреевич. — Прямо клуб джентльменов... Интересно, укрепит наш клуб Аня? Или поможет женской фракции?

— Пусть женской, — говорит Сережа. — Не жалко. Нас и так вон сколько!

Но выражение «Клуб джентльменов» ему нравится. Действительно, одни мужчины. Вообще не все мужчины бывают джентльменами, это известно. Но у них-то? У них все. Котька вот, к примеру, настоящий джентльмен. Честный человек, к тому же философ! Олег Андреевич — угрозыск. Кому джентльменом быть, как не ему? Никодим? Подумаешь, Сережа присединает и Никодима к джентльменам. Конечно, как же еще! И поздно вечером вспоминает об этом.

Когда, проводив Олега Андреевича с Котькой и поспав телеграмму бабушке, они вернулись домой, Никодим сказал, смеясь:

— Помнишь, Сережа, у тебе на аэродроме сказал?

Сережа молчит. Что за вопрос? Конечно, помнит. — Давай так договоримся. Когда мы маленького регистрировать понесем, и с тобой все устроим.

Сережа кивает. Он согласен, что ж. Одно только кажется ему странным: почему так долго Никодим не говорил ничего? Аэродром был в августе, теперь март. И мама ни разу не сказала. Ведь она должна

была сказать? Может, Никодим маме не говорил? Потому догадывается: конечно, не говорил. Он маме приятный сюрприз готовит. Сережа кивает Никодиму, улыбаясь ему. «Настоящий джентльмен».

Он думает, как будет звать Никодима. Папа? Отец?

Представить это Сереже трудно, никогда никого не называл он отцом. Его отец был в памяти, вернее, в воображении — такой летчик в его воображении был отцом. А тут надо было назвать этим именем Никодима.

Погасив свет, Сережа долго не может уснуть. Он представляет, как вернется мама — это будет, наверное, через неделю, — как закутаны они маленького в теплое голубое одеяло с кружевными пододеяльником из приданого, которое приготовила мама, как они поедут в загс, где все про людей записывают, как вернутся оттуда уже совсем новые.

Все — новые. И мама — у нее теперь два ребенка, и Никодим — он станет отцом двоих детей, и Сережа, потому что у него будет отец. И, естественно, маленький — кто там появится, все равно, мальчик или девочка. Он тоже новый. Самый новый. Потому что недавно родился на свет...

Утром Сережа просыпается в темноте. За окном свистит пурга.

Он одевается. Март. Мартовские метели. Но ничего! Скоро опять каникулы. Весна!

В школу Сережа приходит с красным лицом — оно иссечено ветром и снегом. Но настроение у него прекрасное. Ему хочется всем рассказывать про себя, про свой дом, про Никодима, про маму.

Он встречает в коридоре Галю.

— Галь, — шепчет он восторженно, — вчера маму рожать отвели.

— Поздравляю! — говорит Галя. — Кого загадал?

— Все равно, кто будет, — отвечает Сережа.

Начинается урок, а Сережа все никак успокоиться не может. Шепчется с Понтей. Сосед тычет его локтем. Хвалит:

— Молодец!

Будто Сережа отличился.

Уроки идут, сменяя друг друга, тягуче тянется время. Сереже хочется, чтобы скорее прозвенел последний звонок. Он сразу побежит в больницу. Может, он узнает новость. Хочется первому ее узнать...

Последний урок — литература, и Сережа поглядывает на Веронику Макаровну с хитрой улыбкой: знает она или нет? А если не знает, будет ей сюрприз. Ведь этот Сережин братец для Литературы не чужой, внук.

Он задумчиво глядит на улицу, по которой, взвывая снег, носится ветер, и слышит стук.

Стучат в дверь. Класс с любопытством настораживается. Кто-то хихикает. Вероника Макаровна, кивая на кабинку, открывает дверь.

— В чем дело? — говорит она строго и отступает. В класс входит тетя Нина. Ее все узнают, шутя, каются.

Тетя Нина входит в класс, ищет глазами Сережу и говорит:

— Идем! Скорее идем!

Сережа хватает портфель, думает радостно: кто все-таки? Мальчик? Девочка?

И вдруг он видит, что лицо у тети Нины белое. И белые губы.

— Сережа! — говорит она, и слезы катятся у нее по щекам. В классе повисает тишина. Все поражены. Еще бы! Вдруг приходит известный диктор и плачет. — Сережа! — говорит тетя Нина. — Мама умерла!

(Продолжение следует.)

Олжас Сулейменов



Черное и красное

Fas! — высшее право в римском законодательстве.

Fas est — «все дозволено». Римские полководцы посылали солдат на варварские города, вооружив легионы этим кличем:

Fas! — погружайте клики: мир для вас, Fas! — на чужую жизнь и имущество

нет запрета, рас- человеческие это.

И вспыхнули в Риме XX века скрепленные молнии фразы — Fas est!

Да, первый философ в черной рубашке был лингвист.

В наследство от предков ему достался варварский мир

[он был историк], он в черной рубаше, он против черных [он был истерик]. Нам все дозволено! Даже логика, и аналогия, и право помнить — волчицей вскормлены Ромул и Рем, и повторяются из века в вечность лбы их пологие и волчья серость, овечья бледность и бедный Рим.

В любви не признаются на латыни, не ссорятся, не спорят на латыни, когда вы были молодыми, о вас не говорили на латыни. Латинским звуком вас не отпевали, латинским словом вас не обрекали, пощупав пульс, врачи не говорили

¹ Ist — глагольная форма в немецком языке, соответствующая латинской esto.

той фразы, что пугала в старом Риме — Fas est!

А это значит, дело бренное, ешь напоследок

жирное и пряное, пей коньяки, пусть это горько, больно, ты обречен,

и значит — все дозволено! Жизнь коротка, пока живешь — Fas ist! Пока не ляжешь, на груди скрестив худые кисти, облачайся в черное, гуляй, фашист!

...Но есть под Брестом, есть один окоп. Избитый пулями

багровый бруствер, залитый кровью фас веселых пруссий... и мой не защищенный каской лоб. Нерв обнажен, открыто сердце там, туда мои пути, дороги, тропы, и где б я ни был,

я — в окопе том. Последний мой рубеж меня торопит.

Весна в пустыне

1. В феврале [да, кажется, в феврале] пустыни превращаются в красное море. Маки.

В марте пески покрываются травами, даже верблюжья колючка, еще не колючка — мягка, зелена, и мясистые листья росой на изломах исходят. В мае зной выжигает траву до песка и виднею овечьих помет в раскаленной пыли.

И лишь зеленый чай на доньшке пнал напоминает мне, чтоб я не вспоминал. И черная вода на дне сухих колодцев напоминает мне, что мир и желт и ал.

2. Парит коричневый орел, приветливо качая клювом. Я возвращаю, я приобрел вновь мир, который меня любит. Оцепенев, глядит змея, стесняется.

Здорово, поле! Любимой тушканчик за меня и жизнь готов отдать и боле.

Нет лишнего в драме, все — на сцене, и знает даже воробей: мир без него неполноценен. Поддакивает скрабей.

Он ходит задом наперед,
мой жук навозный,
его любят,
его никто не упрекает,
случайно разве что наступят.
Спокойно здесь и без вина,
без отрицания былого.
Встречаются, как слух и слово,
сливаясь в вечность, времена.
В песках неспешности закон
увековечен черепами,
здесь понимаешь: прав Зенон —
мы не догоним черепахи.
И потому живи, любви,
не торопи заботой вечность,
прямая — это только Пи,
направленная в бесконечность.
И не пытайся измерять
круг

суммой абсолютных чисел,
и не пытайся все понять,
постичь времен сокрытый смысл.
Слезами лет орошены,
овеваны столетий пылью,
мы плохо выучены былью,
легендами развращены.
А за Отаром — поезда —
надежда, радость и отчаянье,
Не дай мне, боже, опоздать,
закономерно ли, случайно.

Леонид Завадьников



Солнечная соната

Давным-давно на небо не гляжу.
Ликует май или пурга кружится,
По тени, что от прошлого ложится,
Я без труда дорогу нахожу.
Давным-давно на солнце не гляжу...

Душа моя — кусты прибрежных лоз,
Трав колдовских невянющее цветенье.
Я знаю: росы сделаны из слез
Того, кто до меня вот так же шел за тенью.
Вон там он проходил с сумой наперевес,
Как по живому, по земле ступая,
И из лесу, ему наперерез,
Вдруг вышла осень, листья осыпая.

И он вздохнул и вспомнил все, чем жил,
И, растворяясь в радужной хворост,
Костер из горькой таволги сложил
И до утра сидел, причастный к вечной жизни.

Он вспомнил города, сгоревшие дотла,
Войны далекой обгабренный хворост
И то, как жизнь нажать на скорый тормоз
Хотела вместе с ним,
Да не смогла...
Страдание состраданию равно,
Но можно ль вечно сострадать далеким!
И спел он славу молодым и легким,
Задорным, как игристое вино.
Их буйный хмель животворяще свеж.
Жизнь нами помнит,
Ими — совершает.
И если память дереву мешает,
Как ветку дикую, нагни ее и срежь.
Жизнь нами помнит. По труду и чести.
Ушедшее... Что может быть дороже!
И все-таки, друзья мои, и все же
Былого нет, а будущее есть!
И что с того, что мы не видим в нем
Ни места своего, ни песен, спетых нами.
Они волюются в кровь и станут снами,
Спокойным и негаснущим огнем.
И в том огне грядущие века,
Коль будет их на то добро и воля,
Увидят этот день
И это поле
И свой привет пошлют издалека.
Его я ныне слышу, как призыв,
Как в беге дней разлитое внушение,
Взыскав града, не делить призы
Меж правдой чувств
И правотой свершений.

Не богоравны ни добро, ни хлеб,
Ни тень слезы, ни озаренье смеха.
Открой глаза, певец и пахарь века:
На солнце — вот единственная вежа —
Смотри, смотри, покуда не ослеп!



Я с веселым уловом
На свиданье бегу:
Я сегодня заметил
Преломление света
В той хрустальной среде,
Что снега отделяет от лета,
Я атлет, а не старец
И не стариться долго могу!
Я несу эту весть,
Через поры метро прошиваясь,
Прохожу сквозь людей,
Как проходит сквозь ткань
Заблеставшее тело иглы...
Вдруг беда —
На каком-то стежке
Я душой ошибаюсь,
И на нитке прозренья
Возникают большие узлы.
Люди любят тебя,
Но не любят, когда ты
Пронosiшь мимо,
В слепшие локти расставив
И на радостях ноги топая.
Ты атлет, а не старец!
Это все очень мило.

Преломление света!
 Но зачем ты толкнул Кузьмича!
 Что он сделал тебе —
 Этот тихий старик,
 Твой приятель!
 Или эта вот девушка,
 Кроткий весенний цветочек!
 Тот, кто в радости малой
 Вызывающе так неприятен,
 Тот, наверное, в счастье
 Беспредельно жесток.
 И они весь твой путь
 Превратят в бесконечную пытку.
 Не от зависти, нет,—
 Чтоб себя от вторжений спасти.
 Не распутывай узел.
 Оборви эту нитку.
 Кто бежал по ногам,
 Тот не мог откровенье найти.
 Вот когда ты и вправду
 Отыщешь большую идею,—
 Ты не двинешься с места,
 Дорога сама поплывет.
 И, не зная о том,
 Вместе двинутся с нею
 И попутчики жизни
 И те, кто навстречу идет.

Черновик

Двухтысячный закат багрово тепл, как труп,
 Вдыхала над столом рассыпавшая лира.
 И он сидел и добывал свой многолетний
 труд —
 Немыслимый проект переустройства мира.

Там было все о будущем —
 О том,
 Как примирить планеты, поколенья,
 Как избежать войны и перенаселенья...
 На множество страниц лежал готовый том,

И не хватало только одного — вступленья.
 Все нужных слов не находил поэт.
 И вот, отчаявшись, он снял со стенки лиру
 И вдруг легко сложил простой сонет.

В котором удалось ему, идя за сердцем
 вслед,
 Сплить воедино оду и сатиру.

В застывшее «люблю» введя живую злость,
 В единый круг замкнув неведение и знание,
 Он выстроил из слов таинственное здание,
 В котором горько и легко жилось.

То был тревожный гимн сегодняшнему дню,
 Отнем мечты пылающий, как осень.
 И, пригладившись к этому огню,
 Сонет он принял,
 А проект отбросил.

От радости труда торжественно суров,
 Он обязал своей фоллиант бечевкой
 И бросил в темный угол за кладовкой,
 Туда, где издавна хранил черновики стихов.

Алексей Рогов



Следы

У кромки вечернего неба
 короткий привал облаков.
 На кромке последнего снега
 глубокий провал каблучков.

Следы продвигаются к роще
 и где-то сливаются там,
 на тоненькой, черной дорожке
 к другим примыкая следам.

Их медленно талые воды
 точить начинают сперва,
 и дымящую легкую дремоту
 окутаны все деревья.

А к ночи ударят морозцы,
 следы, словно гипсом, застынут,
 покуда, весны знаменосцы,
 худые грачи не галдят.

И мир создается весенний
 в свечении тающих льдов,
 расчерченный тенями теней,
 покрытый следами следов.

Проездом

Уезжаю, а прощаться не с кем —
 в городке не нашёл я друзей.
 Что поделать — парнем компанейским
 никогда не стану, хоть убей.
 Поезд подплывает к полустанку,
 на платформе ранней никого,
 лишь грызет на лавочке баранку
 мальчуган постарше моего.
 Я к нему с приветом обращаюсь
 [хорошо, хоть к детям я привык]:
 дай-ка я с тобою попрощаюсь,
 ты хороший, кажется, мужик.
 Распрощаться запросто легко нам —
 ни тоски, ни грусти никакой.
 Он бежит вприпрыжку за вагоном
 и усердно машет мне рукой.
 Солнце, сосны поезд окружают.
 Я в вагонном ласковом тепле.
 Города бывают и чужие,
 дети — все родные на Земле.

Абдулла Даганов



Перевел
с аварского
О. ДМИТРИЕВ.

Родина и мать

(Из стихов о войне)

В каком ущелье, сам не знаю,
Лежу в траве, сраженный, я,
И бьется моря синь сквозная
О скал гранитных острия.
Лежу я, кровью истекая,
Здесь, на неведомой земле.
Стервятники, крыльями сверкая,
Ко мне снижаются во мгле.
Мне берег видится за далью,
И горской женщины рука
Оттуда машет пестрой шалью,
Подобной свету маяка.
Плыву. И узкой полосой
Земля наперерез волне!
Став на песок ногой босую,
Я вижу: мать идет ко мне.
Она склонилась надо мною,
К груди прижала, обняла,
Одежду и кушину с бузою,
Печально глядя, подала.
Прошел озноб, и боль забылась,
И слышал я, как все сильней
Мое большое сердце билось
В груди у матери моей!
Еще бузы хмельная пена
Белела на моих губах,
Как предо мною встал мгновенно
На берегу родной Карах:
Аулы бронзовой чеканки,
Сады, зурны чуть слышный гуд —
В тот самый час, когда горянки
Рассвет с ладоней смуглых пьют!
Смеясь, соседка наливала
Сынишке в кружку молока...
Так близко Родина стояла,
Ярка, сурова, высока!
В каком ущелье, сам не знаю,
Лежу в траве, сраженный, я,
И бьется моря синь сквозная
О скал гранитных острия.
Теперь я не застыну в страхе,
Услышав посвист черных крыл —
Я мысленно в родном Карахе
У матери любимой бы!
Знакомых рук прикосновенье,
И речь ее, родная мне,

И сердца гулкое биенье —
Совсем как в детстве, в полусне...
Вновь закипели
Силы в теле,
Я снова смог оружие схватить
И в бой пошел. И знал —
Глядели
Вослед мне Родина и мать.

Владимир Щучков



Парашютист

Волненьем челюсти светло,
летит к земле, как камень,—
но за спиною, как крыло,
взметнется белый пламень!
Наполнит ветром купола,
на поле пыль запляшет...
И медсестра, белым-бела,
ромашкой с поля машет.

Доктор Нина

Не доходят сюда поезда,
самолетик почтовый далек.
Ну какая шальная звезда
ослепила тебя, мотылек!
Ветер губы твои опалил,
а потом все равно улетел.
Был мужчина, берег и любил —
оказалось, скучал и жалел.
Ты сомненья сомненья в кулаке,
но в светящихся тонких сетях
перепелкой в забытом силке
умирает красивый сентябрь,
пропадает в степях без следа,
словно дождик, невнятный почти.
Доктор Нина, ты так молода! —
ты его не сумеешь спасти.
И у самой последней черты,
вырываясь из смертных тенет,
он увидит в стакане цветы,
цепеная, «спасибо» шепнет,—
а его ослепит белизной
сквозь стеклянные двери палат
ленинградский еще, выпускной,
твой отчаянно белый халат.



ВЛАДИМИР
КОЗЫРИН

БЫЛО ТРУДНО

Рисунки
Игоря СУСЛОВА.



Тяжелая для нашего завода картина: участок реконструируется без остановки производства. За серыми заградительными щитами вспыхивают ослепительные молнии электросварки, брызжет огненный горюх. Пулеметная дробь пневматических зубил, вой гайковертов, грохот жести, змеиное шипение клепально-сварочных аппаратов. В нос бьет горьковато-кислый душок. В беспорядке валяются ржавые обломки железа. А сбоку, пощелкивая ячейками ведущей цепи, степенно движется консьер: тут «делают программу».

Ко мне подошел парень в брезентовке, испачканной солидолом, в надвинутой на самые глаза белой монтажной каске с козырьком. «Слесарь-сборщик, а в брезентовке и в каске», — отметил я про себя.

— Маршагин?

— Точно! А что дальше? — с вызовом спросил парень.

— Да вот интересно, как тебе удалось добиться первенства в соревновании, — сказал я.

— Газетчик? — Лицо Маршагина сморщилось.

— Нет, — успокоил я его. — Я мастер из соседнего цеха. Хочу поучиться.

— Все ясно, начальник. Значит, дело было так. Перешел из передовой бригады в отстающую. Ну, как Гаганова... Понял? Привет родным! — Он помахал мне рукой.

«Парень с гонорком», — подумал я, но не сдаваться же. Я пошел с ним рядом.

— Хочу поучиться. Серьезно...

— Тут вот тоже серьезно! — Маршагин вынул из кармана заводскую многотиражку и прочел: «Ветер развевал его кудри...» А где они у меня? — Он приподнял каску, и я увидел жесткий, слегка примятый бобрник. — Или вот: «Как-то в театре ему пришла идея...» А я давно не был в театре. Возможно ли, рационализатор и не любит театр?.. Ну уж какой есть! Не люблю театр. Вот кино, книги...

Я знал уже о нем кое-что. В цехе про него говорили разное. В бюро кадров: «Маршагин-то? Он с приветом, все ему не слава богу, вечно что-нибудь отчебучит!» В комитете комсомола: «Парень что надо, напористый, энергичный. Горяч, правда!» В бухгалтерии: «Деньги любит». В партбюро: «Парень деловой: о производстве думает, рационализировать, старательный. Трудяга. Но в обиду себя не даст. И принципиальный. Мы его скоро думаем в кандидаты принять...»

А до этого он сменил несколько заводов и городов. Чуть ли не летуном числился. В Ярославле, на одном из заводов, в ответ на просьбу мастера остаться на работе сверхурочно, вскричал: «Не пойду! И другим не советую. Вы штурмовщину устраиваете. Напишу об этом в «Правду!» И ушел домой. Ему этого не простили. Вспомнили, что и раньше отказывался работать сверхурочно. И тут же ярлык приклеили: лодырь, бездельник. Вспомнили, как он когда-то резко разговаривал с работниками другой галтерии. И как рассказывал рабочим из другой бригады о случившемся на участке. В результате появилось в трудовой книжке традиционное: «По собственному желанию».

Потом были Кандалакша, Стерлитамак, Ростов, Одесса. В Москве задержался проездом: узнал, что на нашем заводе можно устроиться. Решил зимой подработать денюжат, а к лету перебраться в родной Новосибирск.

— Никогда бы раньше не поверил, что так получится. Вот мы говорим: соревнование. Сколько я ра-



ботал до этого, столько раз слышал о соревновании, а ведь никогда не думал, что благодаря соревнованию стану рационализатором!

В семьдесят первом году это было.

На заводе летом всегда рабочие требуются. Хотел Маршагин сразу к испытателям, но попал в механико-сборочный, на участок мелких серий. Бригада была в общем-то неплохая, но не нашел общего языка с мастером. Собрался было уже уходить, но тут назначили нового мастера — Петра Ивановича Милованова.

Тот дела повед круто: начал сразу с вопроса о соревновании. Собрал бригаду, спросил у каждого, что какое брал личное обязательство. Многие не знали. Писал за них обязательства прежний мастер. Не звал своего обязательства и Маршагин.

— Вот вам поручение на дом, — сказал Милованов, — каждому продумать и написать личное обязательство своей рукой и в понедельник утром принести мне. Только прошу не писать по трафарету. Прежние ваши обязательства — словно под копирку. И еще: без глупостей, без самоочевидного. Вот, например, такого: обязуюсь не нарушать трудовой дисциплины, не опаздывать на работу, не совершать прогулов, обязуюсь выпускать продукцию только хорошего качества. А кто ее примет, продукцию плохого качества?.. И еще один бич: неконкретность. Маршагин берет обязательства сэкономить электроэнергию, смазочные материалы, бережно относиться к инструменту. А сколько сэкономит? Ведь можно и двадцать киловатт сэкономить и сто пятьдесят. Короче, обязательства должны быть конкретные.

— Сыты по горло! — крикнул кто-то.

— Верно! Выдумали волонку! — поддержал Маршагин.

— А вот с тебя-то я и начну! — сказал мастер. — Прямо сейчас садись и пиши...

Прежде редко занимался этим делом Алексей Маршагин. Даже не знал, с чего начать. Однако с «шапкой» справился быстро: «Обязуюсь отлично трудиться...» А дальше?

— К какому числу выполнишь план?

— К 27 декабря.

— А это почему?

— Все так пишут...

— Да, но бригада-то выполняла прошлый годовой план к десятому... А в этом году, выходит, все вы снижаете темпы.

Алексей хотел было возразить, но подумал: «Один черт, через два месяца сбегу, буду писать все, что скажете».

— Теперь пиши: «Обязуюсь сэкономить двадцать киловатт электроэнергии и ввести одно рациональное предложение по увеличению производительности труда».

— Ну, ты уж извини-подвизься — этого я писать не буду. Какой из меня рационализатор? Я в школе-то еле-еле тянул.

— Ты нормальный человек?

— Допустим...

— Каждый рабочий может стать рационализатором. Это уже доказано. Стахановым можешь ты не быть, но ввести предложение по улучшению условий труда или лучшей организации производства обязан.

— Да какое ж это обязательство, товарищ мастер? Это принудилровка!

— Пиши дальше: «Обязуюсь не превышать лимита по рекламациям, снизив их на 10% по своей позиции...»

— А что я буду иметь от этих обязательств, а? Вам-то они для галочки нужны, а мне зачем?

— Затем, чтоб тебя человеком сделать, чудило!

Подходил к концу месяц. Мастер готовился к подведению итогов. Но бригаду, в том числе и Алексея, это почти не волновало. Они уже привыкли к обычному ритуалу: скучное собрание, на которое придется не больше трети ребят бригады. Мастер зачитает список лучших, на его взгляд, рабочих. Эти же передовики обычно официально становились и победителями в соревновании по участку. Все. Ни премии, ни почета. Звание «Лучший по профессии» обычно давали по очереди всем, чтоб не обидеть кого.

Новый мастер все построил по-иному...

На собрание по подведению итогов заставил прийти всех до единого. На участке стало известно, что на подведении итогов Милованов пригласил членов комитета комсомола, бухгалтерию, плановое бюро, цехком.

— Для чего это? — удивлялись люди.

— Для дела. Больельщики нужны. Знаете, когда на стадионе мало болельщиков, игроки хуже играют. Так и тут. Надо, чтоб подведение итогов было ярким, торжественным... Сомдавая аудитория настраивает на серьезный лад.

А тут еще выяснилось, что на собрание мастер пригласил даже четырех девчат с других участков.

— А их-то зачем? — спросил преддехкома Холодов.

— Вот эта, в красной шапочке, — подрута Маршагина, а рядом с ней — Шебунина. А Шебунина заняла первое место. Пусть ему будет приятно. И ей почет.

— А на каком же месте Маршагин? А на четвертом? Да вы что, он же уйдет, если бы это при дивчине скажете...

— Все будет в ажуре. Он сибиряк, парень самодовольный. Когда его заденет, начнет состязаться по настоящему.

...Собрание по подведению итогов прошло бурно и интересно. На первом месте оказался Виктор Шебунина, слесарь-сменщик. Это немножко подстегнуло Маршагина. Кто победил? Середячок. Да он же никогда больше 110 процентов не вытягивал!

Постановили: за победу в соревновании по участку наградить слесаря-сборщика Шебунина Виктора бесплатной путевкой в дом отдыха, выдать ему денежную премию в размере 50 рублей и занести в цеховую Книгу почета.

Красный уголок загремел аплодисментами, все встали. Алексей, открыв дверь, помчался в общежитие.

Утром с мастером не поздоровался.

— Ты чего надулся-то? — подошел Милованов.

— Тоже мне нашли передовика! Да я его всегда могу причислять!

— А чего же не причисла? Болтология... А ты знаешь, на сколько ему варяд давали?

— Рублишек, наверно, на двести, — усмехнулся Алексей.

— А двести восемьдесят не хочешь?

Маршагин нервно выдернул из кармана яркую пачку сигарет, закурил...

На свидание к своей Кате в тот день Алеша не пошел. Что-то не очень радостное для себя высмотрел он в ее глазах, когда они переглянулись на том собрании...

Через неделю мастер объявил:

— С завтрашнего дня у нас на участке начнем выдавать ежедневное подведение итогов, в которых будут указаны заработок рабочего и процент выполнения нормы за день и с начала месяца. Там будет графа с указанием процента, который вам нужно сделать, чтобы выполнить свое социальное. Вчера в цехоме согласились еще с одним моим предложением. Теперь победитель соревнования за год получит право передвигаться в очереди на квартиру.

Это сообщение многих подзадорило.

— Соревноваться будем по десятибалльной системе, — продолжал мастер. — За каждые пять процентов перевыполнения нормы — лишний балл. За внедрение и применение интересных приспособлений, повышающих производительность труда, — еще пять баллов. За отличное качество работы — четыре. Если человек учится, — единичка обеспечена. И, конечно, за культуру производства, если нет замечаний со стороны инженера по технике безопасности и начальника хозяйских, добавляется два балла. Чтобы не было ненужного ажиотажа (социалистическое соревнование — это не состязание наперегонки, это прежде всего взаимная помощь), будем делать так: Иванов, например, умеет продвигать операцию, экономю против нормы десять секунд. Так вот: если он откроет свой секрет и обучит прогрессивному приему других, ему начисляется пять баллов сразу на три месяца вперед. Ясно?

— Нет, не все ясно, товарищ мастер! — поднялся Маршагин. — Допустим, я или кто-то другой окончит техникум, а работать останется здесь. Учиться дальше вроде уже некуда: у него за плечами техникум. А другой учится в 9-м классе, и ему — балл, а у кого диплом техника — ничего? Несправедливо.

— Пусть учится в школе передового опыта — будем ставить балл. И учтите: у кого в школе будет за месяц без уважительных причин более трех пропусков — балл снимается. Я сам буду проверять.

На другой день на участок привесли первые итоги по соревнованию. Милованов стал их зачитывать. И почему-то начал с Маршагина.

— Итак, у слесаря-сборщика Маршагина, табельный номер 4267, на сегодня такие показатели. Заработок за вчерашний день без премии составил 6 рублей 24 копейки, норма выполнена на 120 процентов. С начала месяца по отношению к плану идет с опережением на 12 процентов. Он отстаёт от нашего лидера Шебунина сегодня на 10 процентов, но вчера почти догнал его — недобрал 1,5 процента. Причина уважительная: был простой на смежной операции.

На другой день вечером мастер опять говорил о ходе соревнования. Опять Маршагин отстал на 5

процентов. И это тревожило: ведь простое в этот день не было. Маршагин заметил, что с появлением «моляний» (они теперь вывешивались через день) у всех появился интерес к работе, к общим делам. Уже с утра, во время перекуров, начинались разговоры о тех, кто лидирует, делались прогнозы.

Однажды Маршагин, идя из столовой, услышал за будкой разговор:

— И ты думаешь, он догонит Витьку? Кишка тонка! — Это голос слесаря Николая Рябцева.

— При всех сказал вчера: «причешу». Сибиряк, сам знаешь, — говорил Миша Котов.

— Слепой сказал: посмотрим. Только мало каша ел твой Маршагин, чтоб Витьку «сделать».

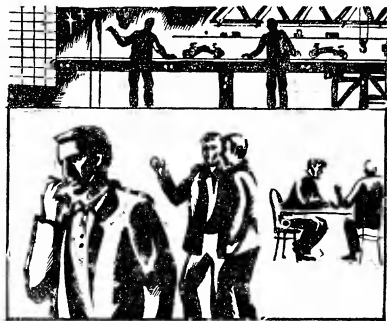
— «Сделает», вот увидишь — он паревь напористый, — уверенно заявил Котов.

«Ну все! Уж теперь-то надо выложиться, — решил про себя Маршагин. — Только в чем же секрет его успеха? Ведь все вроде делают одинаково. Почему к вечеру оказывается, что Шебунин всегда на 5–8 процентов обходит? Приписки быть не могло: мастер и контролер все проверяют и учитывают».

На другой день на участке появились информационный щит. На нем — фамилии всех членов бригады. Против каждой — цифры: их брали из журналов мастера. На стенде в разделе «Какое место занимает по участию» против фамилии Маршагина стояла цифра «4». Это его огорчило. Ведь вчера же был он на втором месте. Из-за него даже люди спорили. Как о футболисте. А теперь засмеют.

После смены он подошел к мастеру.

— Петр Иванович, почему так получается? Идем и начинаем работать одинаково, а к концу смены вдруг Шебунин впереди?



— А разве на беговых дорожках не так? Все вроде начинают вместе, а финиш разный. Ты знаешь, на чем горюшь? На затяжке кулачка. Я наблюдал за вами не раз. Он берет сразу правой рукой шайбу, шпалит и гайку. А левой, ты это заметь, уже держит кулачок. И за счет этого выигрывает обычно пять — восемь секунд. Вот они в итоге-то и набегают к концу смены, превращаясь в дополнительные детали. Медлишь ты и на подгонке восьмерки. Он заранее ставит все под один угол, чтобы потом не тратить времени на развороты. И на каждых трех дисках выигрывает по пять секунд. И опять набегает у него дополнительные проценты. Вот все это и выводит его на первое место. Ты не стесняйся, подучись у него. Тут ничего зазорного нет!



— Но он же тогда дополнительные баллы получил за распространение ценного опыта, — вроде как в шутку бросил Маршанин.

— Получит, верно. Смотри в будущее, не живи сегодняшним днем. В этот месяц он победит, а затем, усвоив его метод, опередишь ты. И потом давай думать. Тут одной, как говорят, «внутряной силой» и «пушлом» не возьмешь. Продумай, как сделать держатель диска. Может, подставку оборудовать специальной. Или еще что-нибудь. Придумаешь — получишь фору в семь баллов. Ты же знаешь Ефимова Николая, который на Доске почета в заводской аллее висит? Сейчас он заскуженный рационализатор РСФСР. А вот восемь лет назад также считал, что ни к чему не способен. И начал-то с простого: перенял с одного места на другое пустячную деталь. А потом пошел дальше. В рационализации важно сделать первый шаг, перебороть косную мысль, живущую в нашем сознании подсудно. Декать, раз люди однажды что-то сделали, — значит, сделали совершенно. Нет. В каждой операции, если внимательно присмотреться, можно ввести десятки рацпредложений. Думать надо, изучать...

После этой беседы Алексею спалось плохо. В голове возникали десятки вариантов, как обогнать Шебунина. Но вывод напрашивался один: надо ввести какое-то рацпредложение. Пусть даже небольшое. Тем более, мастер тотчас поддерживает всякое новшество. Для начала решил усвоить прием Шебунина: одновременный захват трех деталей одной рукой — «хватку Шебунина», как называл этот прием мастер. Целую неделю он приходил на полчас раньше, во время пересменки под видом подготовки рабочего места учился правой рукой брать сразу пайбу, шпатель и гайку, а левой держать кулачок. И вдруг через два дня обнаружил, что сделал на 25 деталей больше. Через пять дней мастер на оперативке сообщил:

— За вчерашний день на первое место по всем показателям вышел два человека — Шебунин и Маршанин. У них по 127 процентов выработки. Но за введение нового способа одновременного захвата трех позиций Шебунину, как я и говорил, набавляется пять баллов. Поэтому он пока вперед. Но я вижу, что Маршанин задумал что-то серьезное. И ты, Виктор, особо-то нос не задрай.

...Дня через два после этого, стоя у конвейера, Алексей вдруг подумал: как, если для гаек, шайб и шпателей соорудить сверху небольшой шкафчик с отделениями? Против каждого отделения сделать своего рода спуск. Подходит деталь — задевает спу-

щенный кинзу шкив. Дверца открывается, и из шкафчика в руки сборщика скатываются шпатель, гайка и пайба. А подачу кулачка сделать так. Ящик с педалью. В пядке — кулачки. Когда нужна деталь — нажимаешь на педаль.

Он продумал еще раз. Потом сказал мастеру. Тот, внимательно выслушав, похлопал по плечу Алексея:

— Молодец! Умная идея! Мы же тут сразу убиваем двух зайцев: механизмируем ручной труд и уыбстряем саму сборку. И можем процентов на пять повысить производительность. Я после смены зайду к механику. Посоветоваться надо. Вот видишь, ты уже начал рационализировать и даже изобретать.

— А если не понравится механику? — опасно попокачал головой Алексей.

— Не понравится механику — пойдем дальше. Но даю слово: эту идею мы введем у себя. А ты думай о другом. Правда, ты в этом месяце, наверно, уже первое место не получишь: Шебунин на сегодня здорово опередил тебя. Ты в начале месяца много накопил минусов. Но второе — за тобой.

Однако Алексею теперь почему-то уже не очень-то волновало, что будет первым. Его захватил, как говорил мастер, «дух изобретательства и рационализации». Еще не зная точно судьбу первого своего маленького изобретения, он начал думать о другом. Ему пришла в голову дерзкая мысль: сократить сам конвейер метров на двадцать. Что это даст? Во-первых, сократится число рабочих. Во-вторых, освободится большая производственная площадь и будет где поставить станок-дублер, из-за отсутствия которого очень часто были простои. А чтобы норма выработки участка не снизилась, увеличить звездочку вала, и конвейер пойдет быстрее. Управиться можно: ведь будет же внедрен его, как называл мастер, «шкаф автоматической подачи узловых деталей по пятой позиции».

Эта мысль понравилась всем. И уже через неделю в заводской многотиражке, где говорилось о рационализаторском движении на заводе, писали: «Большие надежды подает начинающий изобретатель молодой слесарь-сборщик Алексей Маршанин...»

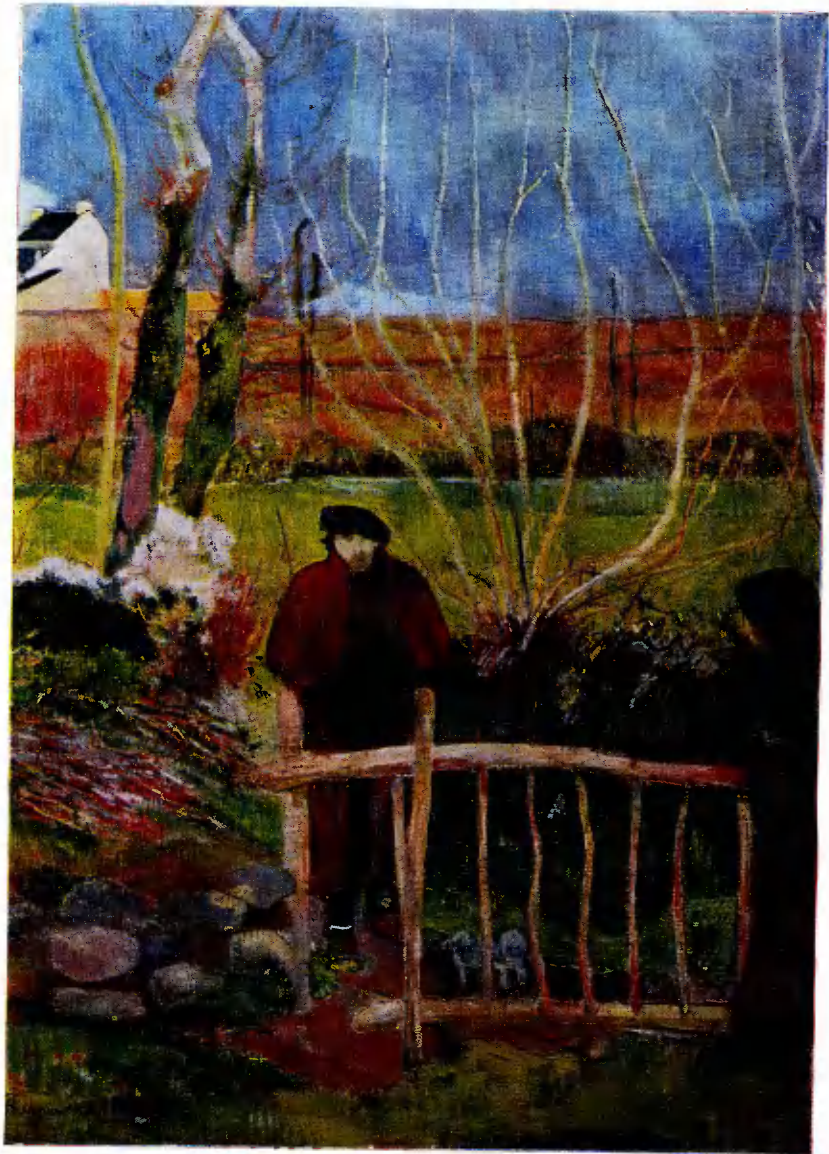
Раз двенадцать перечитал заметку Алексей. Впервые в жизни о нем написали в газете. И не в какой-нибудь там стенной, а в настоящей, печатной.

Шебунин побеждал Алексея три раза. До самого октября при всем своем желании Маршанин так и не смог его догнать. Обидно было. Не хватало-то считанных процентов. Помешала Алексею и одна пришедшая рекламация. Горькое чувство досады на себя не покидало его все время. И хоть имел Маршанин двести двадцать рублей заработной платы, а норма выработки не была ни разу ниже 120 процентов, он все-таки был собой недоволен.

В декабре наконец внедрил все его предложение, и он сразу получил «опережение». Но и без этого ему удалось обойти Шебунина на 1,2 процента по культуре производства и выработке.

Вовек не забыть ему того радостного собрания по подведению итогов. И награждения бесплатной путевкой, денежной премией в размере 100 рублей и занесения в Книгу почта не забыть...

— Так и остался я на заводе. И уж теперь — баста. Отсюда никогда не уйду, тут мой дом. Сейчас думаю, как бы улучшить подачу верхней автоматической линии. Имеется тут одно предложение, сейчас бегу с монтажниками. Я-то сегодня во вторую смену, а с ними так, до работы... Ну пока, а то Шебунин опять вчера вырвался вперед...

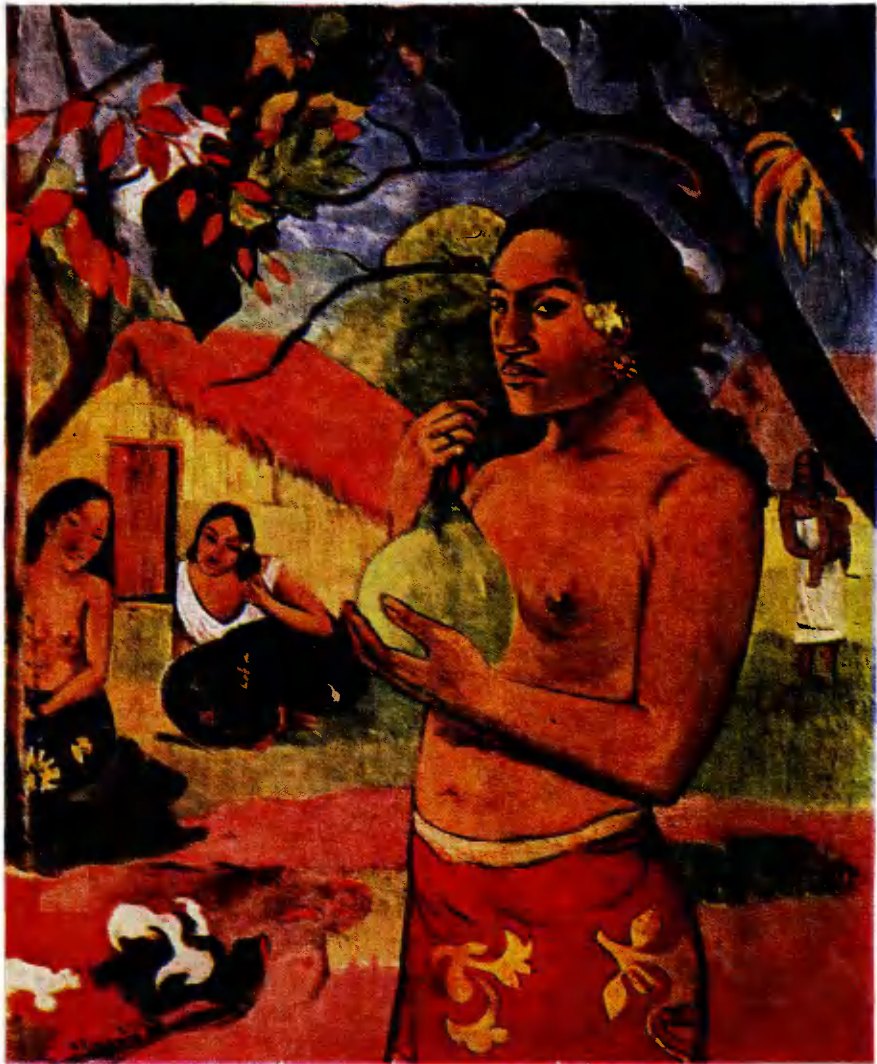


Здравствуйте, господин Гоген. 1889.

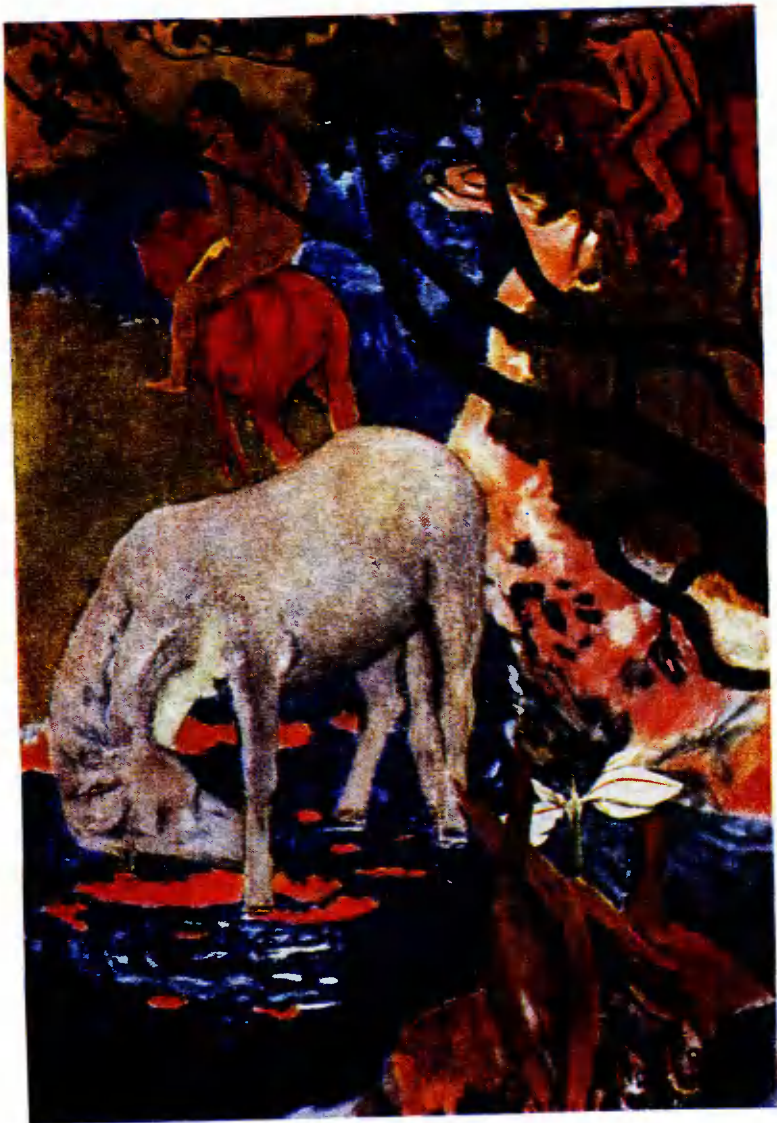
Из произведений Поля ГОГЕНА. 1848—1903.



Пейзаж в Арле. 1888.



Женщина, держащая плод. 1893.



Белая лошадь. 1898.



Л. БАЖАНОВ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСПОДИН ГОГЕН!

*«Я чувствую,
что в искусстве я прав».*
Поля ГОГЕН

Тоген. С этим именем связаны легенды, созданные почитателями и врагами, трагедия, восторги настоящих ценителей искусства и людей, в искусстве ничего не понимающих, с этим именем связана история европейской живописи; это имя художника.

Жизни и творчеству Поля Гогена посвящено огромное число монографий, научных статей и мемуаров, изданных во всем мире. Авторы анализируют произведения художника, ищут в его сложной жизни объяснение созданных им образов, стараются определить место его творчества в истории искусства, пытаются выразить свое отношение к работам мастера. Но обо всем, что связано с Полем Гогеном, написать невозможно. И эти строки являются лишь скромной данью уважения одному из значительнейших художников Франции.

Десятью лет назад тридцатипятилетний биржевой маклер неожиданно для семьи и друзей отказался от карьеры финансиста, и во Франции появился художник Поля Гоген. Конфликт со своим обществом, разрыв с семьей, нищета, болезни, скитание по свету — такова цена творчества этого художника.

Гоген пришел в искусство в тот период, когда импрессионизм из направления революционного, гонимого, отвергаемого превратился в почитаемое и ценное течение в живописи — работы художников-импрессионистов стали регулярно экспонироваться на крупных выставках, торговцы картинами, маршаны, начали охотно и за большие деньги покупать произведения импрессионистов. Импрессионизм завоевал право на жизнь. В начале своего творчества Гоген следует импрессионистической манере живописи (например, «Пейзаж в Арле», 1888 г.), но очень скоро собственное видение и отношение к природе, новое понимание художественного произведения как автономного мира уводят художника на путь самостоятельных поисков. Гоген стремится к глубине содержания, большей плотностью образа в отличие от импульсивности, непосредственности передачи зрительных ощущений в работах импрессионистов. Он очень внимателен к натуре, стремится проникнуть в ее смысл, в ее содержание. Он обращается не только к зрительным впечатлениям, но и к своему знанию, к своим переживаниям, к своей памяти и художественному опыту. Гоген категорически отверг временные ему каноны академической живописи и обратился к традициям искусства архаической Греции, к искусству Востока.

Некоторые работы Гогена кажутся загадочными сценами, фрагментами неизвестной легенды. У зрителя

является желание разгадать, понять сюжет картины. Такое желание возникает перед картиной «Здравствуйте, господин Гоген» (известны несколько вариантов этой работы; мы воспроизводим картину из собрания Хаммера). Зритель ощущает, что перед ним не простая жанровая сцена и не автопортрет, а попытка как бы отстраненного взгляда на самого себя, попытка создать некоторый многозначный символический образ. Эта черта гогеновского творчества была близка определенному кругу французских художников и литераторов того времени — Поля Гогена провозгласили главой художников-символистов. Однако не таинственность сюжетов определяет искусство Гогена. Цветовая гармония, декоративность линейной композиции — в этом раскрывается сущность образов художника. В одном из своих писем он писал: «Цвет, вибрирующий так же, как и музыка, способен выразить самое общее и, стало быть, самое неуловимое в природе — ее внутреннюю силу». Цвет не перенесен в картины Гогена непосредственно из природы, он создан волей художника. Может ли быть лошадь зеленой? В картине — да. Мой пятилетний сын со всей непосредственностью неискушенного зрителя сказал:

— Очень грустная лошадь.

Очевидно, и это верно. Во всяком случае, Гоген не ограничивается простым изображением, а старается наполнить его определенным настроением, содержанием.

Порвав с официальной культурой своего времени, Гоген обратился к культурным пластам, не изуродованным буржуазной цивилизацией. Он пишет свои картины на Мартинике, в Бретани, на островах Океании, проникаясь духом древних культур этих мест.

Синие, золотисто-желтые, розовые, изумрудно-зеленые цвета, собранные в причудливые декоративные пятна, создают музыкальный ритм в полотнах Гогена. Женщины, мужчины, животные, деревья, изображенные художником, как бы участвуют в торжественном ритуале единения человека с природой. Мир вечный, значительный...

Его работа «Женщина, держащая плод» — это не психологический портрет таитянки, а обобщающий образ природы, не обремененной суетностью, от которой бежал Гоген, извечно обновляющейся и продолжающей себя.

Картины Гогена однажды раскрываются зрителю, захватывают, покоряют своей глубокой чистотой, вызывают радость и ощущение сопричастности основан бытия. Эти картины плохо поддаются анализу; нередко анализ разрушает их образный строй. Может быть, в этом одна из причин того, что художники и искусствоведы чаще приходят к Сезанну или Матиссу, чем к картинам Гогена. Но рано или поздно к холстам Поля Гогена возвращаешься и снова ощущаешь радость.

Творчество Гогена-живописца, несомненно, имеет большое значение для развития европейского искусства новейшего времени. Его живопись нашла развитие в творчестве Бернара Девя, Серюзе и в творчестве Анри Матисса, оказала влияние на художников, стремящихся к усилению экспрессии в своих работах, и на художников, ищущих обобщенной декоративности. Однако вряд ли можно назвать непосредственных продолжателей гогеновского творчества — искусство Гогена оригинально в своей цельности и по-своему неповторимо.

Репродукция не в силах передать всей тонкости и своеобразия гогеновской живописи, и все же мы хотим предложить вниманию читателей несколько репродукций с его работ.



Р. МИНАСОВ

ДИАЛОГ ПОСЛЕ БОЯ



Почему он взял с полки именно эту книгу? Чем она привлекла его внимание? Может быть, именем автора? Или броским, не без налета интриги, названием? А может, и тем и другим вместе.

Тимофей Алексеевич Ромашкин и сегодня, пожалуй, не смог бы однозначно ответить на этот вопрос. Хотя где-то внутренне, видимо, определяющей его интерес, была тема войны. Книга Гельмута Вельца называлась «Солдаты, которых предали»...

Ромашкину не довелось вместе со своей дивизией дойти до стен рейхстага. А шел он к победе от самого Сталинграда. Сто дней в боях — и ни единой царапины! И, наверное, десятки раз дрался с фашистами врукопашную — линия фронта для него проходила на узком клочке земли, под крышей металлургического завода «Красный Октябрь»...

В одном из рукопашных боев, уже в Приднестровье, в феврале 44-го, капитан Ромашкин был тяжело ранен. Два года врачи боролись за его жизнь... А после войны, после выздоровления Тимофей Ромашкин со своим многочисленным семейством поселился в Цимлянске. По возможности трудился. Но старые военные раны постоянно отрывали его от дел, и Тимофей Алексеевич снова и снова отправлялся на лечение.

В библиотеке одного из одесских санаториев весной 67-го года он и увидел книгу Гельмута Вельца. Заинтересовавшись, начал ее листать, посмотрел оглавление — и застыл, пораженный... Одна из глав называлась «Бой за цех № 4»...

Сердце Ромашкина бешено заколотилось, он побледнел и едва удержался на ногах. Юная библиотекариша испуганно спросила:

— Что с вами?

— Ничего, ничего...

Он сел, отдышался и залпом прочитал главу. Его поразила точность и обстоятельность, откровенность и беспощадность, с которыми автор описывал события тех дней. Ведь в том страшном, многодневном бою за мартековский цех (цех № 4) завода «Красный Октябрь» оборону держал (вместе с подразделением 39-й гвардейской дивизии и рабочим батальоном) и батальон, где командиром был Иван Бойков, а комиссаром — Тимофей Ромашкин. А командиром того немецкого саперного батальона, который пытался овладеть цехом, был Гельмут Вельц.

Такие ситуации случаются, как видите, не только в кино. Гельмута Вельца и Тимофея Ромашкина столкнула лицом к лицу жизнь — сначала в дни великой битвы на Волге, а затем — много лет спустя после войны...

Прочитав книгу Вельца, Ромашкин решил написать ему письмо. Ответ из ГДР не заставил себя долго ждать. Вельц высказал готовность поделиться с Ромашкиным документами из своего военного архива.

Письма пересекали границу в обоих направлениях. Международная почта стала посредником в диалоге двух людей, которые в том бою были противниками.

Диалог этот, поначалу настороженный, постепенно, день ото дня становился все откровеннее, теплее, превращался в беседу единомышленников — борцов за мир.

И Ромашкин и Вельц в своих письмах и воспоминаниях вольно или невольно, но очень часто обращаются к своим детям, а через них и ко всей современной молодежи. «Будьте такими, как мы!» — говорит молодому поколению бывший офицер Советской Армии. «Не будьте такими, как мы!» — предосте-

регает немецкую молодежь бывший офицер вермахта.

Актуально звучат слова Вельца: «Если старшее поколение прогрессивного мира выиграло войну, то молодое должно выиграть борьбу за мир». Нет, это не из книги «Солдаты, которых предали». Это из письма к Тимофею Ромашкину.

«...Я рад узнать в вас командира героических защитников мартевского цеха. Если вы прочли мою книгу, то уже знаете, как глубоко я уважал и уважаю сейчас этих бойцов...»

Гельмут Вельц думает прежде всего о юных. Он пишет, что выиграть борьбу за мир — историческая задача молодежи. «И мы, — продолжает он, — должны ей в этом помочь».

«Дорогой Тимофей, — обращается он к Ромашкину, — я думаю, что мы... лично можем очень много рассказать. Мы должны протянуть друг другу руку и посмотреть друг другу в глаза, чтобы знать, что сегодня мы, объединенные одной волей, стали товарищами и друзьями и идем в едином строю. Поэтому я надеюсь, что мы встретимся в Волгограде. ...Я не хотел бы заканчивать письмо, дорогой Тимофей, не сказав вам, что я от всего сердца рад и счастлив, что именно вы, мой прежний ожесточенный противник, сегодня стали моим другом. Я многому научился в вашей великой стране и сделал правильные выводы из истории. Я верен дружбе с народом великого Советского Союза. Сердечно приветствую вас. Автор книги «Солдаты, которых предали» Гельмут Вельц».

Для капитана Вельца война кончилась задолго до падения Берлина.

26 декабря 1942 года цех № 4 был взят подразделениями Таращанского полка. Оставшиеся в живых немецкие офицеры и солдаты сложили оружие. Однако среди пленных, убитых и раненых не оказалось командира немецкого батальона. Он тогда ушел. Но недалеко и ненадолго... 31 января 1943 года Гельмут Вельц был взят в плен, и это стало определяющим во всей его дальнейшей судьбе.

Уже в «волжском котле» Вельц пришел к тяжелым, трагическим для него, офицера вермахта, раздумьям. В своем дневнике он записал: «Высокие слова насчет будущности рейха и смысл принесенных жертв уже не вызывают во мне такого отклика, как раньше. Я вижу, куда они завели нас. И на родине уже у многих появилось недоверие к руководству. Дни, когда мы терпим поражение, заставляют нас сильнее задумываться. Меня, во всяком случае...»

И продолжает уже в книге: «Да, я пережил гибель целой армии, душевный паралич, приказ погибнуть. Я видел раздвоенных и расползшихся солдат, отмороженные ноги, пустые глазницы, поднятые вверх руки. У меня до сих пор звучат в ушах безумные вопли и предсмертные крики. Я до сих пор чувствую горький запах пожара...»

Три века были решающими в последующей жизни Вельца: битва на Волге, «Дом Лунеево» под Москвой и образование Германской Демократической Республики.

Гельмут Вельц стал членом Союза немецких офицеров и членом комитета «Свободная Германия», штаб-квартира которого размещалась в доме отдыха «Лунеево» на Клязьме. Здесь же он вступил в ряды СЕГП.

Закономерно, что по окончании войны Вельц избрал своей родиной Германскую Демократическую Республику. Закономерно, что, поселившись в Дрездене, активно сотрудничал с членами инициативной группы по оздоровлению жизни в молодой республи-



На фото: Тимофей Ромашкин (слева) и Иван Бойков. 1942 г.

лике. Наконец, закономерно и то, что Гельмут Вельц избирался обер-бургомистром Дрездена, а затем возглавил одно из химических предприятий города.

Человек принципиальный, Вельц считал делом чести поделиться своими раздумьями о войне, рассказать о виденном и пережитом, ничего не скрыв, — откровенно от начала и до конца.

В канун 20-летия победы над фашизмом издательство «Мысль» в Москве выпустило на русском языке книгу Вельца. Среди исторических исследований и мемуаров, посвященных немецкой катастрофе на Волге, эта книга личных воспоминаний занимает особое место.

И, рассказывая о бое на заводе «Красный Октябрь», Вельц уже понимает, что здесь столкнулись не просто два противоборствующих батальона, но две идеологии, две морали: людей, создающих правоту своего дела и ответственных за будущее человечества, а потому готовых пожертвовать жизнью ради победы и людей, гонимых на Восток авантюрой бесноватого фюрера.

Однако мысленно вернемся к тому бою... Тому бою, который беспощадно честно описал в своей книге Гельмут Вельц. Тому бою, который Ромашкин и Вельц вспоминают вновь и вновь сегодня...

Читая книгу, понимаешь закономерность эволюции Вельца. Сначала сомнение: «С каждым днем солдаты все больше начинают задумываться. Они видят, как

вперед бросают одну за другой танковые и пехотные дивизии и как эти дивизии вскоре превращаются в груду металла и шлама, в горы трупов. Они видят, как постепенно падает бесприютность войск. И они задают себе вопрос: к чему эта мясорубка? Они спрашивают себя: ради чего здесь принесено в жертву столько людей?»

Потом — прозрение и вступление на путь активной борьбы с фашизмом, борьбы за новую Германию: «Я начал осознавать, что фашистская Германия должна была проиграть войну, потому что фашистский режим вел войну несправедливую. Он преследовал в ней разбойничьи цели и действовал преступными средствами... нам удалось внезапно напасть на Советский Союз. Только в плену я понял, что эти первоначальные успехи вовсе не означали превосходство немецкого оружия. У меня исчезли иллюзии о войне как рыцарской битве. Война человечеству не нужна, народы должны жить в мире, тот, кто встает под знамя германского милитаризма, шагает к гибели».

Проврал оборону на участке 685-го стрелкового полка 193-й советской стрелковой дивизии, фашисты рвались к Волге. Удержать всеми силами завод «Красный Октябрь» стало первоочередной задачей наших бойцов. Особенно тяжело пришлось первому батальону 253-го Таращанского полка 45-й стрелковой дивизии имени Шорса. Командование этим батальоном взял на себя заместитель командира по политчасти капитан Тимофей Ромашкин. За четыре дня непрерывных боев — с 1 по 4 ноября — батальон отразил двенадцать яростных атак гитлеровцев. В этих боях первый батальон за 4 дня истребил более 400 гитлеровцев и уничтожил более двадцати огневых точек врага, улучшив позиции своей дивизии.

Таращанцы не только выдержали натиск врага, но и сами перешли в наступление, продвинувшись вперед на 300 метров и 8 ноября закрепились в мартемовском цехе (№ 4) завода «Красный Октябрь». Фашисты не смирились с потерей столь важного опорного пункта... На протяжении более полутора месяцев за цех шли ожесточенные бои. Здесь дрались богатыри и донцы, саперы и бронейщики, минометчики и пулеметчики. Знание цеха несколько раз переходило из рук в руки, но закрепиться в нем нашим бойцам долгое время не удавалось.

Самым решающим боем, окончательно определявшим судьбу завода, был бой, завязавшийся 11 ноября 1942 года...

«Приказ на наступление. 11.XI.42.

1. Противник значительными силами удерживает отдельные части территории завода «Красный Октябрь». Основной очаг сопротивления — мартемовский цех (цех № 4). Завхват этого цеха означает падение Сталинграда.

2. 179-й усиленный саперный батальон 11.XI овладевает цехом № 4 и пробивается к Волге. Ближайшая задача — юго-восточная часть цеха № 4.»

(Из приказа командира 79-й пехотной дивизии генерала фон Шверина).

«Во что бы то ни стало удержать занимаемые позиции. Не допустить продвижения противника. Назад не отходить. 11.XI.42».

(Из телеграммы командующего 62-й армией В. И. Чуйкова командиру 45-й стрелковой дивизии).

Батальон таращанцев оборонял цех № 4 (мартемовский).

Батальон Гельмута Вельца занимал позиции в соседнем цехе № 3.

Вот два живых свидетельства о событиях этого дня и последующих 46 сутках бесконечного ближнего боя.

Гельмут Вельц. Смотри на часы: 02.55. Все готово. Ударные группы уже заняли исходные рубежи для атаки... Невидимые снаряды... завывая и свистя, рассекают воздух и рулятся в пятидесяти метрах впереди нас, в мартемовском цехе. Но наша артиллерия уже переносит огневой вал дальше, вперед.

Тимофей Ромашкин. Немцы будто обезумели. С шести утра — десятая атака!

— Практически от полка остался неполный батальон, — говорит командир нашего полка Можейко, — а удержаться надо.

Немцы бьют из пулеметов, что-то орут. Они снова идут в атаку. Я команду: «Залповый огонь из всех видов оружия!»

Гельмут Вельц. Авиация целыми неделями бомбила этот завод. Эскадры бомбардировщиков... сменяли друг друга. Гаубицы, пушки и мортиры не переставали все вверх дном. Здесь не осталось ни единого клочка целого места.

Открывают огонь русские снайперы. Против них пускаем в ход огнеметы. На несколько мгновений становится светло, как днем.

Тимофей Ромашкин. Очередная атака отбита. Мы вновь возвращаемся в мартемовские пещи, весьма надежные укрытия. Эту тактику применяли не раз, оставляя наверху лишь наблюдателей.

Солдаты приносят тела убитых медсестер, бывших студенток мединститута Сими Мерзловой и Оли, фамилия которой осталась в памяти. Девушки выносили с поля боя раненых, и, когда ползли с истекающей кровью старшейной Куликовой, немецкий пулеметчик дал по ним очередь. Сима, умирая, прикрыла своим телом раненого. В ее санитарной сумке, пропитой пулями, нашлись дневник и книгу Н. Острожского «Как закалялась сталь». И вот сержант Пагорсия в минуту передышки приносит нам в мартемовскую пещу книгу. Первые и последние страницы ее опалены, истрепаны и залпачаны кровью и сажей. При скудном освещении читать эти страницы было невероятно трудно, но это не помешало книге стать организатором нашего мужества и стойкости. В самые тяжелые минуты кто-нибудь находил подходящее место и начинал читать вслух.

А когда в дневнике Сими солдаты обнаружили строки: «Я и Оля решили стать такими, как Павка Корчагин. И мы будем такими», — то наша ненависть к врагу и решимость отстоять цех утроились.

Гельмут Вельц. Через небольшую щель проникает свет. Иду на свет, распахиваю дверь и оказываюсь в другом подвале, несколько большем. В центре горит костер. Вокруг него сидят и лежат около ста пятидесяти солдат.

Впечатление безрадостное.

Изморюженные лица, изодранное обмундирование, из брюк вылезают колени. Заглядывая никто и не думает: нет ни времени, ни иглолки с ниткой. Поскольку на смену частей нет надежды, процесс разложения воинской дисциплины, видно, идет все сильнее. С сапогами также не лучше — развалились, подметки привязаны тонкой проволокой. Никого это не волнует. Некоторые солдаты, насквозь промерзшие и промокшие, сидят так близко к огню, что того и гляди пламя перекинется на них. Они туло усталились на огонь. Другие с закрытыми глазами растянулись на животе, подперев голову руками. Храпят совсем выбившиеся из сил, накрыв голову шинелью. В углу о чем-то шепчутся двое. У того солдата, что поменьше ростом, в руках «Железные

Атмосфера полной безысходности и какого-то странного полусна.

Бой за цех только начинается, а чем он кончится? Тимофей Ромашкин. Надо контратаковать. Фашисты должны думать, что нас больше, чем на самом деле.

Гельмут Вельц. Итог уничтожающий. Больше полония убиты или тяжело ранены. Теперь цех снова полностью в руках русских.

Итак, цех прямой атакой не взять! Осознание этого факта потрясает меня. Бедь такого мне еще не приходилось переживать за все кампании. Мы прорывали стабильные фронты, укрепленные линии обороны, преодолевали оборудованные в инженерном отношении водные преграды, брали хорошо оснащенные доты, захватывали города и деревни. Нам всегда хватало боеприпасов, нефти, бензина, стали, чугуна, цветных металлов и резины. А тут, перед самой Волгой, какой-то завод, который мы не в силах взять!

Для меня это отрезвляющий удар: я увидел, насколько мы слабы.

Чем это кончится — Сталинград и вся война?

...В одном из своих писем Тимофей Алексеевич спросил Вельца: а что бы он сказал сейчас рабочим завода «Красный Октябрь», если бы встретился с ними?

Гельмут Вельц прислал ответ, содержание которого звучит как политическое кредо автора:

«Сталинград сыграл не просто чисто военную роль в Великой Отечественной войне Советского Союза. Для многих немецких соотечественников Сталинград стал поворотным пунктом в их сознании, в их психологии, поворотным пунктом от нацизма к тому строю, который утвердился сейчас в Германской Демократической Республике.

Можно сказать, что Сталинград положил начало существованию нашей Демократической Республики.

Мы поражены волей и решимостью советских людей, построивших на Волге город лучше, чем он был, мы поражены вашими успехами в науке, технике, культуре. И я сделаю все возможное в моих силах, чтобы никогда не повторились трагические дни Сталинграда.

Сегодня есть Германская Демократическая Республика, которая противопоставит империализму в центре Европы, есть братский союз с Советским Союзом, и мы будем беречь этот союз и укреплять его, чтобы преградить путь любым военным нашествиям и авантюрам.

Это говорит вам один из тех, кто тридцать лет назад пришел в Сталинград врагом, а потом понял, что маршировал не туда. Позвольте заверить вас в искренности моих слов и моих чувств».

Именно эти слова он и сказал рабочим в Музее истории обороны завода «Красный Октябрь», когда весной 1973 года побывал в Волгограде.

...Мы поднимались от Волги в гору. Тимофей Алексеевич Ромашкин шел грузно, с частыми остановками: сердце...

Вот он поднял с земли проржавевший кусок металла, прочитал на воздухе с востока на запад, сказал со вздохом:

— Шлаковая гора...

Вот на этой-то горе Гитлеровцы в ноябрьские дни 1942 года находились от берега Волги в каких-нибудь пятидесяти метрах... Здесь батальон тарашанцев четверо суток без передышки отражал одну за другой атаки фашистов, стремившихся во что бы то ни стало сбросить батальон в Волгу...

Мы идем по территории завода «Красный Октябрь». Останавливаемся перед бывшим зданием центральной лаборатории, сохранившимся до наших дней как памятник. Обрушенные стены, скрученные в жгуты балки, лестничная площадка, поросшая

бузиной, — вот все, что осталось от лаборатории. На остове чудом уцелевшей южной стены чернеет надпись, сделанная мазутом: «Здесь стояли насмерть герои-тарашанцы!»

Идем дальше. Вот тут был КП командира полка майора Мажейко. А вот там почти сто дней сидели враги. Этим маршрутом ходили на подрыв стены третьего цеха комсомольцы Кузьменко, Моторенко, Похлабин...

Я слушаю Ромашкина молча. Давно хочу спросить, да все откладываю. Но вот не удержался:

— Скажите, Тимофей Алексеевич, как объяснить ваше нынешнее дружеское общение со своим бывшим врагом, который убивал ваших товарищей?

— Не вы первый задаете этот вопрос... В прошлом году я приходил сюда с сыном, Виктором, который служил в армии здесь, в Волгограде. Когда я ему все это показал и рассказал, он с недоумением спросил: «Прости ты, кто ли, отец?»

— И что же вы ему ответили?

Ромашкин выдержал паузу, словно собираясь с силами:

— Вот уже тридцать лет я часто вижу во сне Сталинград. Руины мартеновского цеха, печи, в которых мы укрывались. До сих пор слышу голоса погибших друзей, вижу, как, прижавшись спинами к стенам мартеновской печи, они слушают нескончаемую музыку войны... Такое не забывается...

Ромашкин замолчал. Потом медленно продолжал: — Сегодня я, как и тысячи других ветеранов, исполняю волю тех, кто, защищая Родину, отдал на сталинградской земле самое дорогое — жизнь! И я всю послевоенную жизнь посвящаю исполнению заветов павших... Простите, если говорю выпревшие, но не в словах дело...

Тимофей Алексеевич попросил у меня сигарету, закурил, глубоко втянул в себя дым.

— Человек должен вести ответственность за то, что происходит в мире. Нас таковы воспитали. Нам не безразличны судьбы стран и народов. Мой бывший враг был обманут фашизмом, но сейчас он олицетворяет ту Германию, которая очень скоро прозреет и поймает, по какому гибельному пути ее вели... Своей книгой Вельц откликнулся и на мою боль, на боль миллионов моих соотечественников. Я счел делом совести откликнуться на горькую исповедь своего бывшего врага еще и потому, что нашел в ней логику честного поиска, которая, как известно, неизбежно ведет к формированию прогрессивных взглядов и убеждений...

Мы направлялись к выходу из заводского двора. И вновь останавливались у легендарной стены.

— Это было здесь, — рассказывал Ромашкин. — На 10-й день боев за центральную лабораторию. Лейтенант Масленников говорил мне: «Разрешите, комиссар, атаковать. Есть верный план. На этот раз мы их возьмем». Операция предстояла рискованная. Я спросил: «А если погибнешь?» «Только ценой победы, — произнес лейтенант уверенно. Потом добавил: — Ну, а если... Тогда, комиссар, если ты останешься в живых, приведи сюда своего сына, который, я верю, родится после войны, и расскажи ему, как и за что мы не жалея жизни». Лейтенант Масленников при решающем штурме лаборатории подорвался на mine. Ему было двадцать лет — столько же, сколько моему Виктору, когда я приходил с ним сюда...



ВАЛЕНТИНА
ЮДИНА

ЖИЛИ- БЫЛИ ДЕВОЧКИ...

История, которую я расскажу, документальна. В ней не выдуманно ни слова. Жила в небольшом городе Коврове девочка Ира Головкина. Русые косички, бледное лицо, белые бантики. Жила с мамой на тихой улице, в деревянном уютном доме.

Мама часто болела, и Ира, хоть и росла хрупкой, приучилась с малых лет все делать сама: могла истопить печь, сшить сарафан, привыкла ходить в магазин. Самостоятельно решала, гулять ли ей сразу после школы или сначала сделать уроки. Уроки, впрочем, делала без особого труда, книги прочитывала залпом. Так все и шло. И вот очкочено восемь классов.

Радостно начиналось лето. Иру избрали в комитет комсомола школы, заместителем секретаря, направили на учебу в лагерь старшекласников «Искатель», что под Суздалем, на берегу чистой речки Нерль. В лагере собралось много девочек и мальчишек, все одногодки, все активисты, умники-затейники. Ира заметила среди них Андрея Башкевича, его интеллигентные очки, его точную, безукоризненно правильную речь... Ей стало хорошо среди летнего гомона, среди сверстников.

...А в другом городе, во Владимире-на-Клязьме, жила другая девочка — симпатичная, серьезная Алла Сергеева, свободно уже читавшая Байрона в оригинале (с детских лет увлекалась английским языком). Алла тоже дала путевку в лагерь на Нерль.

Прошли первые костры, собрания. Стали входить в жизнь ребят «институты самоуправления»: штабы, комитеты, советы.

Аллу Сергееву избрали в актив, Иру не избрали. Но Ира считала, что это справедливо, и тайне надеялась, что на новых выборах дойдет очередь и до нее. Она сумеет показать, на что способна.

Правда, смущали Иру в первые же дни частые марш-броски, сбор упавших за ночь сосновых шишек — на то был особый указ Эммы Васильевны, начальницы лагеря. Смущали и длинные паузы среди дня, ничем не заполненные: ни лесом, что синел вдалеке, ни речкой, ни работой в соседнем колхозе. И хотя Ира не могла похвастаться завидным здоровьем, она все-таки очень ждала встречи с колхозным полем. Ждала. Но не дождалась.

Через семь дней ее исключили из лагеря.

Все произошло довольно просто. Во время выжженного безделья (стоял зеленый поддень, верещали кузнечики, пахло луговой травой) Ира со своей подружкой Галей вышла за околицу лагеря. Их долго было видно: забор у лагеря невысокий, по пояс, а они и не прятались, шли и глядели по сторонам. Нашли одуванчик, нашли розовый камешек по дороге. Встретили стог свежескошенной травы — от него пахло сладким дурманом. Они наперегонки к стogu — и бултых, как в омут речной.

А вслед им смотрела Эмма Васильевна...

Потом Галя плакала на собрании и обещала «исправить поведение». Она умоляла как угодно наказать ее, но только не отправлять домой. Ира же не плакала, не каялась: она подавленно молчала, не в силах сразу осмыслить происшедшего. И не видела, как поднимались руки: «Исключить Ирину Головкину за нарушение лагерной дисциплины, выразившееся в самовольном уходе к стogu сена».

Одной из первых подняла руку девочка из Владимира, Алла Сергеева. Очень решительной и категоричной была она в свои пятнадцать лет. Откинув со лба прядь, тряхнув головой, она сказала звонко:

— Мне тоже бывает скучно. Но что станется, если каждый начнет уходить с территории лагеря!?

Кто проголосовал «против»? Андрей Вашкевич. Впрочем, говорят, один в поле не воин.

Ни храбрый Андрей, ни Алла, читавшая в подлиннике «Чайлда-Гарольда», не знали, что Ира Голвкина после исключения за «уход к стогу сена» попала в больницу с тяжелым нервным расстройством и долго болела.

...Я приехала в Ковров, когда в школе уже начались занятия. Ира выбежала навстречу мне — в коричневом форменном платнике с кружевными воротничком. Мы проговорили тогда весь день. Она была возбуждена, много рассказывала о школе, о книгах. Но иногда я замечала на ее лице ту мучительную грусть, что запомнилась мне с нашей первой встречи. «Видно, думает про «Искатель», — догадывалась я и просила:

— Ира, да что ты? Забудь.

— Я забыла как будто, но как вспомню их лица злые...

Я познакомилась с Аллой Сергеевой чуть позже описываемых событий и все силалась понять: может быть, желание делать, как все, как посчитал нужным кто-то из старших, продиктовало Алле ее поступок? Пыталась вызвать девочку на откровенность, но безуспешно. Лишь позднее, когда я приехала из Коврова и, отыскав Аллу в ее английской школе, рассказала про Ирину болезнь, про ее переживания, в Алле что-то словно оттаяло...

И вот миновало два года. Это же время я переписывалась с Ирой и Аллой. Недавно, перечитывая их письма, подумала: ведь тот конфанкт, осмысление которого шло постепенно — через письма, разговоры, раздумья, помог одной девочке еще больше утвердиться в себе, а другой — пересмотреть, переоценить многое.

Вот эти письма. Я публикую их с разрешения девочек.

Письмо от Аллы (осень 1970 года):

«Я не могу понять, только догадываюсь, что была тогда в чем-то неправа. Но я всегда считала, что не могут же все ошибаться. Так не бывает. А вот сегодня, знаете, почему Вам пишу? Потому что вспомнился один случай. Он тоже произошел у нас в «Искателе», уже после исключения Иры. Может быть, Вы о нем слышали, не знаю. У одной девочки потерялся фотоаппарат. Искали его, искали. И, отчаявшись, приказала Эмма Васильевна всем нам предъявить личные чемоданы и баулы на досмотр. Эдик Мосин, члалыник штаба, не дал на это согласие, но и ему пришлось доставать из-под кровати свой чемодан. Фотоаппарат так и не нашли, но представляется, как все это было унизительно; особенно я чувствую это теперь, когда вспоминаю, и никак не пойму, почему мы все подчинились. Понимаю, все! Но с Ирой Голвкиной, мне кажется, другой случай. Здесь, с фотоаппаратом, не было виновника, а только подозрение. Ира же все-таки ушла за территорию лагеря... Может, конечно, исключать за это не надо было! Не знаю...»

Письмо от Иры (1970 год, осень):

«Прочитала повесть В. Каверина «Школьный спектакль». Какие глубокие чувства вызвала эта книга! Я стала сравнивать с жизнью прочитанное и подумала: а есть ли среди нас девочки и мальчики, способные на стойкую, преданную дружбу? Я не говорю — любовь. И вот, к моему огорчению, многие оказались не так, как у Каверина. Все же маловато у нас мальчишек-рыцарей и девочек, способных на серьезное чувство. Относиться ко всему слегка стало модно».

Еще письмо, но после молчания:

«Идут занятия. У нас был странный случай. Один мальчик написал статью в стенгазету, а ему встали туда какие-то слова, которые он не писал и не хотел писать. Он посовещался со мной, а я посовещалась с комсомольским активом нашего класса и школы. И мы сказали, мы решили, что этот мальчик напишет в другом номере стеной газеты, что произошло... Про лето я уже и забыла вроде бы, так давно оно кончилось».

Шли месяцы, девочки учились в девятом, письма писали нечасто.

Потом наступили их последнее каниккулярное лето. Однажды в почтовом ящике я обнаружила письмо. Те же аккуратные Ирины строчки:

«О себе? Девятый класс кончила с похвальной грамотой. Училась печатать на машинке — печатано было».

В десятом хочу нажать на учебу, а еще заниматься в кружке современного танца...

В августе снова введу строгий режим, разленилась...

А вот Алла:

«Читала Брехта и Зоболочкого. Прочитала Харпер Ли «Убить пересмешника». Странно, что в этой довольно большой библиотеке нет совсем Ахматовой и Булгакова».

Увлекалась работой с пионерами. И вот опять вспомнила «Искатель».

Вы не знаете, как здоровье Иры?

Помните, я говорила Вам, что Ира была неправа, раз не захотела делать, как все. Теперь, пожалуй, я бы так не сказала. Хотя с ребятами, которые тебя окружают, считаться надо. Ведь не одной же ей было скучно подметать каждый день опавшие за ночь листья и шишки с деревьев. Мы тоже с удовольствием занялись бы чем-нибудь стоящим во время трудового часа. Но молчали и делали вид, что заняты работой. А раз она такая смеялая, не захотела быть, как все, почему бы ей не поговорить с ребятами?! Мы бы все вместе пошли к Эмме Васильевне и убеждали ее, что лучше мы будем пилить дрова для соседнего детдома или пропалывать свеклу. Но Ира никому ничего не сказала. А ушла одна. Поэтому ребята и возненавидели ее, раз она хочет быть самой умной. Значит, все-таки она была неправа... Я совсем запуталась».

Следующее письмо от Аллы пришло не скоро и было совсем не похоже на предыдущее. Прежде чем привести его здесь, я немного засомневалась — оно вроде было на иную тему:

«Мы не понимаем друг друга, а без понимания, по моему, не может быть настоящей любви. Я уважаю его за человечность, доброту. Недавно он привел к себе в дом совершенно чужого человека. Тому негде было почевать. Разве каждый на это решится?! Но он не может найти себя».

Я решила посвятить свою жизнь детям, буду учительницей. Меня привлекает работа с «трудными» ребятами. И хочется в глушь, может быть, на Крайний Север. Переводчицей не хочу быть. Читать английских поэтов — согласна, но и только. А он ничего не выбрал. Ну, как ему помочь...»

Письмо было длинное и, видно, писалось долго — летом и в сентябре, уже в десятом классе. А концовка такая: «Ах, если бы можно было вернуться в прошлое, в «Искатель», и исправить непоправимое».

Я написала об этом Ире. Я написала, что Алла дружит с парнем, думает о своем и его призвании в жизни. И получила ответ. Об Алле ни слова:

«Сначала расскажу про Ригу. Жили мы на туристической базе. Каждый день ездили в Старый город. Понравилось в Музее народного быта (а были еще в Музее истории Риги и Музее Революции). В

огромном лесопарке расположены целые деревни, одабны разных эпох, предметы утвари. Рядом озеро... А Старый город! Нет двух похожих домов, улицы вымощены булыжником, идеальная чистота. Домский собор (XIII век!) — смешение многих стилей. На шпилье Золотой пелухи, национальный символ счастья... В Домском соборе один из лучших органов мира. Мы были на концерте. Впечатление — долгое, как от моря. Хотя я плохой ценитель музыки, но от Баха и Моцарта наслаждение получила огромное...

А вот письмо Аллы:

«Я стала внимательнее приглядываться ко всем: к мальчишкам, девочкам, учителям. И, знаете, даже поразилась: какие все разные. Нет двух людей, похожих друг на друга. Значит, наверное, и нельзя требовать, чтоб они поступали или жили все одинаково. А я вам когда-то писала про Иру, что она должна была прийти к ребятам, поговорить, объяснить.

А может, и вовсе не должна, раз у нее такой характер. Правда, мне больше по душе другие люди, ну, что ли, более общественные. Но в одном я, кажется, становлюсь уверенной: нельзя осуждать человека за индивидуальность, если этот человек правдивый и честный и не приносит вреда другим...»

И еще от Аллы:

«У нас в классе столько событий. Понимаете, наш десятый в школе был много лет лучшим и вдруг стал худшим. Почему? Потому что ребята взрослые и им хочется, чтобы с их мнением считались. У нас был диспут «Что значит быть честным? Как вы боретесь с нечестностью в вашем классе?»

И все свелось к... успеваемости. Если уж на то пошло, хоть зредка, но каждый ученик списывает. Ситуации бываю такие, что списывают. Но разве только об этом на диспуте надо было говорить?.. Мне кажется, что залопочное списывание будет до тех пор, пока существуют «оценки» за незнание и за неумение. Я что-то путаю, наверное. Но главное вот что: предметом нашего диспута была пустота. Да, да — диспут был ни о чем. А ведь Сухомлинский писал (я теперь много читаю, не только английские книги), что недопустимо делать предметом обсуждения в коллективе ничего. Теперь я вспоминаю то коллективное обсуждение Иры в «Искателе» и понимаю, что нам предложили обсудить ничего и даже обсуждать это ничего. Что мы и сделали, глупенькие... Кстати, на днях во Владивостоке шел фильм «Доживем до понедельника». Я думаю, в нем поставлены интересные проблемы. Отношения учителей и учеников. Как стать таким, как Илья Семенович? Как не стать таким, как эта учительница литературы? Как быть честным?»

Письмо от Иры:

«...Алла Сергеевна... Нет, сейчас я уже не сержусь на нее. Если она толковая, умная девочка и любит Олега, как Вы пишете, или дружит с ним по-настоящему, я бы посоветовала вот что: он должен получить серьезное общее образование, потому что потом на таком фундаменте можно строить что угодно. Пользуясь своим неписанным правом, я приказала прямо-таки ему учиться (я говорю о человеке, с которым у меня большая дружба. Раньше я стеснялась Вам это сказать)...»

У нас был диспут в Доме пионеров: «Что значит быть современным человеком?» Всекие точки зрения. И такая: если он умнее ее и больше знает, то она становится рабой мужчины. И дальше этот парень говорил все о равноправии в труде, в жизни. Я долго думала и пришла к выводу, что равноправие... возможно в духовном. Женщина облагораживает юного, мужчину. Вы не согласны? Я думаю, что женам декабристов надо было выйти на Сенатскую площадь вместе с мужчинами. Без всякого ору-

жья, конечно. В светлых платьях выйти на площадь. И они победили бы тогда...

Снова об «Искателе» хочется написать. Мне все еще частенько напоминают о той истории, а я стараюсь забыть...

Письмо от Аллы, в апреле 1972 года, после завершения третьей четверти (до экзаменов на аттестат зрелости рукой подать):

«Я начала сомневаться: куда идти — в педагогический институт или на филологическое отделение университета. Страшно: вдруг я стану заурядным учителем, а их и без меня много... Все чаще я ловлю себя на том, что раздражаюсь, нервничаю. Становлюсь нетерпимой. Если так будет и дальше, то двери школы для меня навсегда закрыты. Но хочется... хочется быть не вообще педагогом, а знать что-то глубоко и нести это знание другим.

И еще: помогать ребятам, то есть моим будущим ученикам, становиться честными, справедливыми и добрыми людьми.

Да, я забыла вам сказать, мы иногда встречаемся — те ребята из «Искателя», которые живут в нашем городе. И недавно мы договорились после экзаменов съездить к Ире, попросить у нее прощения. Может быть, Вам покажется нелепым — через два года извиняться, но лучше поздно, чем никогда. Алла».

От Иры была короткая записка перед экзаменами: «Последние недели в школе... Грустно и радостно...»

Два характера. Два человека, вступающие сегодня в большую, «взрослую» жизнь.

Бескомпромиссный характер Иры был ясен сразу. Алла повздоривало немалое время, чтобы осознать свою неправоту. Ведь, по сути, меж той девочкой, которая резко кидала свои обвинения в лицо «провинившейся», и той, которая писала мне, цитируя Сухомлинского, лежат целая эпоха. Я вспоминаю наши первые встречи, разговоры с Аллой. Она вся была во власти каких-то усредненных представлений о жизни. Мы спорили. Она кидалась в эти споры без оглядки, обрушивая на меня целый поток «истин»: «Не может один быть прав, а все неправы», «Плохо, когда человек хочет быть самым умным» или «Хочему она не захотела делать, как все?»...

Шли дни. Они приносили с собой много нового, не всегда и не сразу понятного: конфликт с Ирой, унижение при обыске (помните, пропал фотоаппарат), первая любовь, хорошие книги, диспуты... И постепенно в человеке начинало что-то меняться. «Нет двух людей, похожих друг на друга. Значит, наверное, и нельзя требовать, чтоб они поступали или жили все одинаково» — эти слова из письма шестнадцатилетней девочки говорят о многом.

А Ира? Она в свои пятнадцать лет была старше своих сверстниц. Самостоятельна в решениях, правдива. Последние школьные годы (тоже, как и у Аллы, до отказа заполненные событиями) активно утвердила в Ире то доброе начало, которое зародилось, очевидно, еще в детстве. «Я не переношу людей грулых, а есть удивительные типы...» Это уже позиция...

Два года с волнением и любопытством я наблюдала, как взрослеют мои девочки. И вот теперь уже знаю точно: они выстоят перед трудностями, всегда будут добрыми, принципиальными, честными, ибо ничто не оставляет в каждом из нас столь глубоко го следа, как уроки юности.



НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА

Б У Г И Н Ы

В заводском комитете Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола меня спросили:

— Значит, вас интересуют рабочие династии? Ясно... Что ж, есть у нас такие. И не одна. К примеру, Бугины... Шесть человек из этой семьи работают у нас на заводе. Вот познакомьтесь с ними. Не пожалеете...

Рабочая семья Бугиных молода. Мать, Мария Васильевна, приехала в Москву из деревни Савинково, Орловской области, в 50-е годы, тогда и пришла на завод. Отец, Евгений Федорович, демобилизовавшись по окончании войны, прибыл в столицу, а до войны тоже в деревне жил... Да, значит, в завкоме ошиблись: действительно, шестеро Бугиных работают на заводе, но пока только два рабочих поколения — отцы и дети... Деды же и прадеды были крестьянами...

Так вот, об этих отцах и детях, об их конфликтах и радостях, о том, что думают сегодня отцы о детях и дети об отцах, пойдет у нас разговор. На примере одной семьи — крепкой, рабочей, дружной.

Возможно, два эти поколения станут началом рабочей династии. Все основания для этого уже сеи-

час вне сомнения. Но пока... пока Бугиных семеро: мать, отец, два сына, две невестки и десятилетний внук...

Живут Бугины, как и семьдесят процентов работающих на АЗЛК, в новом, Люблинском, районе столицы. Недалеко отсюда — большой заводской стадион, Дворец водного спорта. Завершается строительство нового Дворца культуры.

Бугины живут в отдельной квартире, пока двухкомнатной.

— Вот Толик из армии вернется, заявление подадим, а то тесновато становится, семья-то растет, — говорит Мария Васильевна, знакомя меня со своим хозяйством.

Анатолий — это младший сын. До армии работал в кузовном цехе слесарем-сборщиком. Успел уже обзавестись семьей. Жена его, Тамара, работает в цехе сборки. А сын, Сашок, что-то там пиццет за сте-

На фото: слева — Евгений Федорович и Мария Васильевна Бугины, справа — Люда и Саша, в центре — сестра Мария Васильевна, Александра, старший техник на АЗЛК.

Фото С. ВАСИНА.

ной — с ним нянчится другая молодая семья, Люда и Саша. Саша работает в кузовном, а Люда — в отделе технического контроля. Вечерами учатся в автомеханическом техникуме; недалеко уже день, когда и Люда и Саша получат дипломы механиков. Глава семьи, Евгений Федорович, — риктовщик в том же кузовном цехе. Он-то, собственно, и привел туда, уважись собственной профессией, обоих своих сыновей.

...Глава семьи...

Высокий, смуглый, неслышно ходит он по комнате в мягких тапочках, прислушиваясь к нашей беседе, и чуть что поглядывает на жену. Ведь именно она, Мария Васильевна, всему и всем здесь хозяйка. Все Бугины-мужчины подчиняются ей: сыновья — чуть шутливо, посмеиваясь (как же, молодые, горды!), а отец — абсолютно серьезно. Уж он-то знает, сколько сил, энергии постоянно, как говорится, «без страха и упрека», тратит мать на семью. И какие трудности, испытания пришлось ей выдержать. Он-то знает! Ведь прожили они вместе без малого двадцать пять лет — серебряная свадьба скоро... А если вспомнить, какой он ее тогда, четверть века назад, встретил, увидел, полюбил? Если вспомнить — что, сильно изменилась?

Нет, — говорит он мне. — Такая же и была. Можеет, только чуть-чуть попоплее...

Мария Васильевна смеется:

— Что ты, Женя! Я же тонисенькая тогда была. И косы, помнишь, какие... Еслн б ты меня такую, как сейчас, встретил, так разве влюбился бы?

— Наверняка! Ну, ладно, мы уж прости́те меня, — это он обращается ко мне, — я пойду посмотрю, что там с внуком...

— Серьезный он у меня! — улыбаясь Мария Васильевна. — И смущается, как мальчишка, не любит, когда мы с ним о нашей молодости при ком-нибудь малознакомом вспоминаем. Ну, будто ревнует. А почему бы не вспомнить? Ведь и тогда хорошо было, пусть и трудно. Вот, к примеру, как мы с Женей поженились... После работы — ведь на заводе вместе работали — поехали в Ждановский загс: ни свидетелей, ни цветов, ни музыки, ни шампанского. Расписались на трамвай сели, на «двадцатку», и обратно поехали... Вот и вся свадьба. Другое дело — у наших сыновей. Гости полон дом, пир, веселье. Мы с Женей у сынков на свадьбах отгуляли вроде и за себя самих. Хорошо так а душе было: молодежь веселилась. И мы с ними. А ведь зря, думаю, сейчас ворчат на молодых-то. Ну, зачем ворчат, старость только свою показывать? Не завидовать же, что им легче живется, чем нам в их годы, — радоваться надо. И нечего ребят молодыми годами корить. Да и потом, свои у них теперь трудности, и много; и знать им надо больше и уметь. Время идет, и другие сейчас требования. И ведь не бездельничают они, молодые. Работают — либо-дорого посмотрят. Вот, к примеру, и мои ребята... Иной раз придешь к ним в цех, встанешь незаметно в сторонке: Саша, Толик, руки у них мелькают, локви — не угадывшь. Точно, как часы, работают. Посмотришь на них да и думаешь: «Ну, чего тебе еще надо, мать? Главное, чтобы трудились. Чтoб честными, работающими выросли». Нет, правда! — Мария Васильевна смущенно улыбнулась. — Я не хвастаюсь, в самом деле, хорошие у меня сыновья...

— Молодые, молодые... — Евгений Федорович (он уже вернулся от внука), оказывается, не всегда безоговорочно принимает точку зрения жены. Сейчас вот он готов с ней и поспорить: — Молодые! Дисциплины у них нет, у молодых. Вот я, к примеру, еслн в вечернюю смену работу, из дома без десяти три выхожу. А на месте надо в четыре быть.

Так я спокойно, не спеша еду: автобус полный — следующего подожду, без нервотрепки чтобы... И успею спокойно по цеху пройтись, место свое рабочее подготовить. Всегда на работу загодя прихожу, такая у меня привычка, и, между прочим, смолдоу... А эти, нынешние молодые, летят слома голову. В напоследний момент...

— Так не опаздывают ведь, — защищает молодых Мария Васильевна.

— Но могут опоздать! — Евгений Федорович грозно повышает голос. — Зачем же рисковать понапрасну?! Потом выговора выслушивать. Неудобно ведь, неловко. Самого себя уважать надо...

— Вот и неправ ты, Женя, — Мария Васильевна не так легко победить. — Ты время не умеешь экономить. А им, молодым, оно в два раза, а то и больше дороже, чем тебе. Потому и спешат они, понятнo... Вы, старики, за полчаса часа, как гуси, плывете. Бродите потом по заводу без толку, все равно же раньше смены не заступите: другие уйдут, тогда... И нечего хвастать, что ты на завалинке смены поджидаешь, дисциплинированный какой...

— И вовсе не на завалинке, а свои производственные дела выясняю... Всегда найдется что до смеи сделать. Завод ведь. А потом, зачем ты говоришь так: мол, старики...

— Ну, не обижайся, не обижайся, Женя... Я ведь тоже, значит, старуха...

(А он и не обижается, я вижу.)

Мария Васильевна поправляет скатерть на столе: — Я, конечно, при сыновьях с отцом так не разговариваю. Берегу отцовский авторитет. Но ведь, кроме меня, кто ему объяснит, еслн он не прав? Вот и приходится... Женя, ты не сердись. Лучше согласишься со мной.

— Ты всегда так: согласишься да согласишься. А еслн у меня свои на этот счет соображения? — Евгений Федорович опять выходит из комнаты. — Надо проверить, как там мясо в духовке, не пригорело ли...

Едва муж выходит, Мария Васильевна говорит гордо:

— Он у меня кулинар! Такие блюда готовят... Научился еще в армии. А потом, когда мы в Расторгеве жили, ему даже чаще приходилось готовить, чем мне. Приду с работы иной раз такая усталая, как сноп на кровать валюсь. А Женя мне и супчика подаст и посуду сам вымоет. Знаете, трудно нам тогда приходилось. Когда поженились, жили в семейном общежитии, в комнате на восемь человек. Потом комнату нам дали. Сашок родился, за ним — Толик. На работу ездили — два часа в один конец. Девять лет вот так прожили. А потом, 14 октября 1961 года, на всю жизнь число запомнила, — получили мы вот эту квартиру. А несколько лет прошло, и видишь, мала нам она, больший простор требуется...

Мария Васильевна обводит глазами комнату. Представляет уже, наверное, стены новой квартиры, и мебель новую, и новый вид из окна... Она, хозяйка, мать, раньше других в семье начинает обдумывать, планировать, готовится к предстоящим переменам. И утром она встает первая, в половине шестого, чтобы успеть приготовить еду, убрать, постирать, да мало ли еще что! Мужчины, еслн им во вторую смену, могут и подольше постоять, а у матери всегда забот — не пересчитать, не переделать...

В семье у Бугиных зарплату, как в кассу, сдают Мария Васильевна.

— Я деньги только в день получки в руках и держу, — шутливо ворчит Евгений Федорович. — А муж у нас — казначейша. Какими суммами ворочает!...

— Значит, так, — задумывается Мария Васильевна, — сколько же это у нас вместе-то выходит? Отец

250 рублей приносит, я — 130, если в среднем брать. Саша — 160—180, Люда — 90. Толки — примерно 160—180 рублей, Тамара столько же... А много получается! — Марья Васильевна вроде и сама удивлена. — А что удивляться-то? — возражает она самой себе. — Все уже на ногах, все зарабатывают. Мы теперь с отцом можем быть спокойны — детей своих в люди вывели...

...Детей своих в люди вывели...

...Сыновья избирают себе профессию отца и приходят на тот же завод, в тот же цех, где отец трудился уже много лет. Конечно, сама заводская атмосфера, в данном случае еще и живая, я бы сказала, очень творческая работа по созданию малолитражного автомобиля «Москвич», увлекает. Но увлечение не всегда призвание. Увлечении меняются, а призвание — на всю жизнь. Старший Бугин действительно помог (собственным примером!) Саше и Анатолию найти свое призвание, и не случайно сыновья пришли в кузовной цех. Сейчас они рабочие, но будут и техниками, а может, позднее инженерами. И я твердо убеждена, побывав в бугинском доме, что завод имени Ленинского комсомола — истинное призвание не только нынешних Бугиных, но и будущих... Наверное, это и есть ощущение капитулы династии. И, значит, в замке не ошиблись, когда предложили мне познакомиться именно с ними...

...Щелкает замок в передней, слышатся возня и смех — они тутчас обрываются, едва вошедшая в комнату молодая пара замечает посторонних.

Люда и Саша. В глазах Люды растерянность. Саша спокойно, с достоинством подходит, протягивает для приветствия руку: «Александр...» Походка тяжеловатая, солидная, не соответствует юношески легкому его телу. Саша высок, выше отца, а когда наклоняет голову, светлая, густая челка падает ему на лоб. Лицо узкое, смуглое, с внимательным прищуром глаз. И у Саши и у Люды на пальцах обрубальныые кольца, новенькие, блестящие: «Пять месяцев как пожелались». Видно, что оба еще не очень свыклись с новой для них ролью супругов.

— Надень кофту, дует от окна, — говорит Саша, придерживая жену за плечи. А она, искоса глянув на окружающих, осторожно отводит его руки...

— Как мы познакомились? — переспрашивает меня Саша. — Да как часто водится — случайно. Я в заводскую поликлинику зубы пришел лечить, а она, — Саша кивает на жену, — кабинет хирурга искала. Пока ждали, разговорились. «Где живете?» — спрашиваю. «На Соколе», — говорит. «Ну, — думаю, — далеко. Провожать не поеду. Зуб только что вырвали — болит, нет сил...» Не поехал. А потом снова встретились и снова случайно — в вечерней школе. Опять провожать не поехал. Потом я в армию ушел. Вернулся — в техникум поступать решил, к экзаменам готовиться. Мать предлагает: «Тут девушка одна со мной работает, так она тоже не так давно в техникум сдавала. Спросить, может, остались у нее какие билеты, конспекты?» «Спроси», — говорю. Прихожу за конспектами — вижу, та самая Люда. И с тех вот конспектов стали мы с ней встречаться почти что каждый день...

— Ты меня тогда еще в кино пригласил, — говорит Люда.

— Когда?

— Ну тогда же, когда конспекты брал...

— Что-то не припоминаю... Разве такое было? — Саша подраживает жену. — По-моему, это ты мне сказала: давай, мол, завтра встретимся после работы, в кино сходим...

— Что?! — Люда возмущена. — Может, я первая с тобой и объяснялась сама?

— Ну нет, чего не было, того не было. Это ж мое мужское преимущество, с чего бы я стал его тебе отдавать? — Улыбаясь, Саша пытается обнять жену, но она обиженно вырывается и пересаживается подальше в кресло...

— Конечно, — продолжает Саша, — мать права. Отдельно нам с Людой жить надо. Не потому, что с родителями соррмис или мешают они нам, нет, конечно. Дружно живем. Но мать говорит: «В отдельном доме вы оба станете самостоятельными. И Люде надо почувствовать себя настоящей хозяйкой». Правильно. Очень мы эту отдельную квартиру ждем — себя самих, наконец, сможем проверить, испытать на взрослость, что ли... Хотя и знаю точно: буду без родителей скучать. Вот мать: на ней весь дом держится. Раньше всех встает, позже всех ложится. И кажется, сил в ней, как в молодой девочке. Сейчас-то у нас с деньгами порядок. А раньше, когда мы с братом маленькими были, туго приходилось. Но мать и одевала и обувала нас очень прилично, даже хорошо. А когда я после армии вернулся, повела меня по магазинам. И то, говорит, надо купить, и это. Костом спина, пальто, ну, целое приданое. И брату все так же, когда решил он жениться. Вышла мы с ним как-то во двор нарядные! Мать глядит из окна, улыбается. И вдруг как заплачет... Мы с братом даже испугались. А она рукой нам замалахала: мол, идите, идите, это я так... На заводе найдем я еще до армии начал работать, а потом, демобилизовавшись, туда же устроился. В свой же цех, на конвейер. Брат напротив, на подборке стоял, а я «на крыльях». То есть крылья ставил на кузова. Нас так «крыльщиками» и называют. И очень хотелось мне побольше заработать. Нет, не из жадности, правда. А хотелось теперь, когда из армии вернулся, большую сумму в семью вносить, чтобы и другие почувствовали и я сам: теперь вот уже не пацан, взрослый, мужчина... И еще хотелось, чтобы мать поняла: недаром она нас с братом столько лет тянула, ради нас на себе экономила. Иной раз даже разозлились: «Что это ты Толкику третья пару ботинок покупаешь, а сама столько лет ходишь в старом пальто!» А она: «Ладно, ладно, в следующем месяце...» Месяц проходит — опять тащит обновки нам... Мы, конечно, и сами могли бы ей подарок купить — так ведь все деньги-то у нее, у матери. Ну ничего, соберемся как-нибудь, разодем мать, как невесту!.. А отец, он у нас только с виду тихий. Спорщик!.. Газеты, журналы до последней строчки вычитывает, и то интересно ему показалось, вырежет и спрячет. Потом обсуждать что-нибудь начнем — у кого одна, у кого другая точка зрения. Тут отец эти свои вырезки несет: «Ну как, — говорит, — видите? Кто прав?» Ох и упрямый...

— Ты зато у нас голубь. — Люда насмешливо смотрит на мужа.

— Нет, конечно. Никто из нас не голубь. Но тем не менее живем — не соррмис, любим друг друга, уважаем...

...Саша сидел в кресле напротив — современный, модно одетый парень. Приветлив, улыбчив — было легко, свободно с ним говорить.

— Саша, а как ты считаешь, кто такой сегодняшний рабочий человек? Что ты в себе самом ощущаешь, чего не было или нет, даже в твоих родителях? Понимаешь: не опыт — в этом мы с родителями не можем соперничать. Что-то другое...

— Видишь ли, — начинает Саша, — когда-то мы жили в Расторгуеве, в поселке, родители рассказывали, да! Ну так вот, приходилось вставать очень рано, в 5—6 часов. Родители перед работой везли нас в детский сад. Выводили за руку на улицу — мы с бра-

том спросонья и не видели ничего, не замечали. А отцу с матерью нужно было не только свою усталость, невеселость утреннюю преодолеть, но и следить, чтобы мы с Толиком не раскапризничались. Мы же, само собой, капризничали, а они успокаивали, никогда не раздражались. А может, и раздражались, но виду не показывали. Не ругали нас, не сердились, а просто... Ты заметила, как наша мать иногда смотрит? Ну, если она хочет, чтобы сосредоточились мы, обдумали что-то, самостоятельно решили. Долго так смотрит, пристально. И начинаешь соображать: «Да, да, права ты, мама...» Вот так она и в детстве на нас смотрела... Им с отцом раньше трудно было, да и сейчас нелегко: за всех нас переживать, волноваться. Но мать, сколько бы дел и забот у нее ни было, все еще чувствует себя сильной, молодой. А почему? Да потому, что всегда — и дома и на работе — сия своих не жалела. Закалка у нее такая. Как погиб ее отец на фронте и остались они с матерью одни — так и на всю жизнь: сама, сама, никогда ни на кого не рассчитывая. А потом вот отца встретили... — У нас в семье, — продолжает Саша, — сейчас уже три сына образовались. Тесновато стало. Толик из армии вернется — как разместится? Я матери и говорю: «Что делать-то будем?» А она посмотрела на меня не то что с осуждением, ну, в общем, вырази-

тельно так. «Ты, — говорит, — сынок, не паникуй. Получим просторней квартиру. А до того, ничего, проживем... Места на всех хватит. Не может быть, чтобы свои, родные люди места друг для друга не нашли». Сказала, и так мне стыдно за себя стало! И в то же время будто полегало. «Действительно, — думаю, — не может быть, чтобы не устроились мы все. Чтобы родственники, родные, крышу над головой не поделили!» Хоть и тесно, — а главное, дружно все мы живем. Только не знаю, было бы так, если бы не мать. Это ведь она всех нас сплачивает, скрепляет. И вот ты спросила, что я в себе такого чувствую, чего не было и нет в родителях моих... Да, чувствую: очень многого мне не хватает еще в сравнении с ними. Повимаешь, не хватало... А потому хочу, чтобы сына нашего воспитывали не только мы с женой, но и родители наши, мать, правда, Люда?

Люда сидела рядом, прислонившись к мужу плечом. Действительно, взрослый, сильный, самостоятельный мужчина. И жене его наверняка надежно, спокойно с ним. Он уже, без сомнения, сам готов к воспитанию будущего сына. И, пожалуй, именно в этот момент я окончательно поняла: да, будет рабочая династия Бугиных, лучшие черты первых двух поколений — мужество, честь, достоинство — наверняка перейдут от деда к отцу, к сыну, к внуку...

М. ПОЗНЯЕВ



ВЕСНА ХУДОЖНИКА

(к 3-й странице обложки).

Теперь, кажется, взялись за кропотливое обозрение работ художников-самоучек. Как слышно, что их отделили от пестрой гурьбы примитивистов и стали величать по-особенному — называли наивными реалистами.

Откровение, вполне испытанное нами полтора десятилетия тому, при «втором пришествии» Нико Пироманишвили, не исчерпано. Видимо, уже созрела необходимость издания толстого фолианта, подобного югославской и чешской «антологиям» народных картин, по крайней мере регулярных вернисажей — так много повсюду слышится имен забытых и новых. Тем более есть к тому способные люди (например, Т. А. Маврина, написавшая книжку о мастерах из Горького, Б. Бугин-Сиверский, автор долгого труда «Народные украинские рисунки»).

Одно грустное обстоятельство в тцании современников: повторы похвалы, высказанные впервые нашими отцами и дедками давным-давно. Такое приключилось и с Пироманиши и с Марией Приймаченко, колхозницы села Болотня, что под Киевом.

Книга писателя Геннадия Гора «Константин Панков. немецкий художник» (издательство «Аврора», 1973) познакомила любителей с художником Панковым, познакомила заново: картины Константина Панкова еще в 1937 году были отмечены золотой медалью Парижской международной выставки.

Панков — сын немца и еврейки. Большую долю своей жизни он провел на Севере, занимаясь охотой и рыболовством. В середине тридцатых годов в Институте народов Севера в Ленинграде существовала художественная мастерская. Ее возглавляли А. Успенский и Л. Месс. Вместе с другими там занимался Панков.

Времене на рисование он получил мало. Когда началась война, он стал разведчиком и стрелком-снай-

пером. Воротиться в мастерскую ему не было суждено. Константин Алексеевич Панков был убит на Волховском фронте тридцати двух лет от роду. Картины и рисунки — наследство и завещание — сохранили его друзьями и почитателями (немногими тогда).

Один из них, Г. Гор, отобрал семнадцать работ и почтливо помнит погибшего мастера добрым словом. Вот перед нами книга.

Что рисовал Панков и зачем он это делал? Путь к осознанию странного мировосприятия самоучки не нисхождение, но в о с х о ж д е н и е. Я не пытаюсь вспомнить об античных вазах, о японской и китайской графике. В самом деле, странные, восточные «поющие» горы Панкова с продолговатыми турами и черными штрихами растительности, горы туманные, будто призрачные, набирающие цветовую силу на границе с атмосферой, напоминают и по форме и по колориту свитки Эссэи, или рисписи храма Цаньфодун, или разрисованные ширмы.

Но суть в невероятном изощрении простых, точнее, простоватых охотничьих сцен К. Панкова. В оощущении эстетичности бытия автора, так легко переносимой на бумагу. Вот где самое большое родство с художниками прошлых веков.

Константин Панков — реалист до корнев волос. Но мало есть в наше время и таких романтиков, как он.

Свои горы, деревья, облака, свои реки он описывал с любовью, жглой одержимостью, с такой легкой влюбленностью, как Моне — свой Руанский собор, во все погоды и времена.

Посмотрите сами, сколь обширна выдумка и сила художника, удивительное разнообразие вроде бы повторяющегося на его полотнах сюжета. Перефразируя поэта, воскликну: многочисленные панковские охотники и рыбки не то чтобы вариации, но темы.

Константин Панков образовался как блестящий мастер до того, как впервые преступил порог Эрмитажа. Геннадий Гор вот что пишет: «Успенский и Месс пока откладывали эту экскурсию... именно потому, что Панков не видел раньше картин, если не считать портретов, которые висели в институте. Первую же увиденную на эту большую выставку картину он мог воспринять как абсолют, как незыблемую норму, которой он обязан подражать, всецело подчинив свою волю законам «чужого» видения». Не произошло такого. Спасибо учителям. Но спасибо и ученику, истинно народному таланту.

Панков — художник. Панков — композитор, музыкант. Панков — добрый и храбрый охотник. Вот он на своей картине «Весна» ловит рыбу. Крепкий, жизнерадостный человек. Цветут фантастические деревья, кусты, травы. Дрожат рыбки, синим пламенем горит река. Летят в небе птицы. Весна Константина Панкова теперь продолжилась руками его друзей.

Михаил Квливидзе



Мы говорим порою в восхищенье:
Высокий дух, высокая мечта,
Высокий смысл высоких побуждений...
В конце концов, что значит высота!

В излишние подробности пускаться
Не станем: объяснения просты!
Не над другими — над собой подняться
Сумеи! И ты достигнешь высоты!

Перевела с грузинского
Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.

Лирический репортаж с проспекта Руставели

Ошибся тот, кто думал, что проспект
есть улица. Он влажный брег стихии
страстей и тайнств. Туфельки сухие,
чтоб вымокнуть, летят в его просвет.

Уж вымокли — как тяжёлый труд ходьбы
красавицам! Им стыдно или скучно
ходить, как мы. Им ведомо искусство
скольжения по острою судьбы.

Простое слово чуждо их уму,
и плутовства необъяснимый гений
возводит в степень долгих песнопений
два слова: «Неуже-ели! Почему-у!»

Ах, неуже-ели это март настал!
Но почему-у так жарко! Это странно!
Красавицы среди стекол ресторана
пьют кофе: он угоден их устам.

Как опрометчив доблестный простак,
что не хотел остаться в отдалении!
Под взглядом их потусторонней лени
он терпит унижение и страх.

Так я шутил, так брезговал бедой,
покуда на проспекте Руставели
кончался день. Платаны розовели.
Шел тёплый дождь. Я был седым-седой.

Перевела с грузинского
Б. АХМАДУЛИНА



Памяти Тенгиза Сухишвили.

Мне непонятно, как произошло
То, что казалось раньше невозможным:
Меня с собою время увлекло
В иные дни,
А он остался с прошлым.
И вот я — то, чем был когда-то он,
А он теперь — то, чем я стану тоже,
Живёт он вне пространств и вне времен,
И встретиться мы с ним уже не можем.
Здесь все бессильно.
Даже мысль моя
Мне говорит, что надо покориться.
Мне в прошлое уже не возвратиться,
Ему не выйти из небытия.
Мы вместе никогда уж не пройдем
По улицам тбилиским и духаны
Не посетим,
И полные стаканы
Не зазвенят за праздничным столом.
Он никогда ко мне не подойдет,
Мы стали друг для друга неподвижны,
И наши голоса уже не слышны...
Я не могу назад, а он вперед.

Перевел с грузинского
А. МЕЖИРОВ

Последний раунд

Почва дрожит... воздух дымится...
море иссякло... высохли воды...
Это сражение недолго продлится —
близится отступление Природы.
Пересыхают, как горло, ущелья,
стонут и воют пласты низовые,
и умирают стоя деревья,
как молчаливые часовые.
Бегство... Природа уходит в потемки.
Земли побиты и жарки, как гумна.
Может, уже не услышат потомки,
как соловьи распевают безумно.
Где они — словно чума их настигла —
лани, козули, олени и барсы!
В дёбрах на шее последнего тигра
жестью звенит номерок канцелярский.
И не спасется от участи черной
каждый ручей в долине окрестной.
Насторожен, как десант обреченный,
Сад, где гремят городские оркестры.
Оранжереи и зоопарки,
как лагеря для военнопленных...
Всюду гудрон, черный и жаркий,
вместо цветочков обыкновенных.
Странной победой мы увенчались —
мы победили Матерь-Природу.
Смотрим порою, мало печалься,
в мертвую рощу, в тухлую воду.
Срублены кедры, срублены рыбы,
пахнут мазутом тусклые реки...
Будем ли мы так же счастливы,
если и солнце сгинет навеки!!

Перевел с грузинского
Д. САМОИЛОВ

Спор о танцах все чаще разгорается в кругах людей старшего возраста. А что в это время делает молодежь? Она танцует, если можно назвать танцем жуткую пародию на танец. Часто молодые люди приходят на танцы, выпив. А что они танцуют? Шейк и снова шейк. И шейк, и фокстрот, и танго они танцуют неправильно. Ведь было время, когда учили танцам в школе, в военных училищах. Приходя на вечер, все знали, как себя вести, веселились и не чувствовали неловкости. А что происходит сейчас? В яслях и детском садике нас учат хороводным танцам и вообще танцам этого возраста. Дальше — школа. Теперь в школах бывают вечера танцев, правда, не во всех, так как это дело довольно хлопотливое. Случаются иногда стычки с теми, кто является на танцы в нетрезвом виде, а взрослые хлопот не любят. Но вечера проводятся, а где же молодежи учиться танцевать? На вечерах ведь не учат. Вот и смотрят друг на друга, кто как танцует, и подражают. И какая бы ни была музыка, движения ничем не отличаются одно от другого, и все танцы похожи, и даже вальс — прекрасный плавный танец — все танцуют, как шейк. И то, что делается на танцевальных площадках, нередко выходит за рамки приличия. Почему ребята, идя на танцевальную площадку, выпивают? Да потому, что они не умеют танцевать, им стыдно, и, чтобы как-то загладить застенчивость и неловкость, они прибегают к алкоголю. И девушки, хоть и боятся пьяных юношей, но желание быть в кругу своих сверстников, побывать на танцах, порезвиться побеждает. А вечеринки, гулянья, праздники, семейные торжества? Редко мы видим заборные русские народные танцы. Везде тот же шейк, или, если старшие «гуляют», то просто бесформенное топтание ногами под любую музыку, а то и без музыки. Ведь танцы — это часть эстетического воспитания молодежи и вообще советского человека! Об этом нужно подумать сегодня, сейчас! Что у нас делается в этом направлении? Есть школы балльных танцев. Проходят в некоторых городах — я повторяю, в некоторых городах — смотры, фестивали, конкурсы танцев, но это для тех, кто уже умеет танцевать. Есть передача по телевидению раз в месяц — «Танцевальный зал», но за полчаса в месяц ни один человек не научится танцевать. Есть кое-где кружки танцев, но это не охватывает широкие массы, проводятся, как правило, в очень больших городах. А в небольших городах, а тем более в селе? Думается, что в школе, начиная с первого класса и до десятого, нужно учить детей танцу. Пужна и теория — объяснять детям, какой это танец, что он выражает и как его танцевать, как вести себя на танцах и вообще в обществе. Обучать русскому национальному и классическому балльному танцу, изучать плясовые танцы — с зачетом в аттестате зрелости. И возродятся былые традиции нашего народа с весельями вечерами, с плясками и песнями. И в педагогических институтах уже сейчас следует вести танцы, как дисциплину, чтобы каждый педагог обязательно умел танцевать, да и во всех высших и средних учебных заведениях нужны уроки танцев. Нужны и пособия. Продаются ноты и самоучители игры на разных инструментах. Но по танцам, даже по простым, нет никаких руководств и описаний. Если родители хотят выучить ребенка музыке, они могут отдать его в музыкальную школу, или даже пригласить домой музыканта для обучения, но если они захотят научить ребенка танцевать, — увы! Хореографические школы — это уже балет, профессия, а нужно совсем другое, нужно научить всех детей танцевать хорошо и по-настоящему. Обучение танцам привьет и культуру красивого отношения к девушке, женщине. Танцы внесут в нашу жизнь много радости и красоты. Хочется, чтобы мы смогли сказать, как говорят кубинцы: «Танец — это наш национальный спорт».

Олег АВРУШИН

г. Горячий Ключ, Краснодарского края.

Редакция хотела бы узнать мнения читателей об этом письме.

Интересно было бы познакомиться с положительным опытом.

Напишите нам о том, как организуются и проходят танцевальные вечера в ваших школах, техникумах, училищах, как готовятся к ним ученики и педагоги, как и что танцуют у вас на домашних вечеринках, как вы учились танцевать?



СНОВА О ТАНЦЕ





НАДЕЯТЬСЯ — ЗНАЧИТ ЖИТЬ

ГЛАВНОЕ — ПРИНОСИТЬ
ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Говорит Г. А. ЗАЙЦЕВ,
доктор физико-математических наук,
профессор.

«**П**рочла в «Юности» письмо о Вас, о Вашей жизни. Восторгаюсь Вами, Вашей волей, умом и талантом...»
«Горжусь Вами, благодарен, верю Вам, верю в Вас, желаю, чтобы Вы лишней раз доказали, что человек, тем более в науке, утвердился не только ногами и руками...»

«Вы просто герой, Ваша борьба с болезнью вселяет во многих веру, что бороться можно и нужно...»

«...Я часто задаю себе вопрос: «Зачем я живу?» И вот, прочитав статью, я обрел надежду. А надеяться — значит жить...»

Сотни подобных писем со всех концов страны приходят в редакцию журнала «Юность» для передачи профессору Г. А. Зайцеву. Начавший в конце прошлого года, когда журнал опубликовал очерк писателя Льва Кокина «Судьба Георгия Зайцева, перестроенная им самим», этот поток писем не иссякает и поныне. В очерке рассказывалось о силе духа человека, преодолевшего тяжкие страдания, принесенные ему болезнью — прогрессирующей мышечной дистрофией. И вот теперь в письмах юншей, девушек и людей зрелого возраста высказывается искреннее сочувствие Г. А. Зайцеву по поводу постигшей его беды, восхищение мужеством этого человека, его великодушным характером бойца. Во многих письмах страдающие той же болезнью, что и Г. А. Зайцев, просят помочь им, дать нужный совет, поддержать.

«Дорогой Георгий Александрович!.. Меня потрясло Ваше мужество, воля, упорство... Я сама страдаю такой же болезнью 20 лет. Помогите мне, пожалуйста! Вы сильный человек, и за такими людьми я всю жизнь тянусь, они не раз меня спасали, когда в самую трудную минуту протягивали руку помощи. До свидания. Очень жду».

Особенно много писем от молодежи; эти письма затрагивают вопросы, связанные с общечеловеческими проблемами.

И не случайно во многих письмах звучит такой мотив: жизнь Г. А. Зайцева — это пример мужества, целеустремленности, чего порой не хватает нам, здоровым, молодым».

Для ответа на все эти письма редакция предоставляет страницы журнала профессору Г. А. Зайцеву и автору очерка о нем — писателю Льву Кокину.

«**П**редо мной большое и все возрастающее количество писем, поступивших ко мне после опубликования очерка Л. Кокина. Я считал своим долгом отвечать на каждое из этих писем, но их оказалось столько, что дать ответ всем читателям физически невозможно. Между тем в письмах ставятся многие вопросы, в большинстве связанные с важнейшими проблемами «Что делать и как жить?». Я хотел бы через «Юность» в какой-то степени дать ответ хотя бы на часть подобного рода вопросов.

Много писем пришло от молодежи, от учащихся. В их числе письма коллективов школьников из Баку, Харькова, Воронежа и других городов с просьбой рассказать им о моей юности и высказать советы в отношении учения. Привожу свой ответ учащимся школы № 53 Октябрьского района г. Баку.

«Дорогие бакинские школьники!

Вы просите меня рассказать о моей юности и о том, как я выучил три иностранных языка.

В школе я изучал немецкий язык. В шестом и седьмом классах я понял, что если ограничиваться одним учебником, то языком хорошо не овладеешь. Поэтому начиная с седьмого класса я стал систематически читать книжки на немецком языке — сначала адаптированные, а затем со словарем и более сложные. К концу обучения в школе я получил возможность свободно читать уже любую художественную литературу на немецком языке.

Английский язык я начал изучать самостоятельно в восьмом классе. Во время летних каникул после окончания восьмого класса я занимался английским языком ежедневно не менее чем по восемь-девять часов, включая воскресенье. В результате к девятому классу я уже овладел английским языком в объеме институтской программы. Наконец, французский я выучил уже после окончания института.

Очень хорошо, что вы любите физику. Но в этой связи я хочу подчеркнуть особое значение математики для физики и для всех других точных наук. Поэтому вы должны хорошо знать математику и, что особенно важно для вашей будущей творческой деятельности, уметь решать математические задачи. В школе я старался глубже овладеть математикой.

В заключение последнее. Хорошо запомните, что вы учитесь не для отметок, а для знаний. Убеждение в том, что это именно так, помогло мне спокойно отнестись к тому, что после седьмого класса из-за

самостоятельного углубленного изучения ряда предметов я стал получать не круглые пятерки, как было до этого, а пятерки и четверки».

В дополнение к сказанному в этом письме мне бы хотелось еще раз напомнить моим молодым корреспондентам и друзьям — учащимся школ, техникумов и вузов, что годы учения — важнейший период, от которого зависит вся дальнейшая судьба человека. Поэтому нужно постараться сделать все возможное, чтобы выработать у себя в эти годы стойкий характер и приобрести максимум необходимых для дальнейшего знаний и навыков.

Многие ребята пишут мне о своей жизни, заботах и радостях, нередко присылают мне свои фотографии, а совет пионерской дружины воронежской спецшколы-интерната № 9 одному из своих отрядов присвоил мое имя. Искренне благодарю моих юных друзей за оказанную мне большую честь.

Не буду здесь касаться писем, связанных с наукой, а также отдельных теплых писем просто от хороших людей. Сразу перейду к письмам от тех, кто оказался в очень трудном положении из-за какой-либо хронической болезни и ищет ответа на вопросы, что делать и как дальше жить.

Обдумывая эти письма, я прихожу к выводу, что основной жизненной проблемой для людей, пораженных тем или иным хроническим заболеванием, является не сама болезнь, а вызванные ею трудности, связанные с необходимостью занимать свое место в человеческом коллективе. Человек не может жить, не опираясь на результаты труда других людей, а его самого будут, в свою очередь, ценить лишь за то, что он сделал для других. Поэтому главное в жизни — принести пользу людям. Человеку не страшны никакие заболевания, если они не мешают ему трудиться для людей, быть равноправным членом общества. Отсюда вывод: если человека постигло пугающей даже серьезное заболевание (а такое может случиться со всяким), он все равно должен заполнить свою жизнь плодотворной деятельностью. Видя такой деятельности, разумеется, могут быть самые различные, и каждый конкретный случай требует индивидуального подхода.

Есть и другая сторона вопроса. К заболевшим людям нельзя во всех отношениях подходить с обычными мерками. Они могут приносить пользу обществу лишь при создании специальных условий, учитывающих их состояние здоровья. Решение этой задачи имело бы большую общественную значимость.

В очерке Льва Кокина были приведены выдержки из «Истории моей болезни с анализом литературы и методов лечения». Это вызвало поток писем от больных с таким же, как у меня, диагнозом: прогрессирующая мышечная дистрофия. Узнав из очерка Л. Кокина, что я еще смелоду изучаю едва ли не всю мировую литературу, связанную с моим заболеванием, меня просят помочь в лечении этой болезни. Позволю себе сказать следующее. С чисто научной точки зрения данная болезнь очень интересна. Выяснение более глубокой биохимической природы этой болезни не только ключ к ее лечению, но и предпосылка для открытия каких-то важных закономерностей живой материи, могущих иметь далеко идущие практические последствия. В настоящее время эффективных методов лечения прогрессирующей мышечной дистрофии не существует. Однако наука накопила достаточно данных, позволяющих утверждать, что пути решения имеются.

Один человек, даже очень заинтересованный, не может решить возникающие здесь глубокие проблемы, которые под силу только крупному научному коллективу. Поэтому целесообразным в теоретическом и практическом отношении было бы создание

научного центра по изучению и лечению нервно-мышечных заболеваний, связанных с генетической предрасположенностью. Такой центр мог бы работать, скажем, в рамках Академии медицинских наук при координации с биологическими отделениями Академии наук СССР. Со страниц журнала «Юность» я хотел бы от себя и от лица многих больных и здоровых людей обратиться к соответствующим организациям с просьбой подумать о возможности создания такого научно-клинического центра.

Автор очерка
Лев КОКИН добавляет:

УСЛОВИЕ УСПЕХА — ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

На очерк откликнулись и ученые — биологи, медики. Узнав историю Г. А. Зайцева, сотрудников Лаборатории физической биохимии Института биофизики Академии наук СССР специально обсуждали на научном лабораторном семинаре, не могут ли они ему чем-то помочь. Невропатолог из Нальчика, заслуженный врач И. М. Перельман, не только написал Георгию Александровичу, но, человек пожилой, пенсионер, нашел силы съездить к нему в Нальчика в Иваново, за две тысячи километров! Думаю, что вместе с читателями могу сказать сердечное спасибо старому доктору.

Во многих письмах спрашивается о том, что, может быть, четче других сформулировал читатель Олег Балабин: «Георгием Александровичем можно только восхищаться. А вот медициной?..» В самом деле, чем объясняются сравнительно скромные возможности в лечении подобного рода болезней? Порасспросив об этом биохимиков, биофизиков, медиков, суммирую их в общем-то единодушные объяснения.

Речь идет о целой группе нервно-мышечных заболеваний — миопатий, неодинаковых и по течению и по тому, какие именно мышцы при этом страдают. Эти болезни изучаются уже более ста лет, в том числе и отечественными учеными, среди которых наиболее известно имя покойного академика С. Н. Давиденкова. Установлено, что миопатии имеют характер наследственных болезней. Совместными усилиями биохимиков, генетиков, неврологов выявлены многие нарушения обмена веществ, приводящие к постепенной гибели мышцы. Однако первопричина всех этих нарушений пока еще неясна.

Сложность задачи усугубляется еще тем, что не до конца поняты и процессы, которые происходят в нормальной, здоровой мышце. За последние годы здесь немало достигнуто биофизиками, чьи методы позволяют вести исследования на субклеточном и молекулярном уровне, на живых мышцах, пробывая пути, недоступные классическим методам биохимии. Однако сошлось хотя бы на пояснения научного сотрудника Института биофизики Академии наук СССР кандидата биологических наук М. Б. Капаларова: многие детали деятельности нормальных мышц, которыми все мы ежeminутно и без каких-либо затруднений пользуемся, еще остаются непонятыми.

Особое внимание биологов привлекает к себе в последнее время клеточные оболочки — мембраны. Не остались в стороне от этого и исследователи мышц. Экспериментально обнаружены некоторые нарушения в структуре мембран при мышечных заболеваниях, но опять-таки их первопричина пока не

найдена, хотя можно думать, это дефект мембранных белков-ферментов, определяемый генетически.

Ну, хорошо, это все высокая наука... А практически, неужели необходимо распознать все до тонких тонкостей и только после этого учиться лечить? В этой довольно обычной в истории науки ситуации медицина никогда не медлила: примеров тому множество. Хотя, разумеется, неясность причин волей-неволей сокращает возможности медиков.

В той области, которая нас интересует, за последние десятилетия научились выявлять ранние формы заболевания — и, стало быть, раньше начинать борьбу с ним и получать лучшие результаты. Опробуются и новые лечебные средства — как лекарственные, так и другие. Например, заведующий кафедрой 2-го Московского медицинского института профессор Л. О. Бадалян придает большое значение электроионизации и кислородной терапии в барокамере. Эти способы (профессор Бадалян — один из их авторов) впервые предложены для данных целей советскими учеными. При некоторых формах болезни врачи теперь могут выделить в семьях больных возможных носителей заболевания в скрытой форме (для этого используются приемы медико-генетического анализа и особые биохимические пробы). В связи с этим, как подчеркнула научный сотрудник Института медицинской генетики Академии медицинских наук СССР кандидат медицинских наук Л. П. Грин и о, врачи настоятельно советуют близким родственникам больных обращаться в медико-генетические консультации (открытые в ряде крупных городов), чтобы определить вероятность заболевания как для самих себя, так и в особенности — врачи подчеркивают это — для будущих детей.

Ни один специалист, к сожалению, не в силах ответить на самый главный вопрос — когда эти частичные успехи сольются в успех решительный, в победу над болезнью. Однако можно и нужно говорить о другом: что следует делать, чтобы эту победу приблизить? На это в известной мере ответила прошлой весной научная конференция по исследованию мышц, состоявшаяся в Киеве, — первое собрание такого рода с участием видных ученых во главе с директором Института биофизики Академии наук СССР академиком Г. М. Франком и президентом Всесоюзного биохимического общества академиком С. Е. Севериным. (Осеню этого года намечено провести вторую, еще более представительную конференцию.) Ответ киевской конференции в общем виде гласил: усилия многих групп и лабораторий, работающих над этими проблемами в разных городах и ведомствах, необходимо объединить.

Этот номер журнала уже был в производстве, когда в редакцию пришло письмо от В. Могилева. Письмо это мы помещаем ниже...

О НЕМ МОЖНО БЫЛО БЫ НАПИСАТЬ КНИГУ...

Я читал очерк о Георгии Зайцеве — и перед моими глазами все время стояло лицо другого человека, находящегося примерно в таком же положении, — кандидата филологических наук, научного сотрудника Института мировой литературы имени Горького, моего друга Юрия Александровича Филиппева, человека тревожной и необычной судьбы. Я говорю «примерно» потому, что в отличие от Георгия Зайцева Юрий Филиппев прикован к креслу-каталке с самого раннего детства. Когда повествуют

о таких людях, всегда разделяют их судьбу на два отрезка: «до» и «после». У Филиппева не было «до». Поэтому тем более удивительна его жизнь.

Он родился и жил в Ульяновске, гулять его носили на руках. Читать и писать выучили родители. Потом стали приходить учителя из школы, и зимою мать (отец умер рано) вырубала топором ледяные ступеньки на склоне холмов, окружавших дом, чтобы проложить учителям дорогу к суну.

Конечны школа, заочный институт. Филиппев начинал научную работу. Диапазон его творческих устремлений велик: философия, физика, психология, педагогика, литература, искусство. Идеями молодого ученого заинтересовываются в Москве, он получает вызов и переезжает в столицу. Получает комнату, затем квартиру. После — защита диссертации. Выходят несколько его книжек. И все это — в кресле, без возможности что-либо написать своей рукой, диктуя на магнитофон, с которого затем печатывает приходящая на дом машинистка (наняемая им, кстати, за свои далеко не великие деньги).

Он и его мать, Евдокия Николаевна... Других родственников практически нет. Мать зачастую лежит — возраст, болезни. И уже нет сил ходить за хлебом, молоком. И даже трудно встать, чтобы открыть дверь на звонок. Юрию Александровичу пришлось сконструировать соленоидный электрический замок, которым он открывает пришедшему дверь нажатием кнопки. Кстати, он истинный мастер — золотые руки, талантливый радиолюбитель и рукодельный, если так можно выразиться, умелец. Это ли не парадокс? Но тем не менее это так, и вся аппаратура обслуживания — телефонный автоответчик, диктофон, соленоидный дверной замок и прочее — сконструирована им, не сделана, конечно, руками его знакомых.

Все тело Юрия фактически здорово, сигнал от мозга к исполнительному органу — мышцам — доходит, но доходит с искажениями. В результате плохо координированные движения рук и ног и отсутствие чувства равновесия. Да еще несколько затрудненная речь. По характеру он человек жизнерадостный, веселый, полный неукротимого оптимизма, интереснейший собеседник и прекрасный товарищ.

Все существование этого человека полностью зависит от матери, состояние которой весьма и весьма неважно и отнюдь не улучшается. Случись что с ней — и ему прямая дорога в инвалидный дом, где, конечно, он не сможет продолжать свою нужную для общества работу. Как же помочь ему? Не знаю. Знаю только одно: этот ученый нужен обществу, работает много и плодотворно. Его социальная отдача достаточно велика, чтобы можно было придумать что-нибудь ему в помощь.

Друзей у него много. Так, например, есть прекрасные, бескорыстные люди, которые ходят к нему, помогают ему уже несколько лет. Особенно привязаны к нему и часто ходят ученики 7-й школы Октябрьского района Алеша Богаченков, Роман Якубов, Андрияша Живцов, Володя Гуревич, Марина Выдриц, Марина Петрова (некоторые из них уже окончили школу). И, конечно, их чудесная учительница Нина Николаевна Петрова.

Возможно, кого-нибудь из писателей заинтересует его судьба и жизнь...



Л. ЛАВЛИНСКИЙ

СТИХИ О ЛЮБВИ

Духовный мир нашего современника поистине необозрим, и в его ткань влекутся не только пииты, вырабатываемые литературной повседневностью. Возьмите стихи о любви. Должно быть, с тех пор, как существует письменная поэзия, существуют и различные формы любовной лирики. И не только формы. Сами чувства, в них выраженные, неисчерпаемо многообразны. Есть стихи о любви счастливой и горестной, о рыцарском поклонении и языческой страсти, о муках ревности и нежном доверии друг другу. Раскройте ли вы книгу древнеегипетской лирики в переводах Анны Ахматовой или том античной поэзии, выпущенный издательством «Художественная литература», вас так и окатит поток давних сердечных треволнений. А сколько канцон и баллад, сколько народных песен прозвучало над планетой за все века! Их сочиняли безымянные певцы и трубадуры, писали знаменитые поэты. Целый одушевленный океан, необъятнее лемовского «Солариса»! Многие авторы увековечили свое имя стихами о любви, а заодно и имя подруги, не всегда, впрочем, достойной такой славы. Кто бы сегодня знал о некоей вальмовской Лесбии, если бы два тысячелетия назад в нее не влюбился пылкий Катулл? Но и нынче человечество помнит его горькое «odi et amo» («ненавижу — люблю») и вместе с этими строками имя легкомысленной римлянки. А ее прапраправнучку Беатриче, жившую тринадцать столетий спустя, ввел в обитель бессмертия автор «Божественной комедии». Бесмертия, правда, не райского, как мечталось самому Данте, но тоже достаточно прочного — поэтического. А извечно «сладостный» Петрарка? Можно изумляться и преклоняться перед этими великими те-

ми, можно забывать все невзгоды за чтением пламенных признаний Пушкина и Блока, однако это не избавит нас от желания знать, как любит и ненавидит наш современник.

Скажем и рациональнее: что он сегодня знает об этом чувстве? Или «эпоха изотопов» и впрямь затоптала в человеке способность любить, как утверждал один из отрицательных персонажей А. Вознесенского? Сам поэт не устает разоблачать гнусную выдумку о бездуховности ядерного века. Но тревожится, мучится, сомневается, видит, сколько еще в мире «программированного зверья». Впадает в разочарование — и снова отстаивает необходимость «приклеенной» к планете любовной записки. Он, как мы можем догадаться, не о себе беспокоится — о нас с вами. О наших далеких потомках, которым никакой технический прогресс не может, не должен «душу удалить, как вредные миндалины».

Великим поэтам античности или Возрождения и в голову не могли прийти подобные химеры — они еще ничего не ведали ни о чудовищной силе атомного ядра, ни о классовых антагонизмах вышедшего мира. Что тысячелетие ужасы дантова «Ада» по сравнению с одним мгновением Хиросимы? Но любить они действительно умели, те поэты, хотя часто их чувство оставалось трагически безответно. Ово, как, скажем, у Петрарки, питалось крохами радостей — случайный взгляд, мимолетная улыбка, дорогое воспоминание... Но этого было довольно, чтобы, мучась и благоговей, поэт ощущал себя счастливым. Как все это странно, не правда ли? Оказывается, не очень-то много нужно для человеческого счастья — совсем чуть-чуть. Но это так только для щедрых душ Петрарок. Правда, обывательский плоско-утилитарный умикко всегда рад приземлить ваши восторги: «Это потому вечная любовь, что она была неразделенной. А как пожили бы вместе...» Что ж, пожалуй, спустимся с платонических небес. Неужели, сталкиваясь с бытом, счастье любви неминуемо разбивается вдребезги? В юности эта мысль меня не на шутку тревожила.

Помню, очень взволновали «Пять страсти» К. Симоню — поэма, в которой с аналитической детализацией исследуется постепенное угасание чувства вплоть до последних конвульсий. Помню также, что тогдашняя критика встретила это произведение не очень ласково. Я и сам испытал юношески острое отторжение, что поэт так и не ответил на тоскливый вопрос героя: «На каком тридцати проклятом месте мы ошиблись с тобой и поправить уже не смогли!» А особенно раздражало меня неутешительное обобщение, что, мол, все романы не зря завершают на свадьбах. Читая в газетах объявления о бракоразводных процессах, я не ломал голову над вопросом: «Почему?» Все было более или менее ясно: кто-то из двух неправ, плох, недостойн любви. Прочитав «Пять страсти», я был взбуроражен и озадачен: значит, едва роман кончен, начинается скучное послесловие да набранные петитом примечания? Липь много поздне, став вполне взрослым, я почувствовал благодарность поэту: ведь он деликатно подсказал мне, читателю, что бывают в жизни и неоправданные ошибки. Предостерег, что и у хороших людей совместная жизнь может не сложиться...

А «Жди меня» и сурковскую «Землянку» наше поколение знало наизусть. Кстати, как тут не вспомнить о любовной лирике военных лет? Казалось бы, тягчайшее историческое испытание, потребовавшее от народа напряжения всех сил для разгрома врага, должно сделать нашу поэзию аскетично-суровой, одно-темной. Но вышло совсем иначе. Конечно, произошла невиданная концентрация творческой энергии вокруг

одной темы — защиты социалистического Отечества. Но это и заставило опутить всю беспределность понятия «Родина», задуматься о его слагаемых, переосмыслить иные литературные представления. Сегодня мы в качестве хрестоматийных примеров гражданственности приводим «Землянку» и «Жди меня», а ведь формально это произведения сугубо интимные. Можно назвать еще немало замечательных стихов и песен о любви, которые согрели наши бойцов, воодушевляли на подвиги.

И вот, припоминая это, думаешь невольно: а что же наша сегодняшняя любовная лирика, сохранила ли она прежнюю высоту и масштаб чувств, сберегла ли органичную слитность общественного и личного — короче, все те неоспоримые достоинства, которые были достигнуты ею в огненные годы? Конечно, давно отошла от нее вызванная временем трагическая тональность, но не ослабела ли при этом напряженность духовного поиска, не сузились ли нравственные горизонты?

Признается, иные издания наводят на невеселые мысли. Читал я как-то книгу одного известного стихотворца, пестрящую любовными посвящениями. Буквально что ни страница, то новое женское имя. Было очевидно, что автор не на шутку старается войти в образ «заправского ветреного поэта», увлекоченный С. Есениным. При этом, конечно, нынешний последователь совершенно не заметил горькой самоиронии своего вероучителя, который неожиданно для себя стал «походить на дон Жуана». Стараться, так уж стараться всерьез!

В конце концов я окончательно запутался в отношениях автора со всеми этими Таниями, Олями, Наташами и с досады предался не совсем литературным размышлениям. Интересно, думал я, как реагирует на все эти излияния жена автора? Пожалуй, ревнивая половина сумела бы лучше издателей провести грань между искусством и жизнью, решительно запретив супругу печатать альбомную ерунду. Прочитав такое, повелось загоскуешью, о временах Данте и Петрарки.

Но книжка незадачливого кандидата в дон Жуаны, конечно, не показатель нравственного состояния нашей лирики. Я и заговорил-то о ней лишь затем, чтобы лишний раз напомнить, насколько ответственное это дело — повествовать миллионам читателей о тайной жизни твоего сердца. Наверно, нельзя не страдать от профессиональной обязанности выкладывать всем свои беды и радости, боли и огорчения. Во всяком случае, эта обязанность не из легких, если, по словам А. Вознесенского, «каждый может, гогоча и тыча, судить тебя и родники глэдеть».

Правда, и степень душевной общности у художников очень различна — в зависимости от темперамента и всего склада личности. С. Есенин, к примеру, «себя вынимал на испод» и заслужил этим всеобщую любовь и признание. Но бывают крупные художники, тщательно оберегающие свою интимную жизнь от читательских взоров. Таким суровым мастером был А. Твардовский. И не случайно, что он, умнейший денятель прекрасного, судил о лирике Есенина жестко и несправедливо: слишком несохажими путями прошли в литературе два очень русских и очень масштабных поэта.

А вот еще один строгий художник — А. Мартынов. Никак не скажешь, что стихи о любви составляют его главную славу и достоинство. Однако и среди них встречаются очень заметные, в том числе и в недавно опубликованных циклах. Е. Баратынский когда-то сказал, что любовная лирика не терпит цветистых фраз, требуя от поэта большой простоты и ясности. А. Мартынов строит свое стихотворное признание с

помощью простейших и на первый взгляд легкодоступных средств: два-три традиционных символа да еще точные интонационные повторы:

Он залатан,
Мой косматый парус.
Мой исправно служит кораблю.
Я тебя люблю: при чем тут старость,
Если я тебя люблю!

Может быть,
Обоим и осталось
В самом деле только это нам —
Я тебя люблю, чтоб волновалось
Море, тихое по временам,

И на небе тучи,
И скрипучи
Снасти. Но хозяйка кораблю —
Только ты. И ничего нет лучше
Этого, что я тебя люблю!

Не уверен насчет моря, но меня, читателя, мощное и цельное чувство поэта действительно взволновало. Оно, это чувство, как бы стыдится высказаться слишком гладко и красиво: слова падают отрывисто, концы интонационных фраз не совпадают с окончаниями строк, рвут их где-то посредине внезапными паузами. А как подчеркнута звучание заветных трех слов, ритмически выделено и усилено трехкратным повтором! Стихи А. Мартынова трудно назвать музыкальными в общепринятом смысле: они не ласкают слух гармоничными созвучиями. Однако поэт умело пользуется в создании образа звуковыми красками. С таким мощным двигателем и с такой технической оснащенностью старый парус романтики и впрямь надежен. А судьба его может послужить в назидание и всем молодым, еще не чиненым парусам.

Ну, а если поэтический корабль все же получил пробойную или, выскочив на мель, начал неудержимо рассыхаться? Еще сравнительно недавно поэты с известной опаской касались подобных ситуаций. Стихам о различных любовных горестях в существовавшей у иных критиков иерархической таблице тем отводилось едва ли не самое последнее место. (К. Симонову с его «Питью странника», наверное, пришлось пережить немало горьких минут!) Автор, дерзавший писать о запутанных сердечных узлах, о мучительном, безответном чувстве, немедленно попадал под перекрестный огонь критических батарей. Снаряды были разнокалиберные: от упреков в камерности до обвинений в безнадежном пессимизме. Между тем далеко не всегда личная жизнь складывается безоблачно, и для нас важно, чтобы поэт остался предельно искренним в нравственной оценке пережитого. Но, кажется, сегодня большинство из нас научилось это понимать и не усмотрит в иных горьких строчках посягательства на устои.

По контрасту с мартиновским «косматым парусом» мне вспомнились стихотворение А. Межирова «Море» (оно вошло в недавно изданный сборник поэта «Поздние стихи»). В этом стихотворении тоже возникает традиционный образ морской стихии — как воплощение необъятности жизни. Однако в нем выражено совсем иное лирическое настроение. Поэт проклинает «покой постылый» сонного побережья, не приносящий человеку счастья. Истина видится в ином:

Не знали мы,
Что счастье только в этом —
Открытом настежь море — не мертвё,
Что лишь для тех оно не под запретом,
Кто не страшится счастья своего..

Во имя жизни
и во имя песни,
Над выщербленной дамбой прямой,
Волна морская,
повторись,
воскреси,
Меня с любимой вместе
в море смой!

Словом, звучит своеобразное заклинание судьбы, мольба о буре, «как будто в бурях есть покой». И что интересно — лирическая ткань «Моря» внешне гораздо более гармонична, напевна, чем жестковатый на слух, отрывистый стих А. Мартынова. Но тем острее ощущается в «Море» внутренний озноб неудовлетворенности. Ведь стройность классических ямбов становится здесь образом утраченной герою гармонии. Он, этот герой, жаждет окунуться в широкий мир действительности, померяться силой с житейскими волнами, чтобы воскрес в нем человек, достойный любви. А герою А. Мартынова не нужны внешние восторги. Его чувство и без бурь прочно: оно в самом себе находит поддержку и опору. Оба поэта обязательно искренни в своем нравственном поиске и по-разному дороги нам: один — неустывающей силой чувства, другой — беспощадностью к себе, непримиримостью к любой фальши («У Мехирова есть дар самобезжалостности», — сказал как-то Е. Ентушенко). Не искать для своих кораблей тихой гавани, а смело выводить их на просторы социальной действительности — в этом творческий девиз и других серьезных художников.

В межировском «Море» и стихотворении А. Мартынова о парусе нет прямых признаков нашей эпохи, нет и социально заостренных обобщений. Это произведения вроде бы вполне интимные. Но можно ли считать эти стихи «вневременными» или «узколичными» (определения, излюбленные у критиков, мсящиеся в одной плоскости)? Такого вопроса даже не возникает при чтении: стихи пробуждают у нас иные чувства.

В нравственном максимализме обоих поэтов мы ощущаем критерии, выверенные нашей эпохой, — ведь именно эта эпоха подняла на такую высоту личность, потребовав от человека кристальной чистоты не только в делах общественных, но и в закрытой от взоров, интимной жизни. Да, сегодня это уже требование, предъявляемое обществом, а не только великими гуманистами, как в былые века.

В Маяковский категория ская заявлял когда-то: «В поцелуе рук ля, губ ля, в дрожи тела близких мне красивый цвет моих республик тоже должен пламенеть». Сказано было с плакатной размашистостью, как и подобает «горлану, гварью» революционной поэзии (но, конечно, и с глубокой выстраданностью слова — лозунг был подтвержден мучительным опытом собственной любовной драмы). Сегодня, однако, большинство поэтов не прибегает в стихах о любви к столь острым политическим формулам — наши нынешние условия существенно отличаются от классовой накаленной обстановки в стране 20-х годов. Но означает ли это, что современные стихи о любви порывают с идеальной целеустремленностью, утрачивают свою социальную природу? Думаю, это не так. Ведь даже на войне наступать можно по-разному — далеко не всегда решающий успех достигается фронтальным ударом. Нынешняя эпоха подчас требует от поэта иных красок и интонаций, чем первые годы Советской власти. Однако существа дела это не меняет. Об этом, между прочим, весомо сказал С. Орлов в поэме «Одна любовь» [она помещена в недавно изданном двухтомнике]:

Я все о ней, о ней и о себе,
И кажется, о времени ни слова,
Но разве не оно в моей судьбе
И горестей и радостей осонал

Оно не только в громком и большом,
В труде и славе, горных пиков пыше,
Прислушайтесь, как время бьется в том,
Как люди любят, как грустят, как дышат.

И впрямь стоит прислушаться! Тем более что эта декларация приложима не только к стихам С. Орлова, но и к поэзии многих его сверстников. Е. Винокуров, например, ничего не пояснил насчет «основы» своих горестей и радостей, но во всей нашей революционной поэзии едва ли найдешь такое изображение любимой, как в его стихотворении «Моя любимая сирала...». Советский поэт не убоился показать ее за самым прозрачным занятием, за черновой домашней работой. Но романтический венец женщины от этого ничуть не потускнел. Напротив, нежность героя обострена и усилена глубоким товарищеским сочувствием. И для меня бесспорно, что в тематическом повороте стихотворения, в тональности его лирических красок выразилась определенная социальная психология, точнее, мораль советского человека, для которого любой труд достоин уважения и поэтики.

Да, если бы я мог знать в юности некоторые из подобных стихов Е. Винокурова, я, пожалуй, знал бы, что ответить герою «Пяти страня». Наверняка помогли бы мне в этом и другие лирические поэты, например, К. Ваншенкин. Этот автор открыл бы передо мной мир скромных семейных радостей, в котором, однако, столько истинного добра и света! К. Ваншенкин словно бы и сам удивляется этой тайне. Но она из тех, что не требуют разгадки: вдыхая запах розы, не станешь развешивать и обрывать ее лепестки. Не совершает такой оплошности и герой К. Ваншенкина — он просто делится с нами своим чувством:

Меж бровями складка.
Шарфик голубой.
Третпето и сладко
Быть всегда с тобой.

В час обыкновенный,
Посредине дня,
Вдруг пронзят мгновенью
Радостью меня.

Или ночью синей
Вдруг проснущся в тиши
От необъяснимой
Нежности души...

Такое чувство, правда, лишено бурь, но зато ему не помеха ни житейская проза, ни груз совместно прожитых лет, ни «меж бровями складка» на родном лице. Правда, рассуждая об этой лирической миниатюре сегодня, с благоприобретенной критической введальностью, я отметил бы, что стихотворение все-таки чуть идиллическо. С самого начала в него внесен, пожалуй, слишком «голубой» колорит. Жизнь с близким человеком (даже если она складывается идеально), по-моему, все-таки лишена столь неизбежного «всегда»: она подвижна, разноразночуще и от этого еще обаятельнее. Но в конце концов поэт делится здесь всего лишь лирическим настроением, и, быть может, во мне говорит просто профессиональный педантизм.

Стихи К. Ваншенкина, подобные приведенной миниатюре, не имеют прямой, зримой связи с социальными проблемами времени, и, однако же, я не могу отделиться от ощущения, что они проникнуты философией нашей эпохи, убежденной в счастьеном предназначении Человека. Даже категоричное «всегда» тут, по-видимому, объясняется авторской программой жизни. Наш строй освободил разум и чувства человека от множества сословных и иных пут, предоставил ему реальную возможность жить достойно и содержательно. А дальше многое зависит от тебя самого. Вспомни прутковский афоризм: «Если хочешь быть счастливым, будь им». Неожиданно он утрачивает юмористический смысл: будь, несмотря ни на какие невзгоды и трудности!

С замечательной силой лиризма звучит эта мысль в стихотворном цикле М. Луконина «Испытание на разрыв». Читая его, ясно видишь: вообще-то для поэзии не столь важно, какую разновидность личной

судьбы изображает автор — блестяще-удачливую или, наоборот, горькую, болезненную. Более того, иногда оба варианта поразительно совмещаются в одной конкретной удачи. Ведь главное все-таки в том, какого масштаба человек видится в тех или иных лирических коллизиях. Интересен ли он, способен ли захватить нас глубиной переживаний, смелостью мысли, силой характера? Лукинское стихотворение о «беспамятном счастье» волнует не только остротой внутреннего драматизма, оно интересно еще и безупречным духовным здоровьем героя, богатством его натуры. Он, этот герой, вопреки свалившейся беде (потеря любимой), вопреки боли и мукам уверенно заявляет свои права на счастье («как сердце — полагается в груди...»). Так может сказать не просто сильный человек, а непременно тот, кто вырос в свободном обществе, кто воспитался в обстановке справедливости, не знал внешнего гнета, внутреннего раздвоения. Поэтому он остается так же тверд, неукротимо жизнелюбив, весело-пропичен:

Удивлена ты:
я смеюсь, не плачу,
простишься с белым светом не спешу,
А я любую боль переночую,
я памятью обид не дорожу.
Беспамятное счастье я не выдам,
мы — вдох и выдох,
связаны в одно.
Нас перессорить
бедам и обидам —
меня и счастье —
просто не дано.

Так завершается это удивительное стихотворение о крушении любви, об окопательном разрыве с любимой. В каждом «вдохе и выдохе» его ритма, в каждой модуляции поэтического голоса проявляется не только яркий характер, но, если подумать, и нечто более широкое: судьба личности при социализме. «Красный цвет моих республик» — по-прежнему пламенеет в нитяных произведениях наших лучших поэтов, меняются только формы его лирического выхождения. И мы, читатели, становимся все восприимчивее к этим сложным формам.

Д а, времена для любовной лирики, по-видимому, меняются к лучшему. Нередко, по ироническому свидетельству Я. Смелкова, даже девичья красота была «вроде как под запретом, что ли». А сегодня Р. Газизов печатает в журнале «Дружба народов» пространнейший цикл сонетов о любви — по существу, целую книгу. А в издательстве ЦК ВАКСМ «Молодая гвардия» выходит сборник К. Ваньшиной «Прикосновение» — «Стихи о женщине, о любви», как явствует из подзаголовка. И та и другая книги радуют глубиной и тонкостью художественных наблюдений, а это в современной любовной лирике, если уж признаваться, явление нечастое. Увы, даже мастера подчас не могут совладать с капризной личной темой: тут выдержат уровень, вероятно, так же трудно, как сохранить свежее дыхание бегу на дальние дистанции.

В книге А. Мартынова «Гиперболы», откуда взято стихотворение о парусе, есть, конечно, и другие отличные стихи о любви — серьезные и шуточные, порою самовирные, а порой и язвительные: поэт едва высмывает обывателя, не понимающего высокого, гуманистического назначения красоты. Но вот автор отказывается от испытанного оружия лиризма и прибегает к отвлеченному морализаторству: «...Когда любовники возлюбят в алкох среди ее цветов вкусить плодов ее и ягд, то это не всегда — Любовь!». Возможно, такие разъяснения и дают какой-то воспитательный эффект, но, право же, они не слишком поэтичны. Тем более если автор распространяет их на

30 строк. Весьма популярны в свое время (хотя вовсе не лучшие) строки С. Шипачева «Любовью дорожить умеете!», обладали по крайней мере одним бесспорным достоинством — краткостью. Однако большая поэзия (и А. Мартынов отлично доказывает это собственными произведениями) умеет обходиться без прямолинейных поучений, воспитывая читателя взрывной силой страсти — высотой духовного содержания.

Я думаю, стихи о любви (или об ожидании любви) требуют от поэта тончайшей работы. Один неверный художнический штрих (или отсутствие верно) — и изображение испорчено. Если же мастерство автора вообще не очень крепко, он и вовсе попадает в нехеловкое положение, утверждая совсем не то, что думал. Мне, например, не хочется подозревать Нору Яворскую (см. ленинградский «День поэзии», 1971) в умении точно выражать свои мысли: это означало бы подозревать ее в проповеди аморализма и пошлости. Познакомьтесь с таким предположением автора:

И твой и мой
в подземной мгле
сливаются пути...
Так почему бы
по земле
нам рядом не пойти?

Настанет миг —
сметает нас
в одно
природа-мать...
Так почему бы нам сейчас
дыханье не сметать?

Весьма решительное обращение, не правда ли? И обосновано солидно: все равно помер и прах наш когда-нибудь сольется «в круговороте бытия», так стоит ли сейчас принимать в расчет какие-то «стены», разделяющие нас? Уж лучше сразу к делу. Можно было бы понять автора, если бы изображалась пламенная страсть, боль, мука. Можно бы, наконец, воспринять стихи как шутку. Но ничего подобного: о чувствах нет помину, и в намерениях автора не проглядывает ни малейшая доза юмора. Уезл развязывается с поразительной легкостью — собственно, тут нет никакого узда: «Ведь все различия смешны пред общностью такой...» (то есть перед смертью). Ничего не остается, как «сметать дыханье»...

Что же сказать о массовой продукции иных хвятих стихотворцев, эксплуатирующих всегдашний интерес читателей к теме? Вероятно, именно их стараниями вырабатывалось у нас пошлостное отношение к интимной лирике, а многие и теперь считают ее собранием альбомных пустяков. Особенно много таких (и не только таких) пустяков среди песенных текстов, сочиненных на готовую мелодию. Процесс их создания необыкновенно прост. Стихотворец наскоро переводит музыкальные фразы в метрическую систему, разбивая каждую строчку на слоги, которые обозначаются черточками. Затем проставляются ударения, и скелет будущего «полушедевра» слышен. Осталось заполнить черточки любыми подходящими к теме словами. Называют такую систему «рыбой» — легко представить, что за блудя из нее приготавливаются! Конечно, к серьезной поэзии это уже не относится — не зря здесь господствует терминология кухни. Худо, однако, что рыбообразные тексты на крыльях популярных мелодий разлетаются по стране и активно участвуют в порче эстетических вкусов. Правда, век их недолог — попробуйте вспомнить хоть одну винючку спустя несколько месяцев! Лишь глупо-слащавое песенке «Ландыши» повезло: как-то ее обрубали в стихах Ярослава Смелкова. И не просто обрубали: посылал ей 18 разгневанных строф большого мастера. А стоила ли овчинка выделки? Думаю, стоила. Ведь примитивная стихопроизводство в принципе антибюстивенна, так как лишает человека личности, обедняет

и искажает его миропонимание. Это не безбидные пустяки, это опухоль на теле поэзии: пораженная ткань, разрастаясь, вытесняет здоровую. Нельзя позволить ей разрастаться! Недаром против лжеискусства ведут непримиримую и дружную борьбу поэты военного поколения: они-то знают, как надо обходиться с недругом. «Базарная Галатея» С. Наровчатова, колючие миниатюры К. Ваншенкина, неоднократные выступления (в стихах и прозе) А. Межирова — вот лишь некоторые вехи этой борьбы. Конечно, резко отрицательное отношение к ремесленничеству присуще не только старшим поэтам, но и некоторым мастерам послевоенного поколения. Однако произведения бывших фронтовиков, право же, отмечены редким единодушием и боевой страстью. Очевидно, высокая музыка патриотического воодушевления, о которой писал А. Межиров, — та музыка, что звучала над страной в военные годы, и сегодня не затихает в их душах. «И через всю страну струна натягута трепетала...» — я думаю, эта струна и сегодня является для многих художников высшим поэтическим камертоном. Именно поэтому лучшие из них так нетерпимы к фальши.

Но что же, однако, следует из всех этих рассуждений? Во-первых, хотелось бы сделать скромное объявление: у нас существует любовная лирика — интересная и разнообразная. Объявляя это, я, правда, не претендую на открытие, а просто приглашаю обратить на нее внимание. Как-то так принято издавать, что стихи о любви рассматриваются только в ряду всех прочих (они в творчестве поэтов словно бы нечто второстепенное). Между тем это не только литературное, но и серьезное общественное явление. Печатаются их несметное множество, и в этом потоке есть чистые, а есть и замутненные струи.

Гражданская и интимная лирика — вовсе не заклятые враги, те и другие мотивы сплошь и рядом органично сочетаются в творчестве больших поэтов — усиливают друг друга. Правда, исторические обстоятельства не однажды разводили боевое, социально заостренное искусство и то, что «в вадину горя» склонно малодушно утешаться «асками милой». Мы и сегодня не примем таких лукавых лирических «ласок». Но кому же из истинных мастеров помешала любовная лирика? Н. Некрасову? Но его Гражданщина произнес свои суровые предписания музе, когда вся Россия жила «накануне». Когда на помещичье-бюрократический режим поднимался вал крестьянской революции. Некрасов внял голосу долга и всю творческую энергию отдал народу. Но до последних дней великий поэт писал о любви, и Н. Чернышевский даже относил эти его стихи к числу самых задушевных. Разве не звучали в любовной лирике Некрасова хорошо нам знакомые социальные ноты?

Маяковский в порыве революционного максимализма называл эту тему «и личной, и мелкой», но — опять и опять к ней возвращался. И, мне кажется, под его пером, когда он писал о любви, дымилась бумага. А «мелкая» тема вырастала до вселенских масштабов. Тончайшими и прочнейшими нитями она связывала со всем мироощущением поэтического трибуна. Ведь это была одновременно и тема борьбы за социальное освобождение человека, за очищение его от скверны векового мешательства. Маяковский вел свою непримиримую борьбу средствами атакующей публицистики. Он не боялся, что кому-то из тогдашних или будущих снов они могут показаться неэстетичными. Мы знаем, с какой беспощадностью он высмеивал лирическую обывательщину. Его пером тогда водила разгневанная революционная буря, и под такой эпохе поэт был ярко размахист, громогласен. Возможно, дожди

до наших лет, многое в сегодняшней поэзии он бы не принял, резко оспорил. Ведь называл же он классический русский ямб картами! Но, скорее, мы увидели бы другого Маяковского, но столь настоящего держащегося за стих-лестницу. Идя к нам, он мог свободно перепрыгнуть через несколько ступенек и даже съехать по перилам — «езда в незнаемое!» Он не любил тихих мелодий, но издевался и над бравурными. Он с повелительной грубостью отчеканил: «Дя боя — гром, дя кровати — шопот...» Он был готов принять и шепот, но такой, чтобы его могла слышать страна, чтобы автору потом не пришлось краснеть...

Сегодня у нас времена во многом иные. Сегодня, когда вопрос о гармоничном развитии человека стоит в повестке дня, мы охотнее соглашаемся на «хороших и разных». Нынешняя любовная лирика может быть резкоконфликтной или иной, «громкой» или «тихой» — важно только, чтобы она была одушевлена нашими идеалами. Тем или иным лучом спектра блеснет отдельное стихотворение — не будем за это благодарить к автору. В целостном творчестве истинного поэта свет останется неразложимым.

Да, внутренний мир нашего современника сложен, и в будущем вовсе не предвидится его упрощения. Но, думаю, тревоги А. Вознесенского в связи с угрозою удаления «вредных мириадалин» все же слышимко глобальны. Коммунистическая нравственность ориентируется не на примитивы. Она выросла не где-нибудь, а на грешной земле и могучими корнями уходит в глубинные пласты почвы. Ее питают все животворные соки планеты, поэтому и двери в сокровищницу мировой поэзии для нас открыты. Молодежи 30-х годов некогда было читать Шекспира и Петrarку, и Я. Смеляков счел долгом с грустью сказать об этом в «Строгой любви». Сегодня мы — молодые, всякие — читаем и классику и многое другое. И нас волнуют любовные признания, высказанные шесть с половиной столетий назад на чужом языке. Мы как-то опускаем в сонетах Петrarки и его набожность, и условные «амуры», и архаичность слога. Нас потрясает огненная душа этих стихов — масштабы чувства:

На свет произведен в недобрый час
(недобрые лучи в ночи горели),
начался я в недобрый колыбельи
и по земле недобрый в первый раз

пошел, и яркий свет недобрых глаз
для стрел своих не выбрал лучшей цели,
и все они от сердца долетели,
и ты меня от этих стрел не спас.

Тебе, Амур, мое по нраву горе,
доволен ты, но, на мою беду,
любимой кажется, что маюсь мало.

И все же лучше с нею быть в раздоре,
чем с любимой пребывать в ладу,
я верил в это с самого начала.

Поэт был горд своими муками и не признавал в любви нравственных компромиссов. Кстати, эти муки не мешали его кипучей научной и гражданской деятельности. При жизни он был увенчан за труды лавровым венком, а его любовь не умереть еще долго. Надеюсь, однако, что этот маленький экскурс в прошлое не сочтут за призыв к современным поэтам: давайте, мол, включайтесь в создание лирики, столько же долгового. Современный Петrarко искусственно не вырастить — так же, как и «красных Байронов», над которыми издевался тот же Маяковский. Но лучи давней, шестистолетней любви недаром западают нам в сердце: оно сегодня более светочувствительно, чем когда-либо.



ВАЛЕНТИН
БЕРЕСТОВ

радость

В историп, которую я собираюсь рассказать, все держится на честном слове.

Если бы двоюродный брат Коля Похналяинен, единственный тогда критик и читатель моих стихов, поражающий меня своей начитанностью, одухотворенностью, а также тем, что он был в кого-то влюблен и полон неведомых мне переживаний, не взял с автора этих строк честного слова, я бы ни за что не осмелился подойти к Корнею Ивановичу и показать ему свои полудетские сочинения. Случилось это так.

В мае 1942 года в читальне Ташкентского дворца пионеров, куда я ходил, чтобы упиваться Байроном, Жуковским, Диккенсом и Гюго, появилось объявление о предстоящей встрече читательского актива с писателем-орденоносцем К. И. Чуковским. В программе — чтение и обсуждение его новой сказки.

Вернувшись домой, я сообщил об этом двоюродному брату, ученику восьмого класса и редактору газеты с французским названием «Le Rayon» («Луч»). Газета (сложенный вдвое тетрадный листок) заплясывала краткими пересказами сводок Совинформбюро, откуда мы брали только хорошие новости, афоризмами великих людей, Колиными историческими изысканиями, моими стихами и переводами из Гете. (Не помню, чем меня не устраивал классический перевод Жуковского, но я счел необходимым заново перевести «Лесного даяря».)

Редактор (он всегда был деликатен со мной, шестиклассником, и не подчеркивал разницы в возрасте) на сей раз был неуловим:

— Даи честное слово, что покажешь стихи Чуковскому!

Коля раздобыл где-то две желтые среднеазиатские морковки, я, откусывая их мельчайшими дольками, чтобы продлить наслаждение, мы несколько часов бродили по зеленому, цветущему Ташкенту. Двоюродный брат не переставал убеждать, уговаривать, упрашивать, требовать и, наконец, так вымотал меня и парализовал мою волю, что я неожиданно для себя дал роковое честное слово и понял: все кончено, обратного пути нет.

И вот передо мной камышинка с воткнутым в нее мякотью пером № 86 (такие тогда были ручки), чер-

нильница-непроливайка с почти не разбавленными фиолетовыми чернилами (собственность редакции) и весь запас чистой бумаги, предназначенный для издания газеты с французским названием.

Я сложил листки уже не вдвое, а четверо. Вышла книжечка малого формата. Оставалось только мельчайшим, выработанным в войну экономным почерком заполнить ее от начала до конца.

Из тайника, о котором не должна была знать ни одна душа, даже Коля, то есть из норы какого-то зверя в углу нашей глинобитной комнатенки, были извлечены рукописи. Впервые в жизни мне предстояло составить сборник стихов, да еще для такого читателя. Как и следует любителю классики, я расположил стихи в хронологическом порядке. Стихи для детей, то есть для моего младшего брата Димы, и Колиного братишки Володи, я в сборник не включил, полагая, что они уступают сказкам Чуковского и вряд ли его заинтересуют, переводы — тоже. Были отобраны лишь баллады о доблестях древних славян и средневековых шотландцев, философские стихи о смерти и о смысле жизни, пейзажи старого Ташкента и моей Калуги, по которой я тосковал в эвакуации, и, конечно же, стихи о войне. Теперь все было как у классиков, если не считать столь зияющего пробела, как полное отсутствие любовной лирики.

Я начал уже переписывать стихи в книжечку, но с ужасом подумал, кто будет их завтра читать.

Коля исчез. Он догадывался: вместо того, чтобы переписать стихи для Чуковского (как будто Корней Иванович их ждет не дождется), я, разумеется, начну самым жалким образом вымогать назад свое честное слово. Взрослые были на работе. Зато мой сочинил Володя что-то проникновенно и от волнения сам сочинил стихи, адресованные прямо Чуковскому:

Милый, милый мой Корней!
Для меня ты всех милей.
Жму тебя со всего духу
За твою Муху Цокотуху!

Совсем недавно и я точно так же относился к Корнею Ивановичу. Но сейчас все было иначе. Ведь я уже видел и слышал Чуковского. (Мальчик, любящий литературу, оказавшись в одном городе с Чуковским, как я полагаю, не мог не встретиться с Корнеем Ивановичем, во всяком случае, вероятность такой встречи была очень высокой.) С молчаливой стойкой ребятишек я провожал его во дворе Хамзы к трамвайной остановке Ходра, когда он возвращался домой после выступления в нашей школе № 42 имени Чапаева.

Был последний день сорок первого года. Приближалась повогодная ночь без елок, утопений и даже без снега. Возле каждого фонаря мы обгоняли Корнея Ивановича и заглядывали ему в лицо. Я ухитрился даже дотронуться до рукава его пальто.

Мы почему-то ждали, что писатель сейчас пошутит, скажем, так, как пошутил Горький, о котором он рассказывал у нас в школе. (Алексей Максимович, увидев малыша поздней ночью в вестибюле гостиницы, урезонил его таким стихком:

Доже кит
Ночью спит.)

Но лицо Чуковского было усталым и скорбным. Мы не знали, что один из его сыновей в это время записан осажденный Ленинград, а другой погиб в Московском ополчении.

И все же нельзя сказать, что Корней Иванович не замечал нас. Наоборот. Стоило нам оказаться в свете фонаря, и он заглядывал в наши лица, при-

смастеривался к одежде, к манере себя вести и, видимо, сравнивал нас с теми ребятишками, которые шумными, очарованными толпами провожали его с подобных выступлений до 22 июня 1941 года.

К нам в школу Чуковский пришел не с «Айболитом» и не с «Мойдодыром». Это удивило нас. Мы тогда ждали его как какого-то Деда Мороза, веселого и таинственного. Никто из нас не подозревал, что Корней Иванович может заниматься чем-нибудь еще, кроме сказок, исполненных неистового вдохновения или, как он любил говорить, «сумасшедшего счастья».

Если каждый малыш от двух до пяти, в сущности, поэт (не будем забывать, что первым в мире это открыл и доказал Корней Чуковский), то каждый ученик среднего и старшего школьного возраста — это литературовед по необходимости, критик поневоле: он пишет сочинения.

В тот новогодний вечер перед нами выступил литературовед по призванию, критик по самой своей сути, человек, который всю жизнь изо дня в день по собственной охоте писал не что иное, как сочинения почти на те же самые темы, что и мы. Мы о Некрасове, и он о Некрасове, мы о Чехове, и он о Чехове, мы о Горьком и Маяковском, и он о них же.

В нашей школе Чуковский вспомнил издательство «Всемирная литература». Ученые и литераторы во главе с Горьким, полуголодные, в кое-как натопленном зале, увлечены фантастическим делом. Они отбирают, переводят и комментируют для только что возникшей небывалой, страны (шел 1918 год) лучшие книги всех времен и народов. И называют себя в шутку всемирными литераторами.

Думаю, не случайно именно сейчас, в самую жестокую пору войны, Чуковский затаял нас, школьников вместе с учителями, на те удивительные заседания.

❶ Ем-то, всемирному литератору, я должен показать свою запоздавшую книжечку в четвертушку тетрадного листа!

Стихи показались мне такими несладкими, жалкими, я начал их править, появились поправки, за которые мне было уж совсем совестно перед Чуковским, а чистой бумаги больше не было. Нет, я не мог дать ему тетрадку, испакощенную поправками. Я решил прочитать свои стихи Чуковскому, и мысль об этом привела меня в ужас. Но выхода не было.

За четыре месяца 1942 года я из мальчишки превратился по виду в маленького старика и был занят только чтением да стихотворством. Так и не пойму, спасало ли меня тогда стихотворство или, наоборот, высасывало из меня последние силы. Никогда потом я не предавался сочинительству с таким упоением и никогда так сильно не мечтал о славе, о власти над человеческими душами, считая себя избранным, будущим Лермонтовым, чьи отороческие сочинения изо дня, в день перечитывал и, поглядывая на даты, ревниво сравнивал со своими.

«А вдруг это не так?» — вот чего я больше всего боялся, собираясь на встречу с Чуковским.

10 мая 1942 года. Читальня Ташкентского дворца пионеров. Книги на сей раз покоятся в шкафах. Мы сидим за пустыми столами, но по привычке соблюдают тишину. Можно оглядеться, посмотреть друг на друга.

В окнах южный май. У меня давно нет очков, мир для меня лишен резких, очертаний. Но сегодня я особенно наслаждаюсь солнечными зайчиками на стене, как-то ухитрившимися проникнуть сюда сквозь густую листву высоких деревьев.



Корней Иванович Чуковский.

На днях в очереди со мной случился голодный обморок. Не сообразив, в чем дело, я решил, что слепну. Мир расслоился на розовое и голубое и померк. Но вот я почувствовал, как на голову льется вода, как мне в рот суют лаубничку, как из тьмы проступают лица незнакомых людей, которым я почему-то нужен; этот миг возвращения на свет оказался мне едва ли не самым счастливым в жизни.

...И вот suddenly вихрь ворвался в нашу книжную обитель. Голоса библиотечарш впервые зазвучали в полную силу, их не узнать: «Пожалуйста, Корней Иванович! Ах, что вы, Корней Иванович!» У дверей замка. Все уступают дорогу Чуковскому. Чуковский галантно пропускает дам. Наконец, красные от смущения и только что усыпанные пылких комплиментов, в промежутке между столами впрорухили библиотечарши, а за ними хозяйским шагом вошел и сразу наполнил собой читальню веселый гигант в белой рубашке, с канцелярской папкой под мышкой, словолосый, розовощекий, большеносый, громаднелый. Он кланяется, он машет папкой, ему здесь нравится.

13—14 лет — возраст не очень восприимчивый к игровым ритмам детского стиха. И Чуковский тут же не то затевает с нами игру, не то дает нам работу. У его сказки, первой, как он объявил, антифашистской сказки для самых маленьких, пока еще нет названия. Мы, читательский актив, должны его придумать, за что он, автор, будет нам вечно благодарен. И, конечно же, он не может обойтись без нашей критики. Вот большой черный карандаш, а вот бумага, на которой он запишет все наши бесценные замечания.

Услады аудиторий, Чуковский раскрывает папку:

Злая, злая, нехорошая змея
Укусила молодого воробья
(Вольно воробушку, больно!)

Воробушку больно, а мы сияем: значит, сейчас появится наш доверенный любимец доктор Айболит. Сказка была о войне, Бармалей с самолета обстреливал беззащитных детей. Айболиту приходилось туго. Но вот враги разбиты, и по всем «чуковским» правилам начинается пир на весь мир. Пируют дети. С неба на них сыплются виноград и всевозможные сладости.

Щедры сказочник у нас в читальне пылко мечтал накормить всех изголодавшихся за войну ребятишек, накормить влады, до отвала, до полнейшего изнеможения:

И ребята две недели
Ели, ели, ели, ели,
И с набитым животом
Завалились под кустом,
А потом давай сначала
Наседаться до отвала.
Да и то еще много осталось
Леденцов и орехов несъеденных!

В упительном перечислении яств и лакомств не было никакой бедности по отношению к нам, детям 1942 года. Мы слушали без голодного вожделения, словно речь шла не о еде, а о каких-то сверхающих драгоценностях.

В народных сказках победу над злыми силами, как правило, венчает пир на весь мир, где будто бы веселился и сам рассказчик.

Тогда, в 1942 году, Чуковский, обращаясь к малышам, попробовал выразить предвкушение того всечеловеческого праздника, каким (мы это знали!) должен был стать день победы над фашизмом.

Так бегите же за мною
На зеленые луга! —

возведая руку, приглашает нас Чуковский. И нет ни малейшего сомнения, он-то знает, что делать на зеленых лугах, где царит безудержное веселье, безоглядное счастье!

Ряды, ряды, ряды светлые березы,
И на них от радости вырастают розы.

Длинная, даже громоздкая сказка с легким, радостным финалом отзывалась. Читательский актив возбужден. Оживление, как на ярмарке. То один, то другой встает, шепчет свое имя и выкрикивает название для сказки. Чуковский записывает большим черным карандашом и поощряет остальных: ну-ка, ну-ка, кто лучше придумает?

Трясусь от ужаса. Остались считанные минуты. Сейчас я либо совершу самый отвратительный для мальчишеского дружка поступок, то есть после ухода Чуковского как ни в чем не бывало спрошу какую-нибудь книжку... «продам» честное слово, либо случится невероятное — я подойду к Чуковскому, выну книжицу и скажу. Что скажут? Между нами бедна: в один и тот же весенний день ему стукнуло шестьдесят, а мне четырнадцать.

Никаких мыслей. Лишь знакомое с раннего детства состояние, когда решается, возмуть тебя или не возмуть туда, куда тебе страстно хочется.

Из взрослых я мог бы показать стихи только одну. Жив ли он? Последнее письмо было в октябре, восторженное, счастливое — отцовскую часть придал гвардейской дивизии, и, значит, уже в звании гвардейца (для него, учителя истории, слово «гвардия» звучало как-то особенно) он будет защищать нашу Калугу. Как не хватает мне сейчас взрослого мужчины, кого боготворишь, за кем пойдешь на край света!

Воображение читательского актива истощилось. Чуковский кладет бумагу в папку и завязывает тесемки. Ему вручают большие красные цветы. Он благодарит нас (мы-то тут при чем!), прижимая букет к ослепительно белой рубашке.

Вносят книгу для почетных посетителей. Корней Иванович, стоя к нам в профиль, митом сочиняет, пританцовывая, записывает и, припевая, оглашает посвященный нам дифирамб:

Теперь я дед!
Теперь я седи!
Но никогда, за столько лет —
Нет, не встречал еще Корней
Таких блистательных детей!

«Никогда за столько лет!» Как часто Корней Иванович, хлопоча за человека или книгу, подписывался под таким утверждением!

Убедившись, что все счастливы и совершенно покорены, Корней Иванович устремляется в проход между столами. Красные цветы (я стоял у прохода) задевают мою стриженую голову. Выбираюсь из-за стола и бесчувственно, как лунатик, слеую за Чуковским.

На ступенях с ним прощаются библиотекарши, бегут наводить порядок в читальне. Корреспондентка «Пионерской правды» провожает Корнея Ивановича до канцелярии дворца. При всей близорукости отчетливо вижу и запоминаю ее лицо. Потом я ее встретил и легко узнал — поэтесса Нина Пушкинская. Значит, я крутился совсем рядом с Чуковским, но он ничего не заметил.

Он заходит в дверь фойе, возвращается оттуда, большими шагами шествует мимо меня. Белая рубашка и красные цветы быстро удаляются. Бегу, догоняю, держу за рукав. Чуковский оборачивается, наклоняется, его лицо совсем близко.

— Корней Иванович! — сообщаю с отчаянием в голосе. — Я стихи пишу!

Чуковский это сообщение почему-то не удивило:

— Пишете? Ну, читайте!

Первый раз в жизни ко мне обращаются на «вы!» Мы стоим у ограды дворца. За прутьями решетки слынут прохожие. Вынимаю книжечку, подношу к носу и срывающимся голосом начинаю:

К бессмертью человек давно стремится,
Жизнь смыслом наделить желает он.
Не веря в то, что он на свет родится,
Природою на гибель осужден.

— Вам трудно читать, — встревожился Чуковский. — Дайте-ка, дайте сюда вашу тетрадку! Кто вы? Валая? А фамилия? — Тетрадка уползает в высоту, к глазам Корнея Ивановича, и оттуда гремит со вкусом произнесенное, новое для него и для меня самого литературное имя: Ва-лен-тин Бе-ре-стов!

— Там помарки, — шепчу я.

— Посмотрим, посмотрим, какие у Берестова помарки! — возглашает Чуковский.

Перелистывая книжечку, он и вправду обращает внимание на исправленные или зачеркнутые строфы и совсем добрей, помарки ему нравятся: значит, перед ним не такой уж графоман. (Те дрожат за каждое слово.)

И вот тут же голос, какой только что читал сказку, во всеуслышание трубит:

О, гордый и смелый славян властелин,
Племен кочевых разоритель!
Куда по главе своих верных дружин
Направил ты путь, победитель!
То, гибельный жребий касогом избрав,
Не скажет — летит беспощадный Мстислав.

— «Песнь о вешем Олеге!» — радуется Чуковский. Смирно киваю. Да. Бессовестное подражание пушкинской балладе. Но мне так хотелось попробовать...

— Он выдергал форму! — торжествуя, сообщает Чуковский неизвестно кому. — Он это умеет!

Роскошная картина богатырского поединка его почему-то не увлекает, балада остается недочитанной. Корней Иванович уже без игры оглядывает меня с ног до головы.

— Вы плохо выглядите! Как ваше здоровье? Как вы питаетесь? — осторожно спрашивает он.

Что-то детяму насчет вкусовой узбекской лепешки, которую нам в старом городе выдают по карточкам вместо хлеба.

Чуковский обнимает меня той рукой, в которой цветы. В другой он держит мою книжечку. Выходим на улицу. Красные цветы лежат на моем плече.

И уже против похожего на розовую мечеть кинотеатра «Хива» он начинает встречать знакомых. Вот, прихрамывая, идет худоцавый человек с бледным лицом.

— Ташкентский поэт Владимир Липко! — на весь перекресток объявляет Чуковский. — Сейчас наш дорогой Липко прочитает нам с Берестовым стихи про Виктора Юго. Мне почему-то кажется, что Берестов любит автора «Отверженных».

Стоя на перекрестке в тени дерева, Липко откровенно читает:

Один вскричал: — Прощай, Валерия!
— О, родина! — сказал другой.
О сколько детских слез поверил я
Тебе, тебе, Виктор Юго!

— Молодец! — одобряет Корней Иванович. — Все слова на месте. Если б один сказал, а другой вскричал, вышла бы фальшь. Прочтите нам эти стихи еще раз!

Потом, за много лет общения с Чуковским, я убеждался: его похвала — это не все. Возможно, он лишь поощряет вас или не хочет обидеть. Но если он просит снова и снова читать ту же вещь, значит, стихи нравятся.

Липко не успевает прочесть второй раз. Улицу по диагонали пересекает невысокий седой человек в голубой рубашке.

— Лежнев! — восклицает Чуковский. — Автор «Правды о Гитлере»!

Я читал эту книгу и даже делал из нее выписки.

— Берестов читал ваш замечательный антифашистский памфлет! — обрадовал Лежнев Чуковский.

Тихо возникает плотный человек с большими сияющими глазами и с орденом на лацкане пиджака. Это Лев Квитко.

Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят,—

теплой волной проходят в памяти смешные стихи из моего детства. Орден на уровне моих глаз, и, пока Квитко беседует с Чуковским, я впервые в жизни получаю возможность так близко созерцать орден, да еще полученный за смешные и радостные детские стихи.

И вот мы опять вдвоем. Чуковский время от времени замедляет шаг, чтобы я послушал за ним, и продолжает изучение моей книжицы:

Ужасен кровью ты, двенадцатый век!
Война кипит по всей земле обширной.
Но в бедствиях велик настолько человек,
Насколько незаметен в жизни мирной.

— Не пойдете! — категорически заявляет Чуковский.

Почему не пойдете? Не вапечатают? Но я пока не собираюсь печататься. (Лермонтов тоже не спешил издаваться.) Корней Иванович ничего не объясняет, а меня уже гложет смутный стыд за эту строфу.

— Вот где начинаются стихи, — предлагает Чуковский:

В бой провожая сына своего,
Как горестно седея мать рыдает,
Но за святую Родину его
Дрожащею рукой благословляет.

— Ну-ка, ну-ка, — волнуется Корней Иванович. — Куда он поведет стихотворение?

Как детяму тяжело любимого отца
Утратить навсегда еще в начале жизни,
Но и они напутствуют бойца:
«Иди, отец, и верен будь Отчизне!»

— Именно туда, куда надо, — с удовлетворением сообщает Чуковский, слова бы опять не мне, а какой-то невидимой аудитории. — Как это верно! Взрослый сын, молодой отец уходит на смерть. И остаемся (Чуковский наклоняется ко мне) мы с вами, дети и старики.

И он идет, покинув милый дом...

Корней Иванович несколько раз трубным голосом повторяет:

— «И он идет!» Бог мой, он и это умеет!

Ему интересно, кто сейчас мой самый любимый поэт. Им оказывается Джордж Гордон Байрон в переводах П. Козлова и О. Чюминой. (Не могу понять, почему я не назвал Лермонтова.)

— Он обращает внимание на переводчиков! — ликовал Чуковский. И рассказывает, что в 1906 году, когда его, юного редактора сатирического журнала «Сигнал», должны были упрятать в тюрьму, Чюмина была в числе тех, кто внес за него крупный денежный залог.

— Да, Чюмина, Чюмина, — повторяет Корней Иванович, листая мою тетрадку. (Я-то думал, что следую великому Байрону, а на самом деле подражал еще и П. Козлову и О. Чюминой, и Корней Иванович это угадал.)

Чуковский спрашивает, кого из старых русских поэтов я знаю и люблю, читал ли я Ивана Козлова или, скажем, Баратынского.

— Да, я их читал, — складно, как на экзамене, отвечаю я. — Отдельные стихи Евгения Баратынского и Ивана Козлова я знаю по книге «Поэты пушкинской поры» с комментариями Орлова и Цезаря Вольне.

— Он прирожденный литератор! — констатирует Чуковский для своей невидимой аудитории. — Он читает комментарии! Он знает, кем они сделаны! — И победительно озирается: теперь аудитории нечего возразить.

Правда, я иногда рифмую «восходит — бродят» или «восклицианьем — обещания». Это и без того бедные рифмы, и Чуковский умоляет меня в дальнейшем хотя бы согласовывать их в роде, падеже.

Сворачиваем на тенистую улицу Гоголя. За зданием театра музыкальной комедии, где перед кассами толпятся девушки и убежавшие из госпитали раненные в пеньельного цвета халатах, Корней Иванович останавливается, и мы любимемся плакучей березой, похожей на фонтан из белых в темную крапинку струй и сверкающих темно-зеленых брызг.

Гоголя, 56. Белый двухэтажный дом. Шумный пыльный двор. В углу дверь в комнату, где живет семья Чуковских. В другом конце дома вход в кабинет Корнея Ивановича. Чуковский приглашает меня завтра же постучаться в ту или в другую дверь.

Дальше все теряется в каком-то блаженном тумане...

Я решил прийти только через неделю. Чуковский разделал со мной обед в кабинете (пустая комната, где был обжит только один угол у окна: стол, тахта, полка со старыми книгами и новыми папками). Мы ели суп из кормовой свеклы прямо за письменным столом. Корней Иванович отодвинул в сторону ста-

рое издание своих «Рассказов о Некрасове» и рукопись перевода узбекского богатирского эпоса «Алпамыш» (ее привесли на рецензию). Он на минуту раскрыл рукопись и прямо-таки поакомился внутренними рифмами, которых тут было в избытке.

Потом тихо и бережно он тронул темы, на какие я беседовать не собирался: спросил о быте нашей семьи, о нашем бюджете, рации, гардеробе. Это было на него не похоже. Как я успел заметить, Чуковский говорил с людьми сразу о стихах, о книгах, без всяких там «как поживаете?» (Это мне бесконечно нравилось.) Но тут у него была своя цель.

Корней Иванович сказал, что с ним сейчас живет четырехлетний внук Женя, скоро он нас познакомит. «Мой сын Боба, Женин отец» — Чуковский подбрасывает слова, — он был... до войны он был инженером».

И начал называть меня на «ты». Неловкость исчезла. Рассказываю о маме, работнице текстильного комбината, о брате Диме, о Калуге, об отце, о том, как мама в кинотеатре «Хива» видела хронику, и там был человек, очень похожий на моего отца.

Приходит Квитко, и мы идем гулять.

— В прошлый раз вы были с орденом, — вырывается у меня.

— Вот что волнует молодежь! — улыбнулся Квитко.

И начал рассказывать свои замыслы. Он хочет написать для детей стихи про затмение. Огни — пленники войны, узники в своих одиночках. Их никто не видит. Но придет день победы, и огни освободят.

Мы ходим по улицам, разговариваем. Чуковский и Квитко обращаются то друг к другу, а то и ко мне. Но я ничего не помню, кроме ощущения счастья, кроме каких-то ворот, возле которых мы постояли, любясь пирамидальными топилями, их лоскатыми стволами, круто уходящими ввысь. Ни слова о пустышках, ни слова просто так. И стихи, стихи, стихи...

Даже чувство избрничества, даже мечты о славе как-то поухилили и волнуют меня гораздо меньше. Я хочу бы стать или остаться таким, чтобы эти люди всегда были мне рады и брали меня с собой. Идя с ними, я ухитрился даже посочинять: Липко написал про Гюго, а я вот возьму да и сочиню про Дикенса.

Кстати, Чуковский скоро уезжает в Москву. Будет хорошо, если я приду к нему и завтра и послезавтра, но только не очень рано, потому что по утрам он всегда работает.

Но я не решился прийти ни завтра, ни послезавтра, я хотел написать что-нибудь такое, с чем не стыдно появиться у Чуковского. А там наш класс усадила под Янгю-Юль на прополку хлопка. Выбрав из земли пышные, сочные, колючие и не колючие сорняки, я добирался до благородных красноватых кустиков хлопка с листьями, похожими на листья сирени, и думал, что Корней Иванович, видимо, совсем уехал в Москву, теперь я его больше не увижу. Болезнь моя обострилась. Колхозный врач, поляк из Люблина, обнаружил пеллагру.

Как-то вечером, поев, а вернее, попив мучной затирки (ее варили на огне в больших черных казанах), я лежал на кошке под тростниковым навесом и слушал, как у очага рычат псы, приходившие облизывать наши коты. Тут подошел кто-то из старших и сообщил ошеломляющую новость: меня срочно вызывают в Ташкент, мои стихи передавали по радио.

Какие стихи? Рукописи хранились в звериной норе, в тайнике, о котором никто не знал. Кто посмел вынуть их оттуда и оборудовать без разрешения автора? (Ведь после встречи с Чуковским почти все мои стихи стали казаться мне жалкими набросками. Я не выписал их только потому, что мой любимый

Лермонтов в зрелом возрасте сумел кое-что сделать из своих оторченных строк и замыслов. Вот я и запрятал стихи поглубже.) Тут же я двинулся на станцию, не помня себя от волнения, прошагал двадцать километров. Стены глинобитных домов розовели от зари и отбрасывали синие тени. Начиналась какая-то новая, непонятная жизнь.

Оказалось, виноват во всем Чуковский. Перед отъездом в Москву он занимался моими делами. Побывал во Дворце пионеров и посоветовал, чтобы меня непременно вовлекли в литературный кружок, где я мог бы подружиться с пишущими ровесниками. Был в Наркомпросе, в комиссии помощи эвакуированным детям, у энтузиастов, воспитых им в газетных статьях и в книжке «Война и дети», и просил, чтобы они заинтересовались моей семьей. Был на радио и сказал, что у одного мальчика из Калуги есть стихи о войне, которые должны услышать дети и взрослые. Был у Алексея Толстого и вместе с ним добился, чтобы мне дали путевку в санаторий. И научил, как меня найти, чтобы я мог воспользоваться этой путевкой: меня отыскали по адресу на библиотечном формуляре. После санатория меня долечивали в больнице.

Теперь-то вы, Корней Иванович,
Не опасаясь мрачных снов,
Могли б меня увидеть на ночь,
Я снова молод и здоров! —

докладывал я оттуда.

Таким образом, я обязан Чуковскому еще и жизнью.

Лет через двадцать после нашей первой встречи я сочинил несколько книжек для детей дошкольного возраста и был приглашен в кундешевский детский сад. Я никогда не выступал перед малышами и очень робел. Я совершенно не учел одной из важнейших заповедей Чуковского: «Главная особенность наших дошкольных стихов заключается именно в том, что они должны быть созданы для чтения вслух перед большими коллективами детей». Вот я и не знал, что делать с такой необычной публикой. Зато публика почему-то прекрасно знала, что делать со мной, и этим спасла меня от полного провала.

Публика подкашивала мне рифмы, и я понял, что с малышами во время чтения надо играть в рифмы, публика после выступления дала мне понять, что я сам должен спрашивать обо всем на свете, а не дожидаться их вопросов. Потом меня потащили к пианино, воспитательница заиграла, дети запели. Поют и разочарованно глядят на меня. Делать нечего, я заел.

А когда воспитательница заиграла плясовую, дети хватили меня за руки, затащили в круг и, не ожидая возражений, потребовали: «Вы будете с нами плясать, потому что вы — писатель!» Делаю несколько символических па, хочу выбраться, не тут-то было! Пляски кончились. Отдышался, подожду к воспитательнице:

— Почему ваши дети считают, что писатели непременно должны играть с ними и плясать?

— Совсем недавно был Корней Иванович! — просяла воспитательница.

Оказалось, он, тогда уже восьмидесятилетний патриарх, поднял здесь такую волну радости, что она не улеглась после его ухода, а поднялась снова, подхватив заодно и меня.

...Совсем недавно был Корней Иванович.



Галина
НИКУЛИНА

ТРИ ПИСЬМА

В июле 1973 года
исполнилось
100 лет со дня смерти
Ф. И. Тютчева — поэта,
о котором Тургенев писал Фету:
«Милый, умный,
как день умный
Федор Иванович...»
и сам Л. Н. Толстой говорил,
что без книжки
стихотворений Тютчева
«нельзя жить».



Федор Иванович Тютчев прожил за границей 22 года (и 20 лет из них в Мюнхене). В 1821 году поэт окончил Московский университет, а в 1822 году был назначен сверхштатным чиновником при русской дипломатической миссии в Мюнхене. Что занимало ум поэта в те годы? Что питало его творчество вдали от дома? С кем он был близко друзей? Мюнхенский период жизни Тютчева известен неподробно. Сохранилось всего несколько писем поэта, присланных им из Германии. Но таких достоверных свидетельств мало, и, может быть, поэтому биографами Тютчева написано о годах, проведенных им вне России, немного. В распознавании духовной жизни поэта бессильны отчеты чиновника дипломатической миссии Ф. И. Тютчева (кстати, эти бумаги лежат в архивах и поныне).

И. С. Аксаков — исследователь и почитатель поэзии Тютчева — обвинял Федора Ивановича в том, что в некоторые периоды его жизни он был полностью оторван от России, не связан с родиной. Это обвинение опровергается многими фактами и убедительнее всего самой тютчевской поэзией.

Вообще судьба Ф. И. Тютчева была несколько странной (некоторые пишущие о поэте даже говорят о парадоксах в его жизни). Можно предположить, что эти странности судьбы — свидетельство противоречивой натуры Федора Ивановича. Великий поэт не считал поэзию, литературу своей профессией, никогда не стремился к публикации своих стихов... Дальновидный политик, произительного ума человек, томившийся светской жизнью, он был завсегдатаем светских салонов, блистательным остроумцем.

В статье о Ф. И. Тютчеве К. В. Гигарев пишет: «Л. Н. Толстой был прав, говоря о поэте, что он «хотя и был придворным (поэт имел звание камергера), но презирал придворную жизнь».

Тютчев был дважды женат — и первая (рано умершая) и вторая его жены были инстинктами, но, видимо, самое глубокое, мучительное чувство он испытал к русской женщине Елене Денисьевой. Они встретились, когда ей было 24 года, а ему 47 лет. Она умерла 38 лет от роду, оставив сиротами их внебрачных детей.

Тютчев посвятил Денисьевой строки глубоко человеческие, ставшие классикой русской поэзии. «И я один, с моей тупой тоскою, хочу сознать себя и не могу — разбитый чели, заброшенный волною, на безымянном диком берегу...» «О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей!»

Смерть Денисьевой Тютчев переживал тяжело. О его смятении рассказывают не только стихи, но и письма поэта, воспоминания современников. В 1928 году издана небольшая книга Георгия Чулкова «Последняя любовь Тютчева». Вот некоторые из тютчевских строк: «Все конечно... Вчера мы ее хоронили... Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...» (Это отрывок из письма к А. И. Георгиевскому — мужу сестры Денисьевой.) Ему же Тютчев пишет из Женевы: «Память о ней — это то, что чувство голода в голодном, невысытно голодном. Не живется, мой друг Александр Иванович, не живется... Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви, я сознавал себя...» И еще спустя некоторое время Федор Иванович пишет: «Вы знае-

те, как я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутреннего чувства, этою пошлой выставкой напоказ своих язв сердечных... Боже мой, Боже мой! Да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что в меня в эту самую минуту в душе происходит, — этой жизнью, которой вот уже пятый месяц я живу и о которой столько же мало имею понятия, как о нашем загробном существовании».

В Германии Тютчев жил молодым, еще не испытанным чувства к Денисьевой, которое несомненно вошло в лирику поэта скорбные ноты.

Однако уже стихи, написанные молодым Тютчевым, содержат мысль о мимолетности человеческого бытия. Поэзия немецкого периода занимает значительное место в творчестве поэта. Среди стихотворений тех лет бессмертные строки: «Весенние воды» («Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...»), «Silentium» («Молчи, скрывайся и гни и чувства и мечты свои...»). А. Н. Толстой писал о «Silentium»: «Что за удивительная вещь! Я не знаю лучше стихотворения».

В пушкинском «Современнике» за 1836 год были напечатаны 16 стихотворений, связанных общим названием: «Стихотворения, присланные из Германии». Стихи его продолжали печататься на страницах «Современника» вплоть до 1840 года.

Хорошо известно, что, живя в Германии, поэт не только переводил поэзию Гейне, но и был с ним в дружеских отношениях. Есть письмо Гейне к Тютчеву — одно из свидетельств дружбы двух великих поэтов. Оно было написано 1 октября 1828 года из Флоренции. Ответ Тютчева немецкому поэту был, видимо, утерян, — его судьба неизвестна.

Живя в Западной Германии, я обратился по нескольким адресам, надеясь узнать неизвестные нам подробности из жизни Ф. И. Тютчева в Германии. Вот что мне ответил.

Письмо первое — из городского архива Мюнхена.

«Человек, о котором Вы спрашиваете, занесен в городской архив в регистр иностранцев, который велся с 1825 года. Его зовут Федор фон Тютчев, 35 лет, секретарь русской императорской миссии в Турине, уроженец Москвы. Тютчев прибыл 16 июня 1838 года в Мюнхен и жил на Бринерштрассе в доме под номером 4/1, принадлежащем фон Ханштейну, до 2 июля он жил на Виттельсбахерплац, 2, 10 июля он выехал в Липцау. Он вернулся 7 ноября 1838 года и вновь жил на Бринерштрассе.

1 июля 1839 года он выехал в Нюрнберг. Его сопровождал камердинер Матнас Холц. Когда он вернулся в Мюнхен 6 сентября 1839 года, вместе с ним приехали его супруга и трое детей: Анна 10 лет, Дарья 5 лет, Катерина 3 лет — и гувернантка Катарины Жардин 24 лет...»

Я не стану дальше цитировать это длинное письмо, которое скрупулезно точно воспроизводит все адреса, даты отъездов и приездов Ф. И. Тютчева вплоть до 1842 года — данные, занесенные в книгу более ста лет назад.

Любопытно одно обстоятельство: поэт жил в Мюнхене с 1822 года, в книге же появилась запись только в 1838 году. Это можно объяснить тем, что именно в те годы Тютчев вынужден был подать в отставку и с того времени жил за границей не как официальный, а как частное лицо. Подтверждение этому мы найдем в другом письме. Есть в ответе из архива одна неточность. Известно, что Ф. И. Тютчев родился в Орловской губернии, а не в Москве. Но вряд

ли можно предположить, что ошибся регистратор. Скорее всего сам поэт назвал Москву своей родиной. Заканчивается письмо из архива следующими словами: «Так как Генрих Гейне в Мюнхене был в 27 году, а пребывание Тютчева в этот период не доказано, нельзя с уверенностью говорить, встречались ли здесь поэты. Я рекомендую вам по этому вопросу обратиться в архив Гейне в Дюссельдорфе».

Но сохранились письма Генриха Гейне, в которых он называл дом Тютчевых в Мюнхене «прекрасным оазисом», а самого поэта своим лучшим другом той поры. И достоверно известно, что поэты встречались в Мюнхене в конце 1827 года.

Стороннему глазу письмо из архива может показаться скучным перечнем дат и событий. В глазах исследователя эта голая хронология может стать бесценным даром, ключом к долгой тайне. Хронология способна опровергнуть догадку, многие десятилетия принимавшуюся за истину, но может и подтвердить ее.

Все письма я отдаю К. В. Пигареву — доктору филологических наук, правнуку Ф. И. Тютчева, исследователю творчества поэта. Кирилл Васильевич тотчас же принимает за чтение. Не отрывая взгляда от бумаги, он читает и переводит стихи вслух, волнуясь, изредка взглядывая на меня, чтобы увидеть на моем лице поддержку, без конца повторяемого из: «Интересно, очень интересно...»

— Значит, в Липцау Федор Иванович выехал 10 июля 1838 года! Вы ведь знаете, что в Липцау было написано поэтом его первое стихотворение на французском языке?

— А вот еще совсем неизвестный факт — поездка в июле 1839 года в Нюрнберг. Любопытно... Вообще все эти точные адреса я вижу в первый раз. Дело в том, что датировка стихотворений Ф. И. Тютчева двадцатых — начала пятидесятых годов очень затруднена. Автографы стихов, как правило, не датированы. И потому указание времени их написания часто лишь предположительно. Биографам, исследователям творчества поэта основанием для определения даты служат почерк, который существенно менялся на протяжении жизни поэта, водяные знаки бумаги и целое множество других, по сути, косвенных признаков. Вот почему даты отъездов и приездов Ф. И. Тютчева, адреса, по которым он жил, так важны: они могут уточнить время создания тех или иных строк, сыграть тем самым немалую роль в исследовании творчества поэта.

Из архива Гейне при земельной и городской библиотеке Дюссельдорфа пришел следующий ответ: «...О знакомстве Гейне с Тютчевым, к сожалению, могу дать данные из опубликованных источников, а именно из писем Гейне, изданных Фридрихом Хиртом и подробно прокомментированных, а кроме того, из бесед с Гейне, собранных Х. Хоубеном.

Есть одно письмо Гейне к Тютчеву (речь идет об известном нам письме. — Г. Н.) от 1 октября 1848 года из Флоренции, первоначально написанное по-французски, но переданное в немецком переводе Штротманом, который впервые опубликовал письмо в 1863 году. К сожалению, с тех пор оригинальные рукописи исчезли, и всякое указание на это, если бы вы могли помочь нам, было бы для нас в высшей степени важно. Немецкая редакция этого письма вновь отпечатана в названном издании Хирта».

Далее перечисляются все письма Гейне, в которых упоминается Тютчев и его семья.

«...Хоубен приводит высказывания Гейне в 1850 году о его мюнхенском периоде, в котором упоми-

нается графиня Ботмер, сестра жены Тютчева, и посвящение, которое Гейне подарил ей тогда. Хоубен упоминает одну запись в дневнике Фарихагена фон Энисе в 1853 году, из которой следует, что Тютчев, должно быть, посетил Гейне еще раз в этом году в Париже. Будем очень вам признательны, если вы нам укажете другие рукописные свидетельства знакомства Гейне с Тютчевым».

Да, это известный факт: оба поэта действительно встречались в Париже в 1853 году.

— Почему Гейне писал Тютчеву на французском языке? — спрашиваю я К. В. Пигарева.

— Федор Иванович, конечно, владел немецким, но французский его был совершенным, наиболее привычным для него, и, конечно, Гейне это знал.

Письмо третье. Мюнхен. Государственная баварская библиотека.

«...Просмотр адресных книг, имеющихся в Баварской государственной библиотеке, показал, что в 1835 году Тютчев жил на Каролиненплац № 1. Запись в адресной книге королевской столицы города Мюнхена за 1835 год дословно гласит: секретарь миссии Тютчев Федор И. Императорский русский камер-юнкер, Каролиненплац № 1. Тютчев находился на дипломатической службе в 1822—1837 годы в Мюнхене, в то время как в 1839—1844 годы жил в качестве частного лица и его адрес не значится в имеющейся у нас книге 1842 года. Архивного материала о Тютчеве в Баварской государственной библиотеке, к сожалению, нет. О мемориальной доске, сделанной в честь Тютчева, нам, к сожалению, ничего не известно».

О мемориальной доске я спросила по ассоциации с Баден-Баденом, со знаменитыми немецкими водами. Этот старый курорт связан с именами многих великих и будто полон теней прошлого. На одной из улиц Баден-Бадена стоит старый двухэтажный дом, увитый диким виноградом. На доме — мемориальная доска, которая заставила нас надолго остановиться. Она гласит, что в этом доме пять лет жил русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Известно, что и имя Достоевского связано с Баден-Баденом. Вот мне подумалось; может быть, в Мюнхене тоже есть свидетельство памяти о Тютчеве, ведь поэт здесь прожил 20 лет?!

Увы, никакого мемориала не оказалось. Судя по записям в адресной книге, Ф. И. Тютчев достаточно часто переезжал. За этими переменами мест стоят сложные, порой драматические ситуации в жизни поэта: смерть первой жены, поездка в Италию, увольнение со службы за самовольный отъезд... Я отказалась от попытки найти дом в Мюнхене, связанный наиболее основательно с именем русского поэта. Правда, оказавшись на Каролиненплац, я было приняла один из особняков как раз за тот, который мог хранить память о Тютчеве. Но все это не подтверждено документально.

«Мы рекомендуем вам обратиться в музей Тютчева в Мураново под Москвой, в котором в течение многих лет интенсивно ведется исследование о Тютчеве» — так заканчивается письмо из Баварской библиотеки.

Мураново. Холмы — то обнаженные, то укутанные лесом. Деревья с красными и зелеными крышами, нахлובученными на бревенчатые избы. Чуть поодаль от деревни среди берез старая усадьба. Усадьба, гостины и хозяевами которой были Ф. И. Тютчев, Е. А. Баратынский, Н. В. Гоголь, Аксаковы... Этот старый деревенский дом хранит бесценные богатства: интереснейший архив Тютчева и Баратынского, библиотеку — сотни великолепных фолиантов на нескольких языках, прекрасные портреты, дивную мебель...



Федор Иванович Тютчев.

Если вы приедете в Мураново, в музей, непременно постойте у окна (у того, что выходит на старый пруд). Все влечет глаз неотрывно: застывшие волны вскопленной земли, даль, непостижимая своей необъятностью.

Удивительна атмосфера тютчевской усадьбы! Все в музее странно живо. Будто вот сейчас раздвинется громадный стол, который некогда звался «сороконожкой», и сойдутся за этим столом те, кто стал гордостью русского искусства.

К. В. Пигарев — директор Дома-музея Ф. И. Тютчева, еще раз читая письма из Западной Германии, неожиданно рассмеялся: «Стало быть, наш адрес вам подсказали в Мюнхене?» Оправданием мне служит давнее знакомство с Мурановом.

— Кроме неизвестных вам прежде адресов и дат, связанных с мюнхенским периодом жизни Тютчева, письма представляют для вас интерес? — спрашиваю я у Кирилла Васильевича.

— Несомненно. Кое-что новое в сообщении о литературных исследованиях. И, кроме того, меня тронула осведомленность авторов. Письма будут храниться в нашем архиве.

— Знаете ли вы что-нибудь о письме Тютчева к Гейне?

— Нет, судьба его неизвестна.

Никто не научился еще обходиться без хлеба насущного. Даже те, кто во имя красоты и фигуры отказался от булок, батончиков, пачинок. Однако хлеб — понятие широкое, и нельзя вместить его только в рамки хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной или ржаной муки.

В научно-исследовательских учреждениях, занимающихся селекционной работой, есть отделы, названия которых звучат для нашего уха несколько странно: например, отдел серых хлебов. Под хлебами серыми разумеют ячмень, овес и рожь. Коли «посадила» вас врач на диетическое питание, то получаете вы хлеб в виде овсяных каш или отваров. А кукуруза? Кто будет отрицать родство ее с хлебом?

Но и в привычном понимании хлеб хлебу — рознь.

Даже самый далекий от земледелия человек, и тот не мог не обратить внимание на то, что иной хлеб только-только из булочной, а уж черствый. Другой же лежит, лежит — и все как из пекарни. Или вдруг купит человек чудо-муку. Тесто из нее пыльное, пыльное, хоть и сдобы не клади. А в другую опару чего ни кидай — все проку нет.

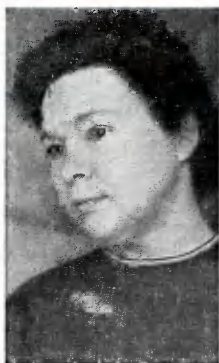
Выходит, пшеница пшенице не ровня?

Именно так. Хлебопекарную «душу» сорта составляют высокий процент протеина (усвояемый белок) и клейковины, определяющей подъемность, «силу» муки. Но, даже обладая драгоценными этими свойствами, сорт может дать урожай, а может и обмануть надежды земледельца, подарив ему по осени каравай хоть и вкусный, да легковесный. А страна велика, и ее малым хлебом не прокормишь...

Вот и работают селекционеры — творцы новых сортов — над тем, чтобы получить хлеб отменного качества и притом гарантированный.

Гарантированный? Не слишком ли громко это сказано? Ведь нет-нет да и не обойдет нас стороной недород. То зноем хлеб сожжет, то дождем, то болезнью колос сокрушит. О какой же гарантии идет речь? Да и существует ли она вообще, гарантированный хлеб? И может ли селекция дать ее, эту гарантию? Даже самый засухоустойчивый сорт при чрезмерном зное гибнет, а самый влаголюбивый не выдерживает непрерывных дождей.

Все так. Но достоинство хорошего сорта в том и состоит, что



Н. ИВАНОВА

КАРАВАЙ ДЛЯ ВСЕХ

Рисунки
Иосифа ОФФЕНГЕНДЕНА.



даже в неблагоприятных условиях он дает прибавку относительно других сортов. Он будет дольше сопротивляться жарким ветрам и с дождем потягается. И, глядясь, «переспорит» погоду, дождавшись вождельного солнца или не менее желанного ливня. Хороший сорт обладает иммунитетом к многим десяткам болезней, от которых гибнут другие сорта.

И потому, говоря «гарантированный хлеб», мы имеем в виду вовсе не чудо-сорт, что и в огне не горит и в воде не тонет (он ведь смертен, как все живое), а разумеет ту прибавку, что способен дать хлеб хорошей селекции. Прибавка эта уйдет в закрома и станет подспорьем в год неурожайный. Мы еще зависим от погоды, но можем и должны встречать беду не с пустыми суеками. А нельзя ли добиться высоких урожаев за счет высокой культуры агротехники, обилия минеральных удобрений и мастерства пахаря? Можно. Но хороший хлеб дадут только хорошие сорта.

Преимущество селекции перед всеми иными «службами», работающими на урожай, состоит еще и в том, что, раз появившись на свет благодаря предвидению и труду селекционера, хороший сорт уже без каких-либо дополнительных затрат даст земледельцу прибавку. Да за счет своих свойств, запрограммированных учеными. А повторенный многократно во всех районах, областях и краях, на которые рассчитан (что называется районированием), сорт многократно и повторит такую прибавку, одарив пахаря хлебом и прибылью.

Селекция — это не что иное, как выведение новых и улучшение существующих сортов...

Говорят: селекция, академика Ремесло, селекция академика Пустовыта. Почему? Разве же селекция неоднозначна?

А что разумеет мы под словами: проза Толстого, проза Тургенева? Что, если не особенности стиля, языка, творчества, почерка писателя?

Стиль селекции — научный метод или методы, которыми пользуется ученый при создании сорта. Каждый идет к цели своей дорогой, выбирая свой метод, который считает в данном случае, в данной работе наиболее эффективным. Творческий почерк селекционера связывают с его именем.

Селекция всегда, во все времена хлебопашества, была в почете. Всю историю земледелия мечтал

пахарь о хлебе, которому не были б страшны болезни, сжигавшие злаковые, и который обеспечивал бы урожай. Хорошо зная, что каждой земле — свой хлеб, пахарь в мечтах видел сорт, который рос бы и в сушь и в дождь, рос бы одинаково хорошо на севере и на юге.

Но мечта потому и оставалась мечтой, что, родившись в условиях юга, сорт, как бы хорош он ни был, на севере оказывался непригодным: мороз убивал его. Не имея понятия о сортах и селекции, крестьянин еще на заре земледелия выбирал в поле растения, что выстояли зиму, бесснежье, мороз, жаркое лето. Он брал себе на пашню растения жизнестойкие. И хотел он этого или нет, он творил селекцию. Но, даже создав путем отбора хороший сорт, земледelec должен был семена размножить, повторить многократно, чтобы хватило засеять поле. Так создавалось семеноводство.

Одним из первых декретов Советской власти, подписанных Владимиром Ильичем Лениным, был декрет о семеноводстве. Этим декретом была учреждена Шатиловская Госсемякультура (в нынешней Орловской области). В ее обязанности было вменено разнотать лучшие сорта местной народной селекции и продавать семена крестьянам. Это был верный путь борьбы с недородом. Возглавив Шатиловскую Госсемякультуру и опытную станцию с тем же названием академик Петр Иванович Лисицын. И ему же несколько лет спустя был выдан первый в стране патент на рожд Шатиловскую.

Кстати сказать, Государственную патентную книгу, регистрирующую открытия и изобретения, открыла селекция...

Сегодня в стране работает огромная сеть опытных станций, сортоиспытательных участков, научно-исследовательских институтов, селекционных центров, координирующих научные направления селекции.

Селекция служит тому, кто ее создал, — земледельцу.

...В середине февраля прорвался на Кубань влажный и теплый средиземноморский ветер. В одну ночь съел снег и лед, таившийся в межах. А к утру, стрелннув от натуги, сбросили с себя прошлогоднюю кору платаны в свберах города, и в первый же день стало очевидным, что подмерзло, что выстояло, где не худо бы подсеять озимые.

Но краснодарцы теплу не радовались, потому что февральское «окно» на Кубани — штука хоть и привычная, но коварная. За теплом (а температура в эти дни бывает здесь до 20 градусов) приходит обычно заморозок. Тут уж и сад и ниву береги.

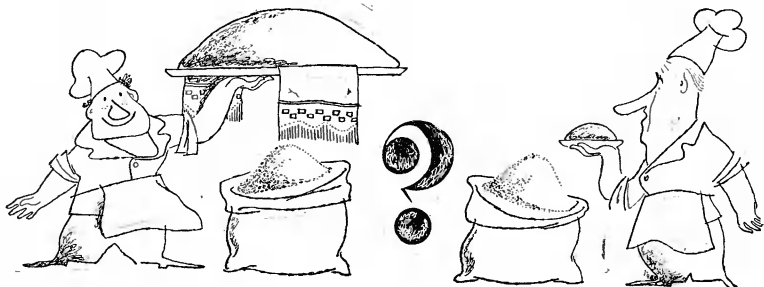
Убять озимые, оставшиеся неприкрытыми, — дело немудреное. И легких холодов хватит.

Но весна нынче пришла на Кубань всерьез. Солнце обило землю, обласкало хлеб, благополучно переживший зиму, и растеклось по городам и станицам края...

Командировка моя имела цель самую конкретную — Краснодарский орден Ленина и Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сельского хозяйства (сокращенно — КНИИСХ), ставший недавно еще и селекционным центром для зоны Северного Кавказа...

...В КНИИСХ съехались недавно со всего Краснодарского края агрономы. И не с пустыми руками, а каждый вез каравай. И было их ни мало ни много — тридцать пять. Тридцать пять аппетитных, румяных хлебов. Были они как близнецы-братья. И по вкусу один от другого не отличался, хотя были испечены из разной муки. Караваи были детьми одной, общей матери. Жизнь этим хлебом дал труд одного и того же человека — дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премии, депутата Верховного Совета СССР, академика Павла Пятелеимоновича Лукьяненко, автора всемирно известной Безостой-1. Его смерть недавно оплакивала вся страна.

Памятута о том, что для каждого поля — свой сорт, земледельцы других областей страны могли лишь завидовать краснодарцам, удивившимся благодаря Безостой урожайность в крае. Но вот сорт этот с невиданной для семеноводства скоростью стал «поглощать» тысячекилометровые расстояния и отбирать посевные площади у тех сортов, что испокон веков считались в своих местах монополиями. И везде давал «прирек» к установившемуся здесь урожаю. Популярную песню о стоиловом урожае (а сто пудов — 16 центнеров) теперь исполнять конфузались: Безостая одним рывком миновала тот барьер, который считался когда-то пределом, мечтой. К удивлению всех (и пахарей и науки, следившей за Безостой пристально и ревниво), она стала наращивать урожайность, проявив ценнейшие для сорта свойства: удивительную отзывчивость на агротехнику и удобрения. Кубань, где родилось движение за высокую культуру земледелия, дивила страну, дав в 1970 году по 36,6 центнера с гектара. Это на полтора-то миллионах гектаров! (Здесь следует сказать в скобках, что Безостая оказалась как бы лакмусовой бумажкой, которая безошибочно характеризовала крестьянина, рачительный он хозяин или нет: стоило ему «согрешить» в агротехнике, и сорт сбавлял урожай.)





Заняв колоссальные посевные площади в Союзе, Безостая пшеница Лукьяненко перешагнула наши государственные границы, разместила на колоссальной ниве Европы и по занятию под посевом территории спокойно и уверенно вытеснила с первого места в мире всех «конкурентов» — сорта иноземных селекционеров, еще недавно не подозревавших о существовании русского хлеба.

А он, этот русский хлеб, приобрел симпатии миллионов крестьян, завоевав в международном сортоиспытании (которые оценивают достижения всемирной селекции и, по существу, является самым авторитетным сортоконкурсом) первое место по урожайности и пластичности. (Пластичность — не что иное, как то вожделенное качество хлеба: приспосабливаться к условиям самым различным.)

Стало быть, сорт, о котором мечтал хлебороб, создан?

И да, и нет.

Да — потому что уж очень много в Безостой от хлеба «из мечты». Нет — потому что современное земледелие предъявляет к сорту все новые требования. И селекционер обязан смотреть ничуть даже не в завтрашний день, а в дали куда более дальние...

Сегодня лукьяненкоовцы (так называют себя ученики и последователи академика) творят хлеб будущее. Но его черты видны в реальных пшеницах, уже созданных, районированных и еще проходящих сортоиспытания. Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, Чехословакия, ГДР, не говоря уже о колхозах и совхозах нашей страны, сеют новые, «завоевавшие» земледельца своей урожайностью сорта П. П. Лукьяненко — Аврора и Кавказ, выведенные на основе Безостой и улучшившие высокое качество ее и урожайность. 134 тысячи гектаров, засеянных в Краснодарском крае Авророй и Кавказом, дали в 1971 году кубанцам дополнительный доход в пять с половиной миллионов рублей.

Но уже задолго до этого селекционного триумфа, прослышав, что у Безостой появились чудо-сестры, ринулись в КНИИСХ председатель и агрономы колхозов со всех концов страны, чтоб получить заветные зерна: в краях, отдаленных от Кубани, Безостая «прижилась», стало быть, Аврора и Кавказ там тоже «приживутся».

Еще Безостая-1 славилась удивительной своей отзывчивостью на полив. Аврора и Кавказ и районировались как сорта интенсивного типа (дающие высокие урожаи) для влажных районов Северного Кавказа и орошаемых районов степи и лесостепи Украины, Закавказья и Средней Азии.

Новые сорта Лукьяненко еще больше приблизились к тому аграрному идеалу, что звался исконом веков у пахарей «хлебом для всех».

Но, может, это счастливая удача — такие сорта?

Может, к рождению Безостой привела случайность? Может, здесь ни при чем предвидение, программирование?

...Долго путь к сорту. Раньше мерой его была десятилетия. Ибо всю свою историю селекция была зависима от природы: как ни работай, а больше одного поколения растений в год не получишь.

Ныне селекционеру служат теплицы и фитотроны, искусственно созданные нужный климат, служат специальные сеялки, комбайны и жатки, каких на обычных полях не встретишь.

Но, сократив время, селекция сути своей не изменила. Посев, ученый ждет результаты. Скрестив, тоже ждет. А получив долгожданный гибрид (или сорт), выбраковывает все, что не оправдало его надежды.

Путь к сорту — годы радости и отчаяния. Иной дороги нет.

В чем же секрет метода Лукьяненко?

В гибридизации, скрещивании. Она дает удивительные соединения наследственных качеств в одном организме. Скрестив растения можно половым или вегетативным путем. В селекции злаковых обычно выбирают первый путь. Лукьяненко проводил гибридизацию внутри вида, закрепляя в гибридах лучшие свойства многих поколений, причем поколений самых разных растений — ведь вид включает в себя и элитные (то есть самые лучшие) пшеницы и диких их родственников, экологически отдаленных и различных, то есть произрастающих в разной среде, в разных условиях.

Но, получив гибриды путем такого скрещивания, селекционер безжалостно отбирал, выбраковывал (и в этом суть индивидуального отбора) растения слабые, переспективные, оставляя лишь те, в ком желаемые качества налицо.

...Только какой же секрет этот метод, — коли работы Лукьяненко всегда были на виду, если гласность сопутствовала трудам академика, если КНИИСХ — координатор страны по созданию пшениц для полевого земледелия и его работа — ориентир для селекции таких пшениц!

Сегодня Кавказ и Аврора дают в производстве до 60 и даже более центнеров с гектара, а на отдаленных полях — 70—80 центнеров. А при полове урожай переступит так называемый биологический барьер, долгие годы определявшийся ста центнерами с гектара.

Впервые в мировой практике семеноводства новые сорта за один год после районирования заняли в стране площадь в 200 тысяч гектаров, а в прошлом году 2 миллиона гектаров хлебного поля Союза были отданы им.

Высокий урожай стал реальностью. На очереди — создание короткостебельных пшениц для полевого земледелия.

Земля и удобрения должны кормить колос, а не соломку. Соломина должна быть короткой, но прочной. Вот по какому пути идет мировая селекция. Именно такой хлеб ждет земледелец. Он ждет полукarikовых пшениц для орошаемого земледелия.

Уже есть Безостая-2, улучшившая Безостую-1... Уже находятся в сортоиспытании Загадка-44 и Надежда-45.

И вдруг институт удивляет сортом неожиданным: зимостойкая Краснодарская-39. (Авторы — Лукьяненко и один из его молодых учеников, Ю. М. Пучков.)

— Батюшки, — ахают аграрники, — где ж они вывели такой сорт? В Краснодаре и зимы-то не бывают...

Это как сказать... Случается, что и на Кубани летуют заморозки, и тогда озимым приходится туго.

И не раз краснодарцам приходилось пересевать убитый холодом пшеницу...

...Можно ли создать сорт, которому «минусы» на градуснике не страшны, можно ли научить пшеницу и бесснежные побеждать?..

Краснодарская-39 прошла испытания суровыми зимами и дала прибавку в сравнении все с той же Безостой-1 по три центнера с гектара.

В кубанском хлебе 1973 года есть зерно и Краснодарской-39. Сотни сортов служат нашему достатку, и среди них — знаменитая Безостая-1. Вот уже 14 лет она ежегодно приносит стране доход, исчисляемый в миллионах рублей. Только в 1970 году сорт этот высеивался в стране на площади в 7 миллионов гектаров. И только за счет его урожайности мы получали дополнительно зерна на 273 миллиона рублей. Так служит изобилию один сорт Лукьяненко. Один из сортов в великом разнообразии хлебом.

Но сорт — еще не все.

...С осени у соседей озяла удача на славу... Сильная, ровная. И кубанские председатели, с тревогой и завистью сравнивая свои хлеба с ростовскими (а области именно здесь подходили друг к другу встык), корили теперь себя, что не рисковали посеять пшеницу в ранние сроки, под дождь. Уж больно хорош был соседский хлеб и неказист свой собственный.

Сейчас это поле тянуло к себе, как магнит, не давало спать по ночам и все ворошило и ворошило одну думу: «Прогала... Нужно было рискнуть». Но помнилось и то, что были уже у соседей поначалу такие же ладные хлеба, а потом вдруг хирели и урожай давали не ахти какой. И чтоб укрепить надежду — «Дожен же и наш хлеб выровняться!» — гоняли председатели в это плотное предпосевное время в Краснодар, в институт, по рекомендации которого и посеяли в оптимальные сроки, то есть сроки, определенные учеными и практиками, как самые выгодные для развития и роста пшеницы. И в десятый раз выслушивая доводы директора института Т. С. Дубоносова и соглашаясь с ним, все же по-крестьянской привычке сомневаться переспрашивали скорее себя, чем его:

— Так думаешь, Тимофей Семенович, обойдется?... Догонит наш хлеб?

И директор, уставший говорить то, что десятки раз уже говорил, сбивший себе и гостям ноги, пока обходил опытные поля института, твердил:

— Ждите, мужики, осени...

А сам гасил улыбку, чтоб ненароком не обидеть председателей. Он-то знал, на чьей стороне правда... Ране посеешь — рано возьмешь... Истина простая. А за ней то желанное, ради чего и идут на риск.

Возьмешь рано — и не страшно уж тебе засуха, готовая испускать наливающееся зерно, и град ничем, коли хлеб в закромах, и дождь может лить ливнем, а ты уж кум королю, сват министру... Нет, что ни говори, а «рано» — штука соблазнительная. Ведь бывает, да и частенько, отсеются хозяйства в самые первые сроки — и ничего, хорошо растет пшеница: и из-под снега озямая вышла красавицей, хоть и высока вымахала, а не поперла, и в колос хорошо пошла, и хлеб дала. И коли год был удачный, грех не рискнуть снова: авось, снова не потеряем хлеба и урожай соберем знатный. И сеют.

У краснодарцев на этот счет своя точка зрения.

Идет пшеница на удивление всем, обещая дать по 40 центнеров. И уж в налив пошла. А колос вдруг вместо того, чтобы силу набрать, жухнет, морщится, костенеет. (Так случилось в 1972 году в Одесской и других областях юга Украины.) Что за напасть! И у соседей, оказывается, беда та же. И думают, гадают, прикидывают председатели и агрономы: где, как, когда «упустили» хлеб. Роняют горькие слова: «Эх, опалило пшеницу... нет влаги... тяжело хлебу... Засуха... подсушило... может, с подкормкой проморгали...» И перебирают десятки других причин: они-де и погубили хлеб на корню. И только ранний сев оставался вне подозрений: ведь презимовала пшеница хорошо; какой уж тут предъявлять счет к сроку?

Краснодарцы рассказали мне об одном ростковском директоре совхоза, который готов был выть от горя, когда на глазах у него без всяких видимых на то причин стала гибнуть пшеница. Кубанцы, у которых поля к тому времени стояли сильной стеной, понимали соседа. А приехавший по их просьбе Дубоносов, едва взглянув на пшеницу, сказал обезумевшему от беды директору:

— Садись в машину!

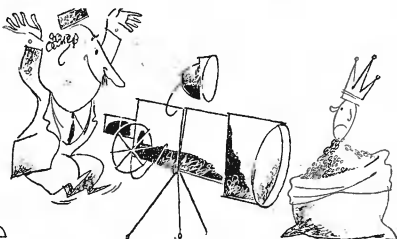
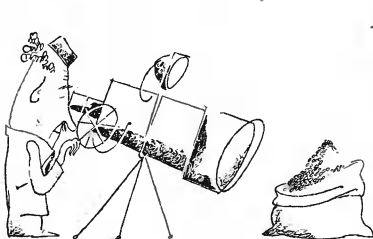
Тот был заупрямился. Но Дубоносов приехал не один, а с молодыми хлопцами, научными сотрудниками, которые полшутя, полусерьезно сказали:

— Вот что, друг: не поедешь — свяжем и повезем...

И он поехал с ними, оставляя и душу и сердце свое в потускневшем, с белесыми полосами по листьям хлебе.

Целый день ходил он по тем полям института, где были заложены опыты с разными сроками посева. Целый день смотрел и выспрашивал, трогал руками пшеничные стебли и листья, и все ругал себя последними словами за веру в «авось», за слишком ранние сроки посева, за то, что нес напраслину на удобрения и влагу. А прощаясь, тихо сказал:

— Выходит, что вот этими самыми руками пять лет портил я хлеб... — И, хлопая дверцей машины, с темным, постаревшим вдруг лицом подвел разом чер-



ту подо всем, что мучило и палило огнем его хлеборобскую душу: — Внучкам и правнучкам закажу: не хитри с природой! Не сей слишком рано!

Но почему? По каким таким причинам ранний сев озимых — риск? И не перестраховка ли это — оптимальные сроки? Ведь никто же не спрашивает, что и ранний посев может дать добрый хлеб.

В том-то все и дело, что может дать, а может и нет. А как узнать, где найдешь, где потеряешь? И чувствуя, что дело здесь зыбкое, неверное, еще и в те времена, когда о хозяйстве судили по тому, чем раньше и быстрее оно отсеивалось, тянул хлебороб срок озимого сева. А когда проволокни становились очевидными и чуть ли не за горло брало начальство уличенного в промедлении председателя или агронома, тот «выкладывал» последние козыри свои:

— Не буду сеять рано. Я свою землю знаю... Я на ней жизнь прожил... Не даст она хлеба... колъ в такие сроки отсеяться...

— Но почему?

— От того самого, что под снег пшеница уходит высокой, сильной... И прет под белой стубой... А гнить еще никому хлеба не дала...

Разумно и доказательно. Только если согласиться с таким земледельцем, то выходит, что главный риск при ранних севах — зимовка. А уж когда зима миновала и весна морозцем зелень не ударила, значит, все опасности проскочил удачливый хлебопашец.

Ан нет... Знали председатели, что и перед наливом да и в самый налив мог погнубить ранний хлеб. Видели агрономы, как ячмень и пшеница, благополучно пережившие зимнюю стужу и выстоявшие от осени до весны, вдруг по неизвестным причинам начинали куститься, образуя раскидистую розетку, и поле разом приобретало жалкий, неухоженный вид худосочного пастбища. И притом (а это тоже было замечено не одним земледельцем) случалось такое превращение только с озимым хлебом, посеянным в сверхранние и ранние сроки. Иногда беда выбирала из десятков хозяйств одно. И председатель в таком случае и не пытался искать корней несчастья нигде, кроме собственной своей нерадивости, изводя и себя и колхозников за несуществующую вину.

Двенадцать лет назад пшенины закустившейся пшеницы испортили на Кубани множество полей. Будто невиданных размеров лихач разрезал лицо Краснодарской житницы. Беда отдельных хозяйств стала бедой общей.

Поволжье и Молдавия, Московская, Ленинградская, Воронежская области, Украина и Казахстан забыли тревогу: страшный, «выродившийся» хлеб стал гостем и на их полях.

Почему же умирала пшеница? Ответить на это могла только наука.

Что ж вызывает беду? Может быть, вирус?

Ученые подтвердили предположение — вирус, имевший на экране электронного микроскопа безобидный вид толстой палочки. Но как и когда вирус проник в растение? Где тот единственный проход, через который он внедрялся, отворяя затем болезни даже не двери, а врата?

Принимаясь за разгадку странной болезни пшеницы, Тимофей Семенович Дубоносов и его коллеги рассуждали примерно так: резко скотился урожай, болезнь (а теперь она уже не могла считаться таинственной, так как вирус, вызывающий ее, был найден) нанесла удар не только валовому сбору, но и качеству зерна. Так что вполне естественно было предположить, что зерно само несло в себе болезнь. А стало быть, сеять такое зерно — значит множить болезнь, повторяя ее из года в год.

Опыты, проведенные на экспериментальной базе КНИИСХ, в колхозе «Родина», Павловского района, и на госсортушке, доказали обратное. Безостая-1, высеянная семенами самого первого срока посева, где наблюдалось стопроцентное поражение вирусными болезнями, дала здоровое поколение. Десятки раз повторенные опыты укрепили исследователей в мысли: вирусные болезни озимой пшеницы не передаются семенами. Заражение могло произойти только с помощью переносчиков — насекомых.

И тогда снова был поднят вопрос о раннем и сверхраннем посевах.

Но теперь никто не искал причин гибели урожая в том, как переживал хлеб. Под наблюдением брался тот период, когда хлеб становился собственно хлебом. И когда полный сил колос вдруг начинал вырождаться...

Беду искали долго, а нашли неожиданно, «заподозрив» (на всякий случай, чтоб исключить из круга переносчиков болезней) крохотное насекомое — цикадку.

Период массового появления цикадки на полях совпадал с периодом появления всходов пшеницы, посеянной в ранние и сверхранние сроки. Насекомое — переносчик вируса превращалось в пшеничную смерть, стоило ему лишь единожды проколоть нежную листву. Хлебу, посеянному в сроки оптимальные, подобные беды не грозили. Все стало очевидным.

Но единственный ли цикадка — переносчик вирусной болезни? Может, есть и другие вирусы и другие переносчики?

Сегодня, как доказали ученые — вирусологи института, дело обстоит так: озимая пшеница и ячмень поражаются вирусами полосатой мозаики пшеницы, мозаики пшеницы, желтой карликовости ячменя и другими. Переносчики — цикадка, тля и клещи.

Как же избежать гибели хлеба? Краснодарские ученые выпустили брошюру с практическими рекомендациями хлеборобу. Вот выводы из нее:

Посев озимой пшеницы следует проводить только в строго оптимальный срок. Лишь тогда можно рассчитывать на высокий урожай.

Падалица колосовых культур и злаковые сорняки — места обитания вирусов и место обитания цикадок — подлежат уничтожению не только на полях, где высевалась пшеница, но и на соседних.

Говорят, обжечься на молоке — дуй на воду. Потуги хлеба ранним посевом — сей в оптимальные сроки. Ясней ясного. Но как же быть с озимой, которая сеется вместе с бобовыми на зеленый корм? Не станет ли такое поле вмещающим цикадок — переносчиков вируса? Не отказываться же от ценнейшего корма, богатого витаминами и каротином?

Если откровенно: коли такая возможность была бы, лучше не сеять. С ранним и тем более сверхранним сроком дело имеет опасно. Но поскольку проблема кормов еще ждет своего решения, выход только один — вместо пшеницы сеять рожь. Она устойчивее к вирусам.

Только оптимальный срок посева озимых (для каждого сорта и края, для каждого района он свой) дает хлеб гарантированный. Это не домыслы. Это доказано наукой, подтверждено практикой.

Ранний сев при всей заманчивости — дело рискованное. А риск и современное земледелие должны стать понятиями несовместимыми...

...В Краснодаре это поняли... Может, и потому тоже Кубань нынче собрала хлеб отменный...



МИХАИЛ
БОТВИННИК

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МАТЧ



Чемпионат СССР (Тбилиси, 1937 г.) я пропустил: защищал кандидатскую диссертацию. Ильин-Женевский горячо меня порицал; Крыленко прислал угрожающую телеграмму («Ваше поведение ставлю на ЦК...!»). Затем Крыленко «остыл». Если ранее он заявлял: «Никаких матчей!» — то летом 1937 года объявил о проведении матча между мною и победителем чемпионата страны. Надо же было определить сильнейшего советского шахматиста... Победителем чемпионата был Левенфиш: ему было под пятьдесят. Наряду с Романовским Левенфиш был виднейшим представителем дореволюционного поколения мастеров. Техником обладал незаурядной, спортивный характер отличный, и поэтому его шахматный век был продолжительнее, чем у Романовского.

Матч играли до шести выигранных, при счете 5:5 —ничья, и чемпион сохранял свое звание. Провел я матч слабо: в глубине души недооценивал партнера, но основная причина, конечно, состояла в том, что не так просто выполнить кандидатскую диссертацию за восемь месяцев...

Перед переездом в Ленинград (первая половина была в Москве) я лидировал в матче, но затем Каисса, богиня шахматной игры, от меня отвернулась — видимо, считала (как Женевский), что нельзя отрываться от шахмат. Все же перед 13-й партией счет (по выигранным партиям) был 5:4, и не в пользу чемпиона. Но очередная партия была отложена в проигранной для меня позиции. Я настолько был недоволен игрой в матче, что не стал анализировать, позво-

нял утром арбитру Н. Д. Григорьеву и сообщил, что сдаю партию, и, стало быть, матч окончен.

— Куда спешить, — сказал Николай Дмитриевич. — Вы непременно должны доигрывать. Я просидел за доской всю ночь и нашел уникальный эндшпиль: пешки против ферзя. У Левенфиша, правда, есть единственный путь к выигрышу, но за доской это найти невозможно. Сейчас продиктую вам анализ...

— Позвольте. Вы же главный судья, да по условиям соревнования участники ни с кем не имеют права советоваться.

— Именно поэтому и считаю своим долгом вам помочь, — сказал Григорьев. — Мне известно, что ваш партнер с начала матча пользуется помощью со стороны группы мастеров, а вы одиноки... (Николай Дмитриевич был прав. Даже Слава Рагозин со мной не общался. До матча я предупредил Григорьева, что это условие будет не на пользу более щепетильному участнику.)

— Спасибо, но играл я плохо — к чему быть мелочным? Будет еще много соревнований: партию я сдаю.

— Иного ответа я и не ждал!

Николай Дмитриевич был величайшим специалистом в области пешечных и ладейных окончаний. В 1936 году в Париже на конкурсе составителей пешечных этюдов Григорьев завоевал пять призов из шести возможных. Работал он много, как правило, по ночам, когда было спокойно; внешне был похож на Зоценко, говорил тихо и витиевато, но когда показывал свои анализы, всегда была мертвая тишина: слушателей покорила глубина его тонких замыслов! Он анализировал и во время прогулок; однажды сохранил жизнь лишь из-за находчивости вагоновожатого, который успел подхватить Григорьева на сетку. Григорьев играл большую роль в шахматной жизни — еще в 1925 году руководил международным турниром в Москве. Вместе со мной в 1927 году за-

Новая глава воспоминаний. См. «Юность» №№ 5 и 9 за 1971 год и № 2 за 1972 год.

Снимки Михаила Ботвинника и Александра Алекина (вверху) сделаны в 1938 году по окончании АБРО-турнира в Голландии.

воевал звание мастера, но долгое время относился к нему с предубеждением — может быть, из-за конфликта в Одессе по поводу участия в чемпионате страны Ильина-Женевского¹. Григорьев был правой рукой Крыленко: Николай Васильевич посылал нас вместе к зампредсоднарком Антипову (по поводу международного турнира 1935 года) и Косареву (в связи с турниром 1936 года).

Григорьеву неприятен был исход матча не только потому, что моему партнеру помогала целая бригада. Советским шахматистам в те времена необходим был свой лидер, с которым были бы связаны надежды на завоевание первенства мира. И вот появился новый чемпион — Левешифф. Положение запуталось; результат матча только ухудшал ситуацию.

Между тем вопрос о том, может ли Ботвинник представлять на мировой арене советские шахматы, не был праздным. На шахматном Олимпе было смутное время. Капабланка и Алехин были уже не в зените, к чемпиону мира Эйве относились несколько скептически, акция молодого поколения (Флор, Решевский, Файн, Керес) повышалась. Алехин вернул себе звание чемпиона и подписал с Флором контракт о матче (матч субсидировался знаменитым чехословацким обувным фабрикантом Батеи). Чехословакия была вскоре оккупирована нацистами, и контракт потерял силу. Неопределенность сохранилась.

Осенью 1938 года в Голландии должен был состояться двухкруговой турнир восьми сильнейших шахматистов мира; отбор был строгим — даже Ласкер, после его неудач в 1936 году в Москве и Ноттингеме, не получил приглашения. Левешифф настаивал, чтобы он представлял Советский Союз, с ним все же не согласился, и мне было поручено представлять СССР в АВРО-турнире (АВРО — популярная голландская радиоконпания), где играл чемпион мира Алехин, Капабланка, Эйве, Керес, Решевский, Файн и Флор.

Снова пропущу, чтобы меня послали с женой. Комитет физкультуры сообщает, что все в порядке, и мы приезжаем в Москву за документами, чтобы поездом отправиться на Запад.

Отъезд завтра, но дают один паспорт, жене в паспорт отказано. Что делать? Комитет физкультуры подчинялся тогда зампредсоднарком Буганину. Это неплохо, мы познакомились в 1936 году в Париже, когда возвращались из Ноттингема, — тогда Буганин возглавлял делегацию Моссовета. Звоню его помощнику по Гомбанку и объясняю положение.

— Хорошо, — говорит он, — я доложу товарищу Буганину.

Настроение тяжелое. Погуляли, поужинали и легли спать. Утром выяснилось, что оба не могли заснуть. Идем в Комитет, на Скатерный.

— Где вы пропадаете? Пусть ваша жена немедленно заполняет анкеты.

Гора с плеч! Едем вместе...

Путь опасный — через фашистскую Германию. При переезде немецкой границы какой-то тип в штатском проверяет паспорта у пассажиров и ставит штампеля. Увидел наши ярко-красные книжечки — переполошился. Все было почти по Маяковскому. Тип в штатском исчез. Момент был серьезный: нордэкспресс не мог долго ждать. Но вот тип влетает в вагон, вручает мне паспорта и удирает, так и не закончив проверку паспортов у других пассажиров, поезд тронулся. В восемь вечера — Берлин, на перроне полпред Мерекалов; НКВД просил его проверить, все ли с нами благополучно. Семь утра — Брюссель. Нас встречает полпред Рубинин. На следующий день — Амстердам.

Амстердам и сейчас хорош, но тогда это был весь-

ма изысканный старинный город с несметным количеством велосипедистов — пешеходов почти не было (сейчас велосипед в Голландии не столь популярен, голландцы пересели в автомобиль). Но в Голландии были не только велосипедисты; тогда (так же, как и сейчас) были шахматисты. В 1935 году школьный учитель Эйве стал чемпионом мира, и это сыграло решающую роль в популяризации шахмат среди голландцев.

Перед турниром у всех участников были взяты расписки, что они полностью доверяют компании АВРО организацию турнира. А зря! Нас мотали по всей стране. Перед игрой вместо обеда — два часа в поезде. Играть голодные. Пожилые участники — Капабланка и Алехин — не выдержали напряжения. Когда возвращались в Амстердам, участникам в поезде раздавали бутерброды. Однажды Алехин настолько проголодался, что всех растолкал и первым схватил свой провантаж...

Иногда мне везло — за мной приезжал Николай Иванович Елизаров, шофер Экспортхлеба. Тогда дипломатических отношений с Голландией не было, и несколько сотрудников Экспортхлеба были единственным советским островком в голландском океане — конечно, они переживали за меня. Николай Иванович на своем «студбеккере» доставлял меня в Амстель-отель на час-полтора раньше, чем приезжали остальные участники.

7 ноября, в первом туре, я проиграл Файну — он великолепно провел партию. Затем в третьем, седьмом и одиннадцатом турах я выиграл у Решевского, Алехина и Капабланки и прикнул к лидерам — Файну и Кересу. В двенадцатом — в равной позиции — зевнул Эйве качество и занял третье место.

Я не видел Алехина два года — за это время он блестяще выиграл матч-реванш у Эйве. Внешне он изменился: обрюзг (нижняя челюсть стала массивной), как-то успокоился, вино пить бросил. В АВРО-турнире ему было трудно.

Моя партия с Алехиным — плановое использование в зидшпиле премьеств, накопленных после дебютного промаха противника. Хотя партия была отложена при материальном равновесии сил, позиция черных безнадежна. Пошел я к Флору в номер: сражение за картонным столом было в разгаре.

— Он еще не сдал партии? — не прерывая игры, спрашивает Флор.

— Кто «он»? — также, между прочим, осведомляется С. Г. Тартаковер.

— Да у Алехина совсем плохо, — отвечает Флор.

— Вы шутите, — говорит Тартаковер.

Оказавшись, Савелий Григорьевич направил в газету «Телеграф» подробный отчет о партии Ботвинник — Алехин, где сообщил, что ничья очевидна (пешек-то порвну!). Тартаковер немедленно звонит в редакцию, ему читают отчет. «Все хорошо, — говорит он, — менять нечего, только напишите, что черным пора сдаваться». Тартаковер вообще не видел партии, так что отчет был «каучуковым»; все решало заключение!

Гроссмейстер Тартаковер родился в Ростове-на-Дону, но никогда русским подданным не был. Хотя всю жизнь прожил в Австро-Венгрии, Франции и Англии (во время войны сражался у де Голя, под именем лейтенанта Картье), русский язык знал во всех тонкостях — у него было много друзей среди эмигрантов в Париже. Была у него страсть и к шахматам и к картам: все, что зарабатывал в шахматах, проигрывал в карты... Был талантливым шахматным писателем — по его книге «Ультрасовременная шахматная партия» учились играть советские школьники в 20-е годы. Характер имел милый и добрый: в 1946 году мы с женой и четырехлетней Олей, вторых по-

¹ См. «Юность» № 2 за 1972 год.



«Шахматный оркестр». Дружеский шарж конца 30-х годов.

кидая Гронинген (там был первый послевоенный международный турнир), забыли в отеле подушку дочки; позвонили из Гааги во Фрихте-отель Тартакову, и он с торжеством привез подушку прямо на прием в советское посольство...

Доигрывание нашей партии с АLEXИНЫМ было назначено во вторую очередь, и я остался в отеле. Звонит Флор: «АЛЕХИН сдает партию, если записан ход Ag5...» «Передайте, пожалуйста, Александру Александровичу: если он полагает, что я записал плохой ход, то ему не следует делать это предложение...»

В 1933 году в партии с Левенфишем я принял аналогичное предложение. За пять лет я стал опынее. Подобная постановка вопроса неэтична, ибо партнер может записать и другой ход, — тогда это предложение оказывается разведкой — и только. В таком незавидном положении я сам оказался в Ноттингеме перед доигрыванием партии с Ласкером. При анализе неоконченной партии мне показало, что Ласкер может добиться ничьей лишь в том случае, если он записал и запечатал в конверт единственный сильный ход. Во время обеденного перерыва я разыскал экс-чемпиона мира и предложил ничью при условии, что именно этот ход записан. Ласкер смутился, сказал, что записал другой ход, но что, по его мнению, ничья неизбежна. Тут настала моя очередь смущаться, я предложил доктору Ласкеру свои карманные шахматы, так как понял, что уже не имею права анализировать отложенную позицию — ведь тайна записанного хода была нарушена! Взять шахматы Ласкер отказался, заявив, что доверяет мне, — наша партия закончилась мирным исходом...

Доигрывание с АЛЕХИНЫМ состоялось, — хотя я записал другой ход, оно продолжалось недолго.

Партия с Капой носила иной характер. Мой партнер в защите Нимцовича обострил ситуацию: чья активность даст реальные выгоды — черных на ферзевом фланге или белых в центре и на королевском? Для поддержания инициативы пришлось пожертвовать пешку; затем нашел эффективную комбинацию с жертвой двух фигур. Позиция выиграна. Сижку и обдумываю наиболее точный порядок ходов. Капабланка внешне сохраняет самообладание, прогуливается по сцене. К нему подходит Эйве: «Как дела?» Капа руками выразительно показывает: или да, или нет, — явно рассчитывая на то, что я наблюдаю за этой беседой. Гениальный практик использовал последний психологический шанс: пытался внушить утомленному партнеру, что позиция неясная, — а вдруг от волнения последует какая-либо случайная ошибка? Чувствую, что напряжение скрывается и силы исчезают; следует заключительная серия ходов (Капа отвечает немедленно — я должен осознать уверенность партнера в благополучном исходе партии), но шахов больше нет, и черные останавливают часы. Публика рукоплещет — редчайший случай: обычно зрители аплодировали только Эйве. Восемнадцать лет спустя во время Олимпиады в одной из кондитерских Амстердама хозяин-шахматист выставил в витрине торг, где в точности была изображена позиция из этой партии.

Шатаюсь, поднимаюсь со стула. Все уже закрыто, но жена уговаривает буфетчика продать бутерброд с ветчиной. Жадно заглатываю и прихожу в себя.

На следующий день моя жена едет с мамом Капа-

бланкой в одном автомобиле. «Капа, — говорит Ольга (беседа происходит по-русски), — очень огорчился, когда проиграл Кересу. Вчерашнюю партию он оценивает иначе; он сказал, что это была «борьба умов». Капа хотел выиграть...»

Турнир окончен. Фанн и Керес впереди. Организаторы (по таблице коэффициентов) объявляют победителем Кереса. Формула решения такова: призы поровну, а победил Керес!

АВРО нужен был победитель, еще до турнира было объявлено, что победитель получит преимущественное право на матч с Алексиним. Правда, из этого ничего не получилось: на открытии турнира выступил чемпион мира и по-немецки (Алексин говорил по-немецки превосходно, он его изучал с детства, французский его тоже был хорош, позже он изучил английский и последние свои книги писал прямо на английском) с выразительной фельдфебельской грубостью зачитал заявление, где отклонял домогательства организаторов влиять на выбор претендента, и объявил, что будет играть с любым известным гроссмейстером, который обеспечит призовой фонд.

Это я наматал на ус: именно тогда надо было решать, вызывать ли чемпиона мира на матч. Когда увижу я Алексина следующим раз — неизвестно. Если ставить перед правительством вопрос о матче, необходимо было: 1) принципиальное согласие Алексина, 2) условия чемпиона. Что же делать?

Советуюсь с Митеревым, заместителем управляющего Экспортхлебом (управляющий Нестеров был в отпуске, в Москве), встречаю полную поддержку. Вот удача — наш полпред в Бельгии Евгений Владимирович Рубинин с женой Ольгой Павловной приезжает в Амстердам на последний тур. Вместе обедем в Амстель-отеле. Было воскресенье — по воскресным дням (за ту же плату) полагалось усиленное питание. Вообще нигде и никогда в гостинице мне не пришлось так вкусно есть, как в Амстель-отеле. Однажды (в воскресенье!), когда обеда был на исходе, я заметил вслух, что за соседним столиком старушка англичанка «подыхкинула». Жена стала смеяться, но сдержалась. Тогда уже мной (от стыдисты, конечно!) овладел хохот. Только сдержался я, начала хохотать жена. Дело плохо: знакомы объясняли жене — уходи. Молоденький официант заразился нашим настроением: подает десерт, поминая со смеху. Как только жена выскочила, я успокоился. Отказываюсь от десерта: «Спасибо, слишком много», — кивая официанту и чинно покидаю ресторан...

Такой же обед мы уничтожили вместе с Рубининим. Евгению Владимировичу тогда было 44 года, держался он важно, медлительно. Сейчас ему 79, манеры те же (бедная Ольга Павловна погибла в 1942 году в деревне во время пожара). Евгений Владимирович, разносторонне образованный «гуманитарщик», с интересом знакомится в Амстердаме с новым для него шахматным миром.

Объясняю Рубинину ситуацию, за ним решающее слово. Тогда в Амстердаме он был для меня Советской властью. Полпред дает свое благословение (он видел нашу встречу с Алексиним за доской в последнем туре, и ему повпала моя уверенность).

На закрытии турнира подхожу к Александру Александровичу, прошу назначить мне аудиенцию. Алексин соображал быстро, радость промелькнула у него в глазах, он понимал, что сыграть с советским шахматистом матч на первенство мира — наиболее простой, а быть может, и единственный путь к примирению с Родиной. «Завтра в Карлот-отеле (Алексин жил отдельно от всех, чтобы не общаться с Капабланкой, — они были врагами), в 16 часов...»

Пригласил я с собой Флора (нужен был авторитет-

ный свидетель — разве Алексин не связан с белоэмигрантами? Осторожность необходима). Но Александр Александрович еще со времен Ноттингема относился ко мне сердечно. Шахматист Алексин чувствовал мое восхищение — это его обезоруживало: только мы увиделись перед турниром в Амстердаме, он завязал беседу о новой звезде — Смыслов (Алексин нашел ошибку в одном опубликованном Смысловым анализе). И сейчас он был приветлив к нам обоим (ведь ранее он собирался играть матч с Флором. Флор, конечно, переживал, что сейчас не он, а другой договаривается о матче, но не подавал вида).

За чашкой чая (к удивлению Флора, чемпион оплатил счет). Флор меня предупреждал, что Алексин скуповат... условия были быстро согласованы: если матч состоится в Москве, то за три месяца чемпион должен быть приглашен в какой-либо турнир (для приобщения к московским условиям); Алексин был готов играть и в другой стране (только не в Голландии!) — решать вопрос о месте соревнования он предоставлял мне. Призовой фонд — 10 тысяч долларов (не так уж много, ведь будет экономия на моей доле приза, мне-то денег не надо).

— А сколько должны получить Вы?

— Две трети — в случае победы.

Это несколько затрудняло мою задачу; проще было просить твердую сумму, независимо от результата матча.

— То есть шесть тысяч семьсот долларов?

— Да, конечно.

— Эта сумма достаточна и при ином исходе матча?

Алексин засмеялся и кивнул головой.

Условившись, что я направляю формальный вызов по указанному им адресу в Южную Америку (Алексин где-то в Тринидаде собирался покупать земельные участки), если вопрос будет решен положительно, и что, когда все будет согласовано, о матче будет объявлено в Москве. До этого все держится в строжайшем секрете. Крепкое рукопожатие, и мы расстаемся, чтобы никогда более не увиделись.

После турнира было проведено совещание участников — уникальное в истории шахмат. Одновременно в зале было семеро участников (Алексин и Капабланка присутствовали по очереди). Обсуждался вопрос о создании «Клуба восьми сильнейших» с тем, чтобы клуб утвердил правила проведения матчей на первенство мира. Алексин был согласен, чтобы призовой фонд состоял из 10 тысяч долларов за одним исключением: Капабланка должен собрать 18 тысяч долларов (10 тысяч золотом — на таких условиях был проведен их матч в 1927 году)... Каждый член клуба имеет формальное право вызвать чемпиона. Файну и Эйве было поручено подготовить и разослать проект правил (никто не предлагал привлечь ФИДЕ к решению этого вопроса).

Обратный путь был далеким — через Бельгию, морем до Скандинавии, поездом на Стокгольм (познакомились с А. М. Коллонтай — остались впечатления о приветливости, энергии и старости) и через Ботнический залив и Финляндию — на Ленинград.

Еду в Москву отчитываться о командировке. Звоню уже знакомому помощнику Булагина и на следующий день сижу в кабинете председателя правления Госбанка и рассказываю об итогах турнира и о своих планах. Булагин не прерывает, внимательно слушает: «То, что вы мне рассказали, изложите в письме на имя председателя Совнаркома, я доложу лично. На конверте напишите мое имя и сдайте в экспедицию Госбанка». Совет был исполнен.

Вернулся в Ленинград и после нового года тяжело заболел. Стоматит, температура за 40. Звоню, входит фельдшер: «Получите телеграмму (прави-

тельства Алексея)... Читаю: «Если решите вызвать шахматиста Алексея на матч, пожелаем вам полного успеха. Остальное нетрудно обеспечить. Молотов».

Липш два-три года назад, вспоминая этот эпизод, я случайно произнес текст телеграммы с кавказским акцентом и понял, что скорее всего она продиктована Сталиным. Это его стиль: особенно характерно «желаем» (а не желаю) и «нетрудно обеспечить»!

Как будто вопрос решен; в действительности все оказалось не так уж просто...

После болезни поехал я в Москву — причин было немало: следовало представиться новому председателю Комитета физкультуры Снегову, согласовать текст формального вызова на матч, убедить Комитет провести чемпионат СССР не в Киеве, а в Ленинграде (я продолжал находиться под наблюдением врачей) и т. д.

Являясь на Скатертный для беседы с заводчелом шахмат В. Снегиревым: «Как вы относитесь к тому, что будет провозглашен лозунг — догнать Ботвинника?» Это что-то новое. До сих пор я считал, что должен завоевать первенство мира для Советского Союза; теперь, оказывается, 27-летний гротмейстер должен играть не сильнее своих товарищей! Снегирев внимательно слушает меня...

Далее беседа со Снегиревым — впервые чувствую, что не могу найти общего языка с лицом, от которого зависит моя шахматная деятельность. Молчание, перемежающееся с недружелюбными замечаниями. Все же месяца через два мое письмо Алексею было Комитетом отправлено, одновременно было объявлено о проведении чемпионата в Ленинграде.

Недружелюбие Снегова было первым проявлением противодействия матчу с Алексием, которое иногда ослабевало, иногда усиливало, но продолжалось семь лет — вплоть до смерти чемпиона мира. Тогда я не выяснял, чем это было вызвано, хотя твердо шел против течения. Сейчас думаю, что суть дела была в обычном человеческом чувстве — зависти. С одной стороны, наши ведущие мастера мечтали о том, чтобы чемпионом мира стал советский шахматист, с другой — многие из них сами надеялись проslавить советские шахматы; некоторые же считали, что если не они, то пусть лучше никто.

Конечно, можно разглагольствовать о том, что это нехорошо, но так было. Никто из них не высказывал, естественно, своих мыслей прямо. Нет, они рассуждали о том, что Ботвинник слаб и во всех случаях проиграет матч Алексею (то есть опозорит советские шахматы), или о том, что Алексин имеет такую политическую репутацию, что советский шахматист не может с ним встречаться за шахматной доской, и, более того, советские шахматисты (и в первую очередь Ботвинник) должны выступить против Алексея и потребовать, чтобы он был лишен звания чемпиона, и т. п. Конечно, эти мастера действовали таким образом в исключительных случаях, предпочитая прятаться за спины своих приятелей самого различного общественного положения.

Даже у Крыленко, который меня искренне поддерживал, бывали колебания. 1931 год, финиш чемпионата СССР. Фойе Политехнического музея заполнено до отказа: все хотели быть очевидцами встречи Ботвинник — Рюмин (я уже успел проиграть в турнире дважды и отставал от лидера на полочка; Рюмин шел без поражений). В дебюте получаю перевес, Рюмин жертвует пешку, чтобы перехватить инициативу; следует моя неточность в цейтноте, но в ответ — новый промах черных, и партнер останавливает часы. «Какой цейтнот!» — слышу знакомый голос. Наши глаза встречаются — Николай Васильев поворачивается спиной и уходит. Крыленко явно сочувствовал москвичу Рюмину.

1936 год, комната за сценой Колонного зала, финиш международного турнира. Через десять минут должна начаться партия с Рагозиным; у меня есть еще некоторые надежды догнать лидера — Капабланку. Меня уговаривают сделать ничью, чтобы Рагозин занял более высокое место в турнирной таблице. (Слава об этом, конечно, ничего не знала.) Крыленко на мой недоуменный вопрос только пожимает плечами. Тут же обращаюсь к Косареву. Выслушав, Александр Васильевич скомандовал: «Выигрывай, Михаил!», — он всегда был за меня.

На меня все это не оказывало влияния; разве только приходилось отвлекаться по пустякам. Я упорно шел к поставленной цели.

Весной 1939 года в Ленинграде начинается чемпионат СССР. Фавориты, в том числе и Левенфиш, в неудачной форме; но выдвигается новичок — Саша Котов. Лишь в последнем туре, после выигрыша у Котова, я после шестилетнего перерыва завоевываю звание советского чемпиона. Теперь, когда идут переговоры с Алексием, это весьма важно!

Но главный итог турнира был не в этом.

С 1933 года я работал над методом подготовки к соревнованиям, искал оптимальный режим шахматиста во время турнира. Пожалуй, именно в чемпионате 1939 года был подведен первый итог этой работы. В турнирном сборнике была опубликована статья «О моих методах подготовки к соревнованиям. Турнирный режим», где говорилось и о дебютных системах, и об эндшпиле, и об изучении творческого и спортивного лица противников, и о распределении времени в течение партии, и как анализировать неоконченные партии и т. п. Эти вопросы были изучены и рассмотрены всесторонне. Суть метода, то, что отличало его от известных ранее, заключалась в характере подготовки дебютных систем. Дебютные новинки давно известны; обычно это какой-либо трюк или позиционная неожиданность. Такая новинка годится на одну партию. Как только она становится известной, она теряет ценность. «Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующей партии», — писал Маяковский, сравнивая ход с рифмой.

Мне удалось разработать метод, при котором «дебютная новинка» оказывалась запрятанной далеко в миттельшпиле; она имела позиционное обоснование нового типа, она не имела «опровержения» — в привычном смысле этого слова. Лишь проделав большую работу, лишь преодолев шаблонные позиционные представления, лишь проверив контриден в практической борьбе, можно было найти истину и вместе с ней подлинное опровержение. Поэтому мои дебютные системы жили годы, из турнира в турнир приносил успех своему изобретателю. Иногда они по долгу находились в резерве, в ожидании того момента, когда другие к ним наконец подойдут и можно будет их применить на практике — тогда с помощью этих систем можно было развить недостаточно подготовленных партнеров. Не случалось, что когда эта система подготовки созрела (то факт, что она была опубликована, не мог нанести прямого ущерба ее автору, ибо системой этой могут пользоваться лишь те, кто имеет талант исследователя и не избегает работы), в период 1941—1948 годов я победил подряд в восьми соревнованиях, в которых сыграл 137 партий и в них набрал 104,5 очка (76,3%)! Конечно, это был период, наиболее благоприятный для шахматного творчества (мне было 30—37 лет), но нельзя же все сваливать на возраст... Возраст создавал условия необходимые, система подготовки — достаточные.

Был найден творческий метод, который позволял уверенно реализовать поставленную цель — завое-

вать звание чемпиона мира. Не только я стал играть лучше; некоторые гроссмейстеры (Болеславский, Геллер и др.) также стали пользоваться этим методом, а основная группа получила необходимую информацию о том, в каком направлении теории начал надо трудиться... В период 1940—1960 годов советские шахматы сделали качественный скачок и в известной мере (так мне кажется) это было связано с системой подготовки. В партиях чемпионата 1939 года, применяя подготовленную защиту Грюнфельда, французскую защиту, защиту Нимцовича, мне удалось выиграть важные встречи — это и обеспечило общий результат.

Июль 1939 года. Живу на даче в Луге, у тестя. Вдруг появляется долговзаяз фигура — Владимир Николаевич Снегирев.

Был Снегирев некрасив и лицом и всей своей внешностью, одевался не столько бедно, сколько неаккуратно. Припухшее лицо, маленькие глаза, здоровенный нос, жидкие и бесцветные, гладко зачесанные волосы. Но это был самый большой шахматный энтузиаст-организатор, с которым мне пришлось иметь дело, личной жизни у него, видимо, вообще не было.

За непрезентабельной внешностью скрывался настоящий, умный и целеустремленный человек. Он хорошо разбирался в людях, отнесся от себя болтунам и бездельникам; всей своей деятельностью, скромностью, непоказным энтузиазмом он завоевал доверие начальства и уважение шахматистов. Он установил правильные отношения с руководством Комитета физкультуры; был полпредом шахмат в спорте, ему доверяли, его поддерживали и не мешали... С утра до позднего вечера носился он, крепко обняв толстенный портфель, по Комитету, «пробивая» свои шахматные дела. Любопытно, что учился он в Москве в одной школе с чемпионкой мира Верой Менчик. (Чепка по национальности, Менчик, хотя была по внешности типичной русской женщиной, никогда не имела советского гражданства. В 1926 году она вышла замуж за мать и сестрой Ольгой — также известной шахматисткой, в Прагу к отцу, а затем в Англию к бабушке. В Лондоне Вера брала уроки у венгерского гроссмейстера Мароци, что оказалось решающим в ее шахматном развитии. В январе 1935 года я был в гостях у ее бабушки в Гастингсе, а в сентябре 1936 года мы с женой были в гостях у семьи Менчик в Лондоне. Жили они недалеко от советского посольства на Куинз-роуд, в доме, который сотрясало от проходящих поездов метро, — квартира была меньше. Вера и Ольга жили шахматными и картонными частными уроками. В 1944 году все они погибли от немецкой бомбы.)

Алехин прислал ответ, и Снегирев приехал.

Чемпион мира в соответствии с нашей договоренностью принял вызов и все условия, кроме одного: он уже не был согласен с тем, что весь матч проходит в Москве. Алехин требовал, чтобы вторая половина матча была в Лондоне.

Мне поведение чемпиона не понравилось. Это было нарушением джентльменского соглашения и, кроме того, затрудняло организацию матча — надо было вести переговоры с Британской шахматной федерацией. Последнее, правда, меня мало беспокоило: англичане, конечно, пошли бы на это, если призывной фонд обеспечен; но ведь надо опять обращаться в правительство... Я написал Алехину вежливое, но твердое письмо, где настаивал, чтобы наша договоренность в Амстердаме была подтверждена и весь матч был бы в Москве. Снегирев тут же уехал в Ленинград, чтобы утром доложить в Москве руководству Комитета о моих предложениях.

1 сентября началась вторая мировая война, и первый этап переговоров о матче был на этом закончен; к этому формально вернулись лишь шесть лет спустя. Но, по существу, перерыва не было — вопрос о предстоящем матче красной нитью проходил через советскую шахматную жизнь тех лет.

Летом 1939 года Совнарком установил мне стипендию в размере 1 000 рублей в месяц — исключительный акт. Надо думать, это было по инициативе Снегирева. Шахматисты есть повсюду (даже в Совнарком), впоследствии я узнал, что зампреды единогласно высказались «за».

Решал учиться играть матчи — ведь с Флором и Левенфишем я играл не очень уверенно. Договорились мы весной 1940 года потренироваться со Славой Рагозиным. Играть в идеальных условиях: хороший режим, свежий воздух, тишина. Я легко провел тренировочное соревнование, хотя раза два был на волоске от проигрыша. Осенью предстоял чемпионат СССР в Москве.

Это был тяжелый турнир. Много участников, мало выходных дней. Большой зал Консерватории обладает отличной акустикой. Зрители вели себя распушено, шумели, аплодировали, акустика только ухудшала дело. Передавали, что после какой-то победы Кереса С. С. Прокофьев бурно зааплодировал. Соседи по ложе сделали ему замечание. «Я имею право выражать свои чувства», — заявил композитор. Но доволен ли был бы мой друг Сергей Сергеевич, если бы он участвовал в трио и после исполнения скрипичной партии зрители аплодировали заглашала его игру на фортепиано? А ведь положение шахматиста хуже: пианист под аплодисменты мог бы и сфальшивить, шахматист лишен этого права.

В турнире принимали участие новые имена — Керес (Эстония к тому времени была уже советской республикой), Смыслов, Болеславский... Конечно, основной интерес был связан с участием Кереса: кто теперь, при изменившихся обстоятельствах, должен представлять Советский Союз в борьбе за первенство мира с Александром Алехиным? Турнир не дал ответа на этот вопрос.

После десяти туров я лидировал, но затем первые мои подразыграния, обстановка была малоподходящей для творческой сосредоточенности — в таких условиях я чувствовала себя беспомощным. Первые два места поделили Бондаревский и Лиленталь, Смыслов был третьим, Керес — четвертым, мы с Болеславским поделили пятое и шестое места. Было объявлено о проведении матча на первенство СССР между двумя победителями турнира. До декабря я не мог думать о шахматных фигурах — столь неприятен был осадок от турнира, от нездорового ажиотажа (словно на стадионе), от пренебрежительного отношения к творческой стороне шахмат. В декабре я стал исследовать один вариант защиты Нимцовича и почувствовал, что дело пошло. Одновременно послал письмо Снегиреву, где иронизировал по поводу того, что чемпионом страны должен стать победитель матча Бондаревский — Лиленталь (оба они — шахматисты большого таланта, но выспших шахматных достижений у них не было), в то время как у Кереса или у Ботвинника уже были крупные достижения в международных турнирах...

Снегирев был человеком тонким (сознавал, что этот матч для противоборства с Алехиным значения не имеет), он понял мой намерение и взялся за дело, как всегда, бесшумно и энергично. Как он сумел убедить начальство, не знаю, от этого не рассказывал, но месяца через два было объявлено об установлении звания «абсолютного» чемпиона и проведении матч-турнира шести победителей чемпионата в че-

тыре круга. Смысл, который вложил Снегирев в понятие «абсолютный», был ясен: именно абсолютный чемпион СССР должен играть матч с Алексиным.

Готовился я по опубликованной уже системе, с некоторыми дополнениями. Поскольку в чемпионате я страдал от курева и шума, то играли мы с Рагозиным тренировочные партии при включенном радиоприемнике; после партии форточку не открывали, и спал я в прокуренной комнате. Жили в доме отдыха Ленинградского горкома партии в Пушкине, напротив лица (там раньше размещался комендант Царского Села). Днем ходили на лыжах, анализировали, а вечером играли. Подготовился я физически, технически и морально отлично, появился вкус к игре.

Итак, матч-турнир. Решающее событие произошло в третьем туре первого круга. Керес белыми применил в защите Нимцовича рискованный вариант. Этот вариант уже встретился в одной опубликованной партии и был неверно оценен — Керес и положился на эту оценку. Как уже отметила, я начал подготовку с этого дебюта и проанализировал вариант весьма глубоко. Партия завершилась молниеносной матовой атакой.

После игры ухожу за сцену (играли мы первую половину в Ленинграде, в Таврическом дворце) пере-

вести дух. Врывается Снегирев и, сжимая руки (очевидно, чтобы сдержать себя), бегает вокруг и приговаривает: «Эм-Эм (так он величал меня всегда, когда был чем-то взволнован), вы сами не знаете, сами не знаете, что сделали...» Видимо, Владимир Николаевич, настаивая на организации матч-турнира, предсказывал мой успех и теперь торжествует.

Потом переехали в Москву и играли в Колонном зале. И в Ленинграде и в Москве Снегирев блестяще организовал турнир. Тишины в Москве он добился простым путем: по среднему проходу гуляла блюститель порядка в милицеейской форме. Одна раз не дисциплинированный зритель был выведен из оштрафован. В Ленинграде, где все места в зале были заняты индивидуальными наушниками, зритель непрерывно развлекал Левенфиш, комментируя ход борьбы, поэтому и разговоров в зале не было.

Я выиграл все матчи, в том числе и у трудных для меня партнеров — Бондаревского и Алянтиала (им обоим я проиграл в чемпионате). Керес был вторым, отстав от меня на 2,5 очка. Смыслов был третьим. Стало ясно, кто должен играть с Алексиным.

Через два месяца фашистская Германия напала на нас, и шахматы отодвинулись далеко-далеко...

(Окончание следует.)

ЮРИЙ ЗЕРЧАНИНОВ

e2-e4

В июньском номере «Юности» я попытался рассказать, как Михаила Таль вновь играет в настоящие шахматы и нескрываясь наслаждается этой игрой. Беседовал я с Талем в марте на международном турнире Таллин-73 и, между прочим, предупредил его, что журнал с этим материалом выйдет в дни ленинградского межзонального турнира...

Таль весело заметил на это, что мне не следует беспокоиться: если он «завалится» на межзональном турнире, то я смогу продолжить тему. И вот теперь, к великому собственному огорчению, я вынужден воспользоваться советом Талья и действительно продолжить тему. Кто же мог представить, скажите, что Михаил Таль не будет в числе тех трех победителей ленинградского межзонального турнира, которым предстоит продолжить борьбу за право играть матч с Робертом Фишером?

Тут дело не только в том, что Таль имел лучший рейтинг-лист, то есть по классификации ФИДЕ стоял выше всех остальных участников межзональных турниров. Именно в Тале, который снова стал Талем, многим виделся достойный соперник нынешнего чемпиона мира. Да, Фишер победил, кажется, всех, но только не Талья, а ведь именно Таль породил, пожалуй, самую яркую шахматную легенду

наших дней. И не случайно вскоре после матча в Рейкьявике, когда Таль вновь появился на мировом шахматном горизонте, Фишер заявил в одном интервью, что теперь он хотел бы сыграть матч престижа с Талем.

Что же случилось в Ленинграде? Димитрие Белица, югославский шахматный журналист, в день открытия ленинградского турнира подарил Талю свою последнюю книгу «Дневник из Рейкьявика» с надписью: «Дорогому Другу. Мне жаль, что тебя там не было». По таланту Белица ставит Талья выше Фишера и вообще выше всех. Он сказал мне, что Таль может уступить лишь одному противнику — самому Талю, своей болезни. Так и случилось в Ленинграде.

Шахматный обозреватель «Советского спорта» Виктор Васильев, автор книги «Загадка Талья», полагает, что Таль приехал в Ленинград излишне изнуренный борьбой за то, чтобы вернуть свое бывшее имя, которую он вел последнее время на бесконечных турнирах. Имя Таль вернул, но ленинградский турнир оказался для него как бы последним километром марафона.

Обозреватель шахматного еженедельника «64» Александр Рощаль, также говоря о болезни Талья, наряду с этим отмечает, что во многих партиях турнира Таль, казалось, вдруг забывает одному ему известную пиратскую тропинку, которой прежде он всегда пробивался к своей шахматной истине, и сворачивает на проторенную дорогу...

Я приехал в Ленинград в конце турнира, когда Таль уже растерял все надежды попасть в призовую тройку и когда поживиться за его счет, полагая, что он окончательно сломен, пытались даже участники, замыкавшие турнирную таблицу. Расскажу о двух утренних доигрываниях без зрителей, которые пришлось проводить Талю.

В первое утро он доигрывал отложенную партию с колаумицем Кузларом, который уже после первых туров прочно обосновался на последнем месте. Кузлар, которому под шестьдесят, даже в самые жаркие дни являлся на турнир в строгом костюме,

при галстике и походил на доброго провинциального дядюшку. Но этот добрый дядюшка терзал Талю все утро: поначалу ему, очевидно, мерещились выигрыш, потом он упорно пытался сделать ничью. Таль скукался, ожидая, когда ж, наконец, Кузлар сдастся, а тот все играл и играл, рассчитывая, очевидно, что вдруг Таль поставит ему фигуру... Таль понимал, что происходит, и в конце концов это стало его веселить. И лишь ходу на восьмидесятом Кузлар сдался и тут же срадо, обижено заговорил, что он анализировал эту партию две недели, а сегодня утром его подняли очень рано, и он не смог выпить даже горячего кофе...

— Что он говорит? — спрашивала меня Геля, жена Тали.

— Что он не вышел утром горячего кофе.
— Я ему сделала здесь кофе, Мише сделала и ему. Правда, чайник долго не закипал...

На следующий день утром Таль доигрывал с молодым франтоватым аргентинцем Кинтеросом, который недавно выполнил норму международного гроссмейстера, а помимо того известен своей дружбой с Фишером. Кинтерос играл в Ленинграде средне, но ему удалось, например, победить Ларсена. Таль в то утро откровенно себя чувствовал и хотел лишь скорее закончить партию, но от предложенного им повторения ходов Кинтерос уклонился...

— Ох, дурацкий турнир! — восклицала Геля. — Во сне я приспосылала такое бы — не поверила.

Но в этой партии Талю вдруг повезло — единственный раз за весь турнир повезло. Когда у Тали уже не было сил продолжать игру, Кинтерос грубо ошибся и тут же сдал партию. А спустя три с половиной часа Таль вновь сел за шахматный столик и ходом королевской пешки — своим излюбленным вызывающим ходом — начал партию пятнадцатого тура с Глигоричем. Таль атаковал маститого Глигорича уверенно и вдохновенно, словно, наконец, хорошо отдохнул и пришел в себя перед этим туром. Но я-то видел, как еще три с половиной часа назад он совершенно был обессилен острой болью... Неужели лишь неистовая убежденность в своих сверхвозможностях дала ему силы для неотразимой атаки на позицию Глигорича? Эту особенность незаурядной личности Тали — как и другую и не менее характерную особенность: совершенное отсутствие инстинкта самосохранения?! — рекомендовал мне не забывать Александр Кобленц, который долгие годы был тренером Тали.

Я сидел в зале, вспоминая эти слова Кобленца и в который раз пытаюсь сформулировать для себя: что же случилось с Талем? — как вдруг по рядам прошел легкий гул, а шахматисты, которые, ожидая хода соперника, прогуливались по сцене, устремились мгновенно к столу, где Ларсен играл с Бирном. А дело в том, что в равной позиции Ларсен, недолго думая, сделал самоубийственный ход конем! После бурного старта Ларсен вдруг начал раз за разом проигрывать, причем, как заметил Макс Эйве, проигрывать как-то по-детски (Таль, кстати, тоже проигрывал совершенно нелепо: с кубинцем Эстевесом, например, он вдруг начал играть в поддевки...). Теперь же Ларсен лишился последних надежд войти в первую тройку. Но «детским принципом» уже владела какая-то обреченность: он торопливо сделал несколько пустых ходов и сдался.

Так фактически закончился этот турнир для импудсивного Бента Ларсена, а практичный и четкий Роберт Бирн (его манеры и внешний облик вполне соответствуют стилю игры: массивный золотой перстень с печаткой не нарушает общей картины) во многом обеспечил себе этой победой будущее третье место. В пресс-центре, обсуждая сенсационный успех Бирна, говорили, что в последние годы он

много играл с Фишером, был его спарринг-партнером...

Но самым ярким торжеством шахматного рационализма на этом турнире оказалось, конечно, первое место Анатолия Карпова. Двадцатидвухлетний гроссмейстер и не скрывает, что рискованная игра в стиле шахматных мушкетеров ему не по душе. Считают, что Фишер вновь и на самом высоком уровне утвердился в сегодняшних шахматах железную логику в оценке позиции и сверхдальновидный трезвый расчет, в этом смысле Карпов близок к Фишеру. Карпов, бесспорно, очень талантлив и с каждым годом заметно прибавляет в классе игры. Сейчас всех занимает, конечно, может ли Карпов уже противостоять Фишеру. Сам Карпов во время турнира сказал, что он еще не готов к единоборству с чемпионом мира. Еще не готов. Но, значит, он даже не сомневается, что когда-то будет готов...

Карпов прошел турнир без единого поражения да и по ходу игры лишь дважды имел сомнительную позицию (с Талем и со Смейкалом), но в первом случае закончил партию ничью, а во втором даже выиграл. Карпов и в жизни, в быту, стремится всегда иметь безукоризненную позицию. Таль, например, обедал в турнирные дни сначала в одном ресторане, пока не след там что-то не то, потом стал обедавать в другом, а Карпов питался дома — у одного своего друга. По утрам тот сам ходил на Кузнечный рынок и покупал самые лучшие и самые свежие продукты.

В тот вечер, в пятнадцатом туре, Карпов играл с болгаринцем Радуловым. Сделав очередной ход, он часто оставался за столиком и изучающе поглядывал на Радулова, словно пытался разгадать, о чем тот сейчас думает (один известный гроссмейстер, проигравший Карпову, признался, что его очень нервировало, когда Карпов вот так на него смотрел). Но Радулов это, очевидно, совсем не нервировало, и на доске продолжало сохраняться равенство. А что же Карпов? Он и не думал насласовать позицию и не обоснованно рисковать. К тому же турнирное положение позволяло ему согласиться с Радуловым на ничью, что он и сделал.

Линь Виктор Корчной, разделивший с Карповым победу в турнире, сумел противостоять торжествующему рационализму, блистательно продемонстрировав ту самую рискованную игру в стиле шахматных мушкетеров. В пятнадцатом туре, который я выбрал, чтобы представить главных действующих лиц турнира, Корчной элегантно переиграл филиппинца Торре — на первый взгляд скорее похожего на отрешенного хиппи, чем на шахматиста. Однако как раз на Торре споткнулся во втором туре Таль.

Так что же с Талем? Помню, в конце марта в Центральном шахматном клубе Михаил Таль довел до экстаза своих поклонников, эффектно продемонстрировав, как он победил в Таллине Спасского. И наконец кто-то крикнул из зала: «Каким ходом вы начнете первую партию с Фишером?» Таль чуть улыбаясь и сказал: «Если к тому времени, когда этот матч состоится, шахматные правила не изменятся, я схожу е2 — е4». Так вот, хотя в Ленинграде Таль сделал все, чтобы этот матч — по крайней мере в ближайшие несколько лет — не состоялся, поклонники шахмат не отступили от своего кумира.

Когда Таль вышел на улицу после партии с Глигоричем, толпа едва не растерзала его, требуя автографа. Эту партию, которая уже ничего не меняла в его сегодняшней судьбе, Таль, кстати, начал — помните? — тем же ходом: е2 — е4...



ЗЕЛЕНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

Владимир ПАНКОВ

КРУГОМ НАМЕКИ!

Этот человек отделился от гостей и подошел ко мне, когда я закурил сигарету. — Разве вы курите? Мне казалось, что вы спортсмен... Хотя, впрочем, — он окинул меня взглядом, — для спортсмена вы не слишком ладны...

Я, улыбаясь, затянулся.

— А что вы улыбаетесь?.. Хотите сказать, что я тоже не слишком-то осанис? Однако, увы, первое впечатление обманчиво. Я тем не менее спортсмен...

Я, улыбаясь, курил.

— Понимаю ваши сомнения... Но спортсмен — это прежде всего здоровье изнутри, а не снаружи... Хотя, конечно, то, что «снаружи», производит более сильное впечатление. Особенно на приемные комиссии в институты, — он пошутил. — Не так ли?

Я, улыбаясь, курил.

— Вы, наверное, полагаете, что я тоже спортом ради каких-то корыстных целей занимаюсь? Так?

Я, улыбаясь, курил.

— Странная у вас склонность к намекам... По-вашему, так выходит, что каждый, кто занимается спортом, обязательно надеется что-то с него поиметь. Вы это хотите сказать?

Я, улыбаясь, курил.

— Интересно вы рассуждаете... Может, вы полагаете, что и новую квартиру мне дали как спортсмену?.. Любопытно, очень любопытно.

Я, улыбаясь, курил.

— Но прежнюю квартиру ведь я сдал. Честно сдал... Ну и что из того, что это была моя жена...

Прежняя жена. Прежняя квартира и прежняя жена. Мы развелись.

Я, улыбаясь, курил.

— На что вы намекаете? — закричал он. — Вы думаете, что я развелся с женой фактивно? Что-бы сохранить прежнюю квартиру, так?

Я, улыбаясь, курил.

— Вы меня доконаете!.. Ну не сдавать же мне было ту квартиру посторонней женщине!

Я, улыбаясь, курил.

— Да прекратите вы эти неприличные намеки! Никакой посторонней женщины не было. Не было!! — Он уже рыдал.

А я, улыбаясь, курил.

— Ну хорошо, была... Я сдаю. Ваша взяла. Но это совсем не то, что вы думаете. У нас была платоническая любовь... Она святая женщина.

Я, улыбаясь, курил.

— Неужели вы тоже ее знаете?.. У вас с ней тоже что-нибудь было?.. Скажите мне, умоляю вас, что у вас с ней было?

Я, улыбаясь, курил.

— Я так и знал! О горе! А я-то, наивный балбес, считал, что она ангел. А ангел, выходит, оказался с рожками, да?

Я, улыбаясь, курил.

— Вы полагаете, что рожки-то были у меня?.. Рога, да? Вы это подразумеваете?

Я положил окурок в пепельницу и раздавил его.

— Та-ак, — тревожно протянул он. — Ч-что вы хотите этим сказать?..

Я повернулся и пошел к выходу.

— Это невозможно! — простонал он мне вслед. — Все что-то знают, все на что-то намекают. Я сойду с ума!..

Рисунок
Иосифа ОФФЕНГЕНДЕНА.



Никто, никто не спал в эту ночь!

Марк Водовозов учил Леночку Сылко отзываться на обращение «Елена Петровна». Сестры Куксины жгли свечку перед портретом Ушинского. Степан Кимов мрачно татуировал на руке: «Не забуду правило буравчика».

Им было от чего не спать: завтра предстоял первый самостоятельный урок.

Ученики тоже не теряли времени. Они уже старательно натерли доску мылом, журнал — мелом, заклеили на глобусе Австралию Кемеровской областью и подкачали учебный скелет к настоящему трансформатору.

Теперь вопрос упирался в одно: успеет ли Леночка Сылко спросить второгодника Гудова о дееспричастии до того, как он спросит ее, как пишется слово «акселерация»? Дотянется ли Степан Кимов до спасительной татуировки прежде, чем сидеть на буравчик, забитовлю вмонтированный в стул? И, наконец, вспомнят ли сестры Куксины, что говорил Ушинский об учениках, топоящих на уроке ногами, когда начнут топая ногами на уроке?

Один я не волновался. Прекрасно выпавшись и с аппетитом позавтракав, я после звонка неторопливо зашел в свой будущий класс. Тридцать пар глаз выжидательно уставились на меня, тридцать локтей толкнули в бок соседа:

— Сейчас начнется!

Но я был совершенно спокоен. Потому что я сделала ставку на Великий Принцип Противоречия.

По этому принципу бутерброд падает маслом вниз да еще на новые брюки начальника, а вместо нужного вам трамвая № 6 приходит преждевременная старость. Единственное место, где этот принцип можно использовать в мирных целях, — это школа.

...Мимо моего левого уха проистекала бумажная ласточка.

Мгновение — и я была возле рыжего верзилы, который запустил ее.

— Встать! — заорал я.

В ответ рыжий заорал тоже:

— А вы видели? Да? Видели?

— Видеа не видеа, а родители пусть придут! — еще сильнее закричала я. — Они у меня узнают, кого вырастили! Они ж будущего авиаконструктора вырастили! Посмотрите, дети, как он сделал эту ласточку! Какие крылья, какой фюзеляж! Ей же хоть сейчас в серийное производство запускать. Туповел! Ильяшин! Братяа Монгольфе!

— От такого слышу! — сказал рыжий и ууваа.

Несколько минут класс озабо-

С. ЛИВШИН

А же
всё-таки
педагог



Рисунок
Олега КОКИНА.

моем месте. А сестры Куксины — те вообще были бы уже на полу — от валидола к заучу.

Я же продолжал урок и внимательно прислушивался к тому, что происходило в классе. Вдруг ухом мое уловило, что толстая девочка на первой парте толкает надувала щеки, но не гудела.

— А ты почему молчишь? — строго спросил я.

— Я староста, — гордо ответила она.

Я ехидно улыбнулся.

— Хорошего вы себе старосту выбрали, нечего сказать! Бросает класс в трудную минуту. Или ты гудеть не умеешь?

— Я... меня... разве так можно? — запелетала толстая девочка и заплакала, утирая слезы толстой косой.

Не обращая больше на нее внимания, я сказал:

— Запишите домашнее задание: к следующему уроку каждому сделать трещотки из киноленты, шаргалки по крестовым походам. Можно с помощью родителей. А теперь — марш на улицу! Играйте в футбол, в куклы, во что хотите! Ну?!

Тридцать ртов открылись от удивления, тридцать локтей толкнули в бок соседа.

— Разыгрывает или нет?

Рыжий спросил напрямик:

— Про Карла Девятого объяснять не будете?

— Ну зачем вам Карл Девятый? — мягко улыбнулся я. — Вы посмотрите лучше за окно: солнышко светит, птички поют, деревья зеленеют... Самое время смастерить рогатку и бахнуть по птичке. Айда за мной!

Ученики вышли на цыпочках. Толстая староста на всякий случай осталась в классе. Она сидела, зажав уши и зажмурив глаза, пока за ней не прибежали родители и не перевели ее в специальную школу для отличников, где физику преподавали на английском языке, а гардеробища имела ученую степень кандидата философских наук.

А на мой класс теперь приезжают смотреть даже из-за Полярного круга. Потому что все ученики у меня успевают, подтянутые и дисциплинированные. Они никогда не пускают бумажных ласточек, не пользуются шаргалками, не трещат трещотками и уступают место старшим. И все исходя из Великого Принципа Противоречия.

А если кто-нибудь на уроке забывает и снова возвращается к прошлому, я начинаю гудеть. Правда, негромко и с большим достоинством. Я же в конце концов педагог. Одесса.

чно шушукался. Потом все стали с преувеличенным вниманием слушать мои объяснения. Я понял, что готовится новая атака.

И не ошибся.

Сперва загудел рыжий, потом его сосед, потом весь класс. Они гудели тихо и мощно, как сто ульев. Лица у них были благовоспитанные и невинные, словно с обложки журнала «Семья и школа». Но все гудели, не открывая рта.

Даже Марк Водовозов, который ходил на медведя с одним шампуром, даже он растерялся бы на

ВЫХОД

Ее приняли на работу в четверг, симпатичную девушку лет двадцати. А в пятницу с утра затрещали наш телефон — добавочный 76.

— Птичкину — к телефону!
— Саушаю, — раздался ее мелодичный голос.

С понедельника стали звонить беспрерывно:

— Пожалуйста, к телефону Птичкину!

— Птичкину!
— Если нетрудно, попросите Птичкину...

Начальник отдела, на столе которого стоял телефон (добавочный 76), раздраженно сказал новой сотруднице:

— Можете вы просто сядете на мое место? И вам удобней, и мне не так беспокойно...

Кто-то попробовала застелиться за Птичкину:

— Что вы хотите: молодая девушка, масса знакомых... Вполне может быть, среди них будущий жених!

— Чей?
— Птичкиной.
— Но при чем тут я? Вернее, мой телефон, — кипятились начальник.

— А если у нее нет своего? Как прикажете ему быть?

— Кому?
— Жениху!

— Не звонить вообще!! — вскричал начальник отдела. Тут позвонили, и он прорывал в трубку: — Птичкиной не звоните больше по этому телефону! Занимайте линию посторонней тематики!

Но Птичкиной продолжали звонить по добавочному 76.

Начальник отдела созвал совещание по вопросу Птичкиной, но так ни к какому выводу не пришли, потому что все время пришлось отвлекаться, чтобы отвечать в телефонную трубку: «Птичкиной нет!» И уже на следующем совещании — совсем по другой теме — выдвинули Птичкину в состав президиума, чтобы сидела за столом, где трезвонил этот добавочный 76: пусть сама отвечает, что ее нет! А она нет-нет, да ответит, что есть, и несколько раз брала слово по ходу совещания, чтобы высказаться по телефону...

Жизнь для нашего отдела превратилась в сущий ад.

А Птичкиной между тем стали звонить уже из других городов...

Надо было срочно что-нибудь предпринимать.

Все надежды возлагались на начальника нашего отдела — все-таки у него власть. И он наши надежды оправдал, одним ударом разрубив гордиев узел. Он сделал предложение Птичкиной.

И тотчас прекратились звонки.

Рисунок Игоря СУСЛОВА.



КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ

Борис С-ов,
г. Благовещенск

Галка Галкина! Я начал выписывать «Юность» со второго полугодия, а говорят, что в первом полугодии были интересные стихи Вознесенского. Нельзя ли их напечатать еще раз во втором полугодии?

ОТВЕТ: Боря С-ов!

Что ж ты так поздно нам это сообщил! Если бы мы знали, мы бы ни за что не напечатали Вознесенского в первом полугодии, а придерживали бы его до той поры, пока ты не подпишешься на наш журнал.

Володя О-ан,
г. Свердловск

Дорогая Галка!

Я влюблен в одну девочку из нашего класса, но вечером я просто сгораю от страсти, а утром становлюсь равнодушным. На другой день все повторяется сначала. Настоящая ли это любовь?

ОТВЕТ: Дорогой Володя!

Ничего не можем тебе сказать, потому что не знаем твоих чувств в обеденное время.

Лена Д-ва,
село Молчаново

Милая Галочка!

На последнем уроке меня вызвали читать наизусть письмо Татьяны. После того, как я прочитала его, все мальчики влюбились в меня. Что мне делать?

ОТВЕТ: Милая Леночка!

К следующему уроку приготовь монолог Кабанихи из пьесы «Гроза».

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Дмитрий ХОЛЕНДРО. Два рассказа: 1. Очей очарованье. 2. Мужчины

2

Олег РУДНЕВ. Петынки именины. Маленькая повесть

14 Главный редактор

Альберт ЛИХАНОВ. Обман. Повесть

31 Б. Н. ПОЛЕВОЙ

ПОЭЗИЯ

Николай СТАРШИНОВ. У костра. «А тут — ни бронзы, ни гранита...». «Получше присмотрись...». «Только вспомню тебя — зато скуку...». Девочка и чайки. «Медлительно идут за днями дни...».

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,

11 В. И. АМЛИНСКИЙ,

В. И. ВОРОНОВ

12 (зам. главного редактора),

В. Н. ГОРЯЕВ,

А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ

29 (зам. главного редактора),

Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

(отв. секретарь),

30 К. Ш. КУЛИЕВ,

Г. А. МЕДЫНСКИЙ,

57 В. Ф. ОГНЕВ,

С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

58 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Олег ДМИТРИЕВ. Выпускаю птиц. Перевал. При свече. Акварель

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. «Когда я слишком долго весел...». 22 июня 1972 года. «Я получил твое письмо...». Вечные радости. «Все ты видишь, однако себе не на горе...»

Варлам ШАЛАМОВ. «Я поставил цель простую...». «Тишина — это лозунг мира...». «Уступаю дорогу цветам...». «Как сердечный больной...». «Иногда в одиноком походе...»

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Черное и красное. Весна в пустыне.

Леонид ЗАВАЛЬНЮК. Солнечная соната. «Я с веселым уловом...». Черновики

Алексей РОГОВ. Следы. Проездом

59

Абдулла ДАГАНОВ. Родина и мать. Перевел с аварского О. Дмитриев

60

Владимир ПУЧКОВ. Парашютист. Доктор Нина

60

Михаил КВИЛИДЗЕ. «Мы говорим порою в восхищенье...» Перевела с грузинского Е. Николаевская. Пиринский репортаж с проспекта Руставели. Перевела Б. Ахмадулина. «Мне непонятно, как произошло...». Перевел А. Межиров. Последний раунд. Перевел Д. Самойлов.

Художественный редактор

Ю. А. Цишевский.

Технический редактор

Л. К. Зябкина.

78

ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир КОЗЫРИН. Было трудно

На 1—4-й стр. обложки

Р. МИНАСОВ. Диалог после боя

рисунок Виталия ОРЛОВА

Валентина ЮДИНА. Жили-были девочки

66 Адрес редакции:

101524, ГСП,

74 Москва, К-6.

Надежда КОЖЕВНИКОВА. Бугины

79 Улица Горького, № 32.1.

Олег АВРУШИН. Снова о танце

Телефон редакции: 251-32-83.

Надаться — значит жить

80 Рукописи

Л. БАЖАНОВ. Здравствуйте, господин Гоген!

65 не возвращаются.

Л. ЛАВЛИНСКИЙ. Стихи о любви

83 Сдано в набор 8/VI 1973 г.

Валентин БЕРЕСТОВ. Радость

88 А 02129.

Галина НИКУЛИНА. Три письма

93 Подп. к печ. 17/VII 1973 г.

М. ПОЗНЯЕВ. Весна художника (К 3-й странице обложки)

Формат 84×108/16.

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л.

77 Тираж 2 100 000 экз.

96 Изд. № 1675. Заказ № 724.

101

НАУКА И ТЕХНИКА

ШАХМАТЫ

Н. ИВАНОВА. Каравай для всех

Михаил БОТВИННИК. Несостоявшийся матч

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. е2 — е4

107 Ордена Ленина

и ордена Октябрьской

109 Революции

С. ЛИВШИН. Я же все-таки педагог

110 типография газеты «Правда»

имени В. И. Ленина.

111 125865, Москва, А-47, ГСП,

ул. «Правды», 24.

С. КОМИССАРЕНКО. Выход

Каков вопрос — таков ответ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ



Рыболовецкий
поселок

ИЗ РАБОТ
КОНСТАНТИНА
ПАНКОВА

Смотри
в этом номере
статью М. Позняева.



Охота (фрагмент)